

V

Тэффи

собрание сочинений





Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи. Собрание сочинений в пяти томах

Тэффи

V

Земная радуга

Воспоминания



УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6
Т 97

Оформление художника
Е. Пыхтеевой

Тэффи Н. А.
Т 97 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5: Земная радуга: Сборник рассказов; Воспоминания / Сост. И. Владимиров. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2011. — 400 с.

ISBN 978-5-4224-0260-1 (т. 5)
ISBN 978-5-4224-0255-7

Надежда Александровна Тэффи (Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872—1952) — блестящая русская писательница, начавшая свой творческий путь со стихов и газетных фельетонов и оставившая наряду с А. Аверченко, И. Буниным и другими яркими представителями русской эмиграции значительное литературное наследие. Произведения Тэффи, веселые и грустные, всегда остроумны и беззлобны, наполнены любовью к персонажам, пониманием человеческих слабостей, состраданием к бедам простых людей. Наградой за это стала народная любовь к Тэффи и титул «королевы смеха»

В пятый том собрания сочинений вошли последняя книга Тэффи «Земная радуга» и воспоминания писательницы.

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4224-0260-1 (т. 5)
ISBN 978-5-4224-0255-7

Земная радуга

Предисловие[1]

Надежда Александровна Тэффи (рожд. Лохвицкая) принадлежит к числу наиболее известных писателей русской эмиграции двадцатых годов. Уроженка Петербурга (Ленинграда), дочь известного криминалиста и сестра поэтессы Мирры Лохвицкой, Н. А. Тэффи приобрела литературную известность еще в дореволюционной России, своей работой в «Сатириконе» и в «Русском Слове» Сытина. Во главе газеты стоял тогда Влас Дорошевич. Интересные подробности о начале литературной карьеры имеются в «Воспоминаниях» писательницы (Париж, 1931 г.). Редакция «Русского Слова» хотела сначала приспособить Н. А. Тэффи к писанию «злободневного фельетона». Но за нее заступился Дорошевич: «Оставьте ее в покое, пусть пишет о чем хочет и как хочет, — сказал он, прибавив: — Нельзя на арабском коне воду возить».

Некоторые читатели воспринимают Тэффи как писательницу-юмориста по преимуществу, которая зло, а иногда и беспощадно, высмеивает пороки и слабости эмиграции. Более верна оценка, данная писательнице покойным поэтом и редактором «Нового Журнала» М. О. Цетлиным. Цетлин не отрицает, конечно, юмористического таланта Тэффи, говоря, что «жизнь эмиграции без ее еженедельных фельетонов была бы беднее и скучнее». Эмиграция не обижается на ее шутки, любит Тэффи. Но лучшее в таланте Тэффи более сложно, как это, впрочем, характерно для многих русских юмористов. За смехом Тэффи нередко скрывается не только серьезное, но и трагическое. Поэтому настоящий талант Тэффи полнее всего отражается в ее смешанных рассказах («И стало так», «Книга Июнь» и др.).

Предлагаемая вниманию читателей новая книга Тэффи, «Земная радуга», отражает все особенности ее таланта, начиная с улыбки

---

[1] К изданию: *Тэффи*. Земная радуга. Изательство имени Чехова. Нью-Йорк. 1952.

и теплого юмора («Была война», «В Америку», «Кишмиш», «Памяти Антоши Чехонте») и кончая непримиримым разоблачением человеческой пошлости («Семейная поездка»). А рядом с юмористическими рассказами читатель найдет в этой книге немало образов, навеянных неподдельным трагизмом («Три жизни», «И времени не стало», «Слепая»).

Разнообразию тем соответствует разнообразие действующих лиц. Кто же, однако, главный лирический герой Тэффи? Его нетрудно почувствовать: тысячи русских людей, начиная с самых заурядных, искавших только спокойного пристанища, и кончая цветом русской интеллигенции — учеными, писателями, художниками, артистами — вместе с Тэффи, совершили незабываемый «исход» из России вскоре после Октябрьской революции. И каждый из них — словом, взглядом, жестом — оставил свой след в творческой памяти писательницы. Каждый из них — живая, думающая, страдающая песчинка, вытряхнутая из огромной мозаики; имя ей — Россия.

Издательство имени Чехова

Трагедия

Где волны морские — там бури,
Где люди — там страсти.

Этот брак был делом давно решенным. Надо было только подождать несколько лет — ну, скажем, лет пятнадцать, чтобы жених и невеста успели поступить в школу, окончить ее и вообще вырасти, потому что единственное препятствие к немедленному союзу представлял именно возраст этой парочки. Жениху было неполных семь лет, невесте, как она сама раз ответила, «половина восьмого».

Виделись они не часто, раза три, четыре в год, но, повторяю, брак их был дело решенное. Собственно говоря, твердо решил это дело Котька. Он и был главный влюбленный. Таня как-то рассеянно соглашалась, вернее — не протестовала. Котька часто говорил с домашними о будущей своей семейной жизни, строил планы, мечтал. Таня планов не строила и не мечтала и на все рассеянно соглашалась. Такие рассеянные женские натуры встречаются довольно часто. Вся жизнь проходит у них в каком-то полусне. Ничего ярко и отчетливо они не сознают, ничего не помнят, ничего определенного не желают, ничто в жизни не имеет для них значения. Сердце у них доброе, они никого не хотят обидеть и очень удивляются и огорчаются, если кто-нибудь погибнет от их равнодушия или измены.

— Значит, Танечка, ты выходишь замуж за Котьку Закраева? — спрашивали Танечку.

— За Котьку? — рассеянно переспрашивала она. — Да, да.

И сразу заговаривала о чем-нибудь другом. Ей всегда было некогда.

Только раз остановилась она немножко подольше на будущей своей жизни с Котькой и даже построила некоторый план.

— Я хочу, — сказала она, — чтобы у меня было много детей, и все девочки. И я буду с ними гулять. Две девочки будут все в голубом, две в розовом, две в зеленом, две в желтом, две в красном, а сзади я — в сиреневом.

Дальше ее планы не шли, и фантазия останавливалась. У Котьки мечты были менее цветистые и более основательные, мужские.

— У меня будет отличный дом, и у всех много комнат. У меня будет гостиная, кабинет и спальня, для папы гостиная, кабинет и спальня, для мамы гостиная, кабинет и спальня, для Тани гостиная, кабинет и спальня, для няни гостиная, кабинет и спальня. — Потом шел перечень всех теток и дядей и даже знакомых, которые почаще приходят: и тем полагалась, каждому — гостиная, кабинет и спальня. Развивая все эти планы, такие однообразные в своем величии, он под конец даже уставал и бормотал про свои гостиные и кабинеты, качаясь из стороны в сторону, как татарин на молитве.

Надо, все-таки, упомянуть о внешности героев.

Таня была девочка щупленькая, с большими темными глазами и короткими, туго заплетенными, косичками, которые торчали у нее за ушами, закрученные красными косоплетками. Платьица были на ней всегда нарядные, и она часто разглаживала их руками, поглядывая на Котьку обиженно и надменно, словно приглашая его относиться к ее туалету почтительно и осторожно.

Котька был пухлый, белый, с ободранными коленками, с синяками на локтях и царапинами на шее.

Как-то вернулся он из школы со всеми следами полководца, потерявшего всю свою армию: верхняя губа разбита, глаз подбит и нос расцарапан.

— Котька! Что с тобой? Кто тебя так разделал?

— Он получил здорово, — всхлипывая, отвечал Котька. — Он попомнит.

Попомнил ли «он», этот явно коварный враг, неизвестно. Имени его Котька не назвал, «он» не получил славы Герострата.

* * *

У Танечки была елка.

Жених волновался, будут ли готовы штаны гольф, переделываемые из маминой юбки. На эти штаны возлагалось много надежд. Они выходили такие огромные и широкие, что нельзя было не уважать залезшего в них человека. Сшиты были на рост, поэтому застегивались почти под мышками и свисали буфами почти до пят. Бабушка увидела, так и ахнула.

— Чего вы уродуете ребенка? Он в этой гадости какой-то старичок-карлик. Что за ужас!

Котька страшно обрадовался, что он старичок. Успех на балу был обеспечен. Он уже представлял себе, как восторженно ахнет Танечка, увидя, что он старик.

Однако низкая бабушкина интрига одержала верх, и на Котьку надели обычный его парадный костюмчик — черный бархатный, с голыми коленками. Котька был в отчаянии. Спасла его мрачную душу только нянька, которая уверила его, что и в этом костюмчике он совсем, как старик. Котька не вполне этому поверил, но заставил себя верить. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

На елке было ребят человек десять, но Котьке показалось, будто их сотни две, и все незнакомые. Танечка тоже показалась незнакомой дамой потрясающей красоты. У нее были распущены волосы, и на темени дрожал незабываемо-прекрасный розовый бант.

Танечка поцеловала Котьку, взяла его за руку и велела танцевать. Рассеянные ее глазки шныряли и смеялись, но плясала она с Котькой, а не с другими, и он задыхался от счастья. Он ждал только перерыва в музыке, чтобы начать ей рассказывать про гостиную, кабинет и спальню, но во время антракта ему подарили три хлопушки, и радость настоящего момента заставила его на время забыть о планах будущей жизни.

И Танечка вертелась тут же, и от нее пахло шоколадкой, а розовый бант дрожал и закрывал весь мир своей непобедимой красотой.

Они вместе, Котька и Танечка, потянули большую хлопушку за разные концы, раздался огненный треск и запах-

ло чем-то вроде пороха, волнующим и опасным. Котька вскрикнул и завертелся волчком. Слишком полна была жизнь красотой розового банта, и героическим запахом пороха, и треском, и блеском. Как выразить бедной человеческой душе свой восторг, если не визгом и не кружением.

И вдруг что-то случилось.

Розовый бант, подпрыгивая, удалился. Голоса взрослых приветствовали кого-то. Танцы приостановились. Котька поднялся на цыпочки и посмотрел туда, где был центр внимания. Посмотрел и увидел.

В дверях спокойно и гордо стоял человек. Ростом он был немного выше Котьки, но вообще — разве можно их сравнивать! Тот человек, который спокойно и гордо стоял в дверях, был кадет. Кадет в мундире, в длинных суконных штанах, заглаженных твердой прямой складкой, и он держал фуражку на согнутом локте правой руки. Незабываемое, ужасное видение. Оно будет сниться Котьке в кошмарных снах долгие годы, может быть, всю жизнь. Может быть, в глубокой старости, седой и почтенный Котик — Константин Николаевич Закраев, известный ученый или общественный деятель, министр, сенатор, президент, — встанет утром сердитый и раздраженный, распушит своих подчиненных и потребует крайних мер против своих врагов только потому, что ему приснился тяжелый сон — восьмилетний кадетик, спокойный и гордый, в длинных, твердо заглаженных брючках.

Котик стоял, и смотрел, и видел, как Танечка обняла кадета и целовала так, что розовый бант прыгал у нее на голове, и она взяла кадета за руки, и подвела к елке, и дала ему большую хлопушку, и вместе с ним тянула за концы. И хлопушка — она тоже подлая — треснула огоньком и запахла военным порохом.

— Таня! Таня! — позвал Котик.

Но она его не слышала. Она разворачивала хлопушку и доставала из нее бумажный колпак, зеленый с блестками, и потом надела этот колпак на кадета, а тот улыбался, как дурак, и потом они вместе — ужас! ужас! — пошли танцевать.

Котик пробирался за ними. Ему казалось — вечная ошибка покинутых и обманутых, — что нужно непременно

что-то ей сказать, объяснить: и она сейчас же поймет, и все будет по-старому. Сейчас все так ужасно. Елка какая-то зловещая, и все кругом чужие, и хлопушки хлопают одинаково для всех — для хороших и для дурных, — и это не-вы-но-си-мо. Нужно скорее рассказать Тане про гостиную, кабинет и спальню и сказать, что кадет дурак, и все будет хорошо, и станет весело.

— Таня! Таня! — зовет он.

Губы у него дрожат, подбородок прыгает. Вот они остановились, и она прилаживает к голове кадета зеленый колпак.

— Таня! — рыдающим голосом кричит Котька и хватает изменницу за плечо. — Таня, ведь я через три года тоже буду кадетом. Пойми! Мама сказала. Я буду кадетом, Таня!

Таня обернулась, смотрит на Котьку, но при этом прижалась к кадету. Ей весело, и она не понимает этого невыразимого отчаяния, которое дрожит перед ней и истерически топчет ногами.

— Ну, чего ты, Котька? — улыбнулась она. — Иди, танцуй.

И Котька ушел. Только не танцевать. Его нашли в коридоре, на сундуке. Он горько рыдал и не отвечал на расспросы.

— Это он на Таню обиделся, — догадалась Танина мать. — Таня, нехорошая девочка, иди скорей сюда, поцелуй Котика, видишь, он плачет.

Но Котик был гордый.

— Я не оттого... Я совсем не оттого... — рыдал он, мотая головой и шмыгая носом.

Ах, только бы не подумали, что он плачет «оттого».

— Таня, иди же сюда! — зовут изменницу.

И изменница прибежала и быстро и равнодушно чмокнула Котькину щеку.

Быстро и равнодушно — это было ужасно. А рядом с Таней стоял кадет, спокойный и гордый, и всей своей фигурой выражал презрение военного человека к ревущему мальчишке.

— Ну, вот видишь, Танечка тебя целует, — кудахтала Танина мать. — Перестань же плакать, ты же большой мальчик.

«Большой мальчик». Это ужасно обидные слова. Так уговаривают только маленьких детей.

— Ну, Котик, поцелуй же Танечку и успокойся.

Котька вытер нос обшлагом рукава и сказал прерывающимся голосом, но очень твердо:

— Мне это не интересно.

И чтобы лучше поверили, прибавил в полном отчаянии человека, который рвет с прошлым, умирает от боли, но не вернется:

— Мне интересна только хлопушка.

Преступник

Да, да. Где волны морские — там бури, где люди — там страсти.

Под старость, конечно, страсти стихают — от усталости, от привычки подавлять их. Но в молодости бороться с ними трудно.

Вовка думать этого не мог, но чувствовал определенно и ясно. Бороться было трудно. Особенно потому, что предмет, возбуждающий его страсть, вертелся под самым его носом по несколько часов в день. Иногда даже снился ночью.

Предмет этот был большой красный карандаш. Внутри он был черный, как самый обыкновенный, но снаружи блестящий, круглый, красный и ужасно большой. Красоты нечеловеческой.

Такой карандаш годится не только для писания, а и для многих других надобностей. Можно его просто катать по полу, можно им стучать по столу, как барабанной палочкой. Да и вообще — быть владельцем такой роскошной, такой огромной красной штуки уже само по себе упоительно.

Классная комната скучная, серенькая; черная доска, седоватая учительница в темном платьишке, замурзанные ребята с грязными лапками — все блеклое, унылое, и среди них — он, яркий, блестящий, сверкающий, единственная радость мира. Кра-со-та!

Можно держать себя в руках день, два, три, но не вечно же. Больше выдержать было уже трудно. Как человек, по натуре вполне порядочный, Вовка испробовал сначала легальный путь. Нахмурил те места, где у взрослых бывают брови, и спросил деловито у хозяина карандаша:

— Это разве твой карандаш?

— Конечно, мой, — ответил хозяин и на всякий случай засунул карандаш себе за пазуху.

— У меня был такой же, — вдохновился Вовка. — Это ты, верно, мой взял.

Но дело не выгорело.

На другой день он переменил тактику.

— Дай мне порисовать твоим карандашом.

Не прошло и это.

После — другого выбора уже не было.

Путь к обладанию желанным предметом оставался один. И путь этот был преступный. Вовка отлично понимал, что совершил преступление, иначе на вопрос матери: «Что это за карандаш?» — не хмурил бы те места, где у взрослых бывают брови, и не отвечал бы басом:

— Это нам в школе дали.

А потом, чтобы переменить разговор, не стал бы скакать на одной ноге по всей комнате и при этом еще орать во все горло.

Играть карандашом он залезал под диван. Там было спокойнее для преступного наслаждения. Он катал карандаш по полу и тихонечко пел бессловесную песню, не очень музыкальную и всегда вызывавшую громкий окрик:

— Кто там воет под диваном? Если это волк залез, так надо его капканом словить.

Он никогда не писал этим карандашом. Карандаш был ему нужен как красота, а не как польза. Приятно было смотреть на него, вертеть в руках, катать по полу, поглаживать, но главное — любоваться на его чудесный ярко-красный цвет.

Когда старшая сестра, большая шестилетняя Буба, дотронулась до этого удивительного предмета, Вовка завизжал, как от боли.

— Ты не имеешь права, это мое!

— Я только посмотреть хотела.

— Не имеешь права смотреть, это мое!

Дело с карандашом, пожалуй, так бы и затихло, но такой же карандаш, даже лучше, потому что длиннее и новее, оказался еще у одного мальчика.

Тут уже раздумывать было нечего. Коготок увяз — и всей птичке конец.

Под диваном стали кататься два карандаша.

— С моим Вовкой беда, — испуганно рассказывала Вовкина мать своей приятельнице. — Вера, милая, по-моему, он в школе у мальчишек карандаши таскает. И не признается. Как быть? Надо что-то предпринять, а то, если пойдет дальше, ведь из него определенный вор выйдет. Что делать?

— Подожди, я попробую, — решила Вера. — У меня он не отвертится. Завтра же приду и поговорю.

— Только, ради Бога, не очень строго! Он ведь маленький.

— Маленький, но психология уже заправского вора. Катает свои карандаши под диваном. Тут нужно действовать серьезно и скоро.

На другой день веселая и оживленная пришла Вера к приятельнице. Принесла детям конфет.

— Ах, Зиночка, — рассказывала она, между прочим, — какой я сегодня видела роскошный карандаш! Совсем красный. Такого нигде ни у кого нет. Ты ведь никогда не видала красного карандаша? Таких ведь больше нет. Мне говорили, что на всю Европу сфабриковали только один.

Пятилетнее сердце не выдержало.

— А у меня есть два. Два! — закричал Вовка. — Вот, смотрите.

Вера посмотрела, полюбовалась и сказала тоном доброго малого:

— Мальчишки еще не заметили, что ты их стащил.

Вовка растерялся, раскрыл рот.

— Ну, так я тебе советую: завтра же положи их на место. Прямо каждому в его стол. Понял? А то, наверное, их родители заявили полиции. Нельзя так долго держать у себя чужие вещи.

— Это ужасно, — вздохнула Буба. — Он, наверное, не отдаст.

— Ну, что ты говоришь! — возмутилась Вера. — Вовка да не отдаст! Он же умный, он понимает, что с полицией шутки плохи.

Вовка молчал и громко сопел. Положение было трудное. Расстаться с карандашами было совершенно невыносимо. Бывают разлуки, которые нельзя вынести. Искалечить свою молодую жизнь! Можно подумать, что так они ему легко достались, эти карандаши. Других таких не наживешь. А Буба говорит «не отдаст». Значит, надо назло отдать. Лучше, пожалуй, быть дураком, да с карандашами.

Вовка карандашей не отдал.

А вскоре разыгралась и другая история, на ту же тему.

Повели детей в гости к почтенной старухе. Пока мать со старухой беседовала, дети рассматривали карточки в альбоме, потом, как в этом возрасте полагается, начали разглядывать все, что было в комнате. Потрогали вазочку с цветами, перевернули пепельницу. Пепел посыпался на ковер. Струсили, покосились на старуху. Та не заметила. Потом добрались до рабочего ящика. Тут уж пошло раздолье. Чего только не напрятала старуха в свой ящик! И тесемки, и катушки, и ленточки, и крючочки, и перламутровые пуговки, нанизанные на шнурочек, и два наперстка. Был еще и третий наперсток — ужасно странный — без донышка, и яркого, неповторимо яркого красного цвета. Пришлось примерить его на все пальцы. Очень был интересный наперсток, такого нигде не найдешь. Какая старуха хитрая — завела у себя этакую прелесть! Прямо, не оторваться.

Мать подозвала Бубу прочесть старухе стихи про Стрекозу, которой зима катила в глаза. А Вовка все еще любовался наперстком.

На другой день уроков не было и он с утра залез под диван и катал что-то.

— Что он там катает? — спросила мать у Бубы.

Буба молчала и смотрела очень испуганно.

— Вовка, ты что там катаешь? — спросила мать.

— Старый полчок, — подумав, отвечал Вовка.

А Буба все молчала и даже прижала руки к груди.

— Чего ты, девочка моя? — спросила мать.

Буба вздохнула дрожащим вздохом и уперлась лбом в плечо матери.

На другой день, когда дети были в школе, мать отодвинула диван. Увидела что-то красненькое, засунутое за галун, у диванной ножки. Вытащила, посмотрела. Сразу узнала старухин наперсток, который та надевала на указательный палец левой руки, чтобы не колола иголка.

Вовка украл! Как быть?

Пошла советоваться с Верой.

— Не знаю, что придумать. Он слишком мал, чтобы можно было напирать на моральную сторону. Припугнуть, что ли, да не знаю как.

— Подожди, — сказала Вера. — Я придумаю, я вечером зайду.

Вечером раздался звонок, да не простой, а три раза подряд.

Вошла Вера, страшно взволнованная.

— Что с тобой?

— Ужасно неприятная история, — отвечала Вера, — представьте себе, что к нашей старухе залезли воры и утащили ее красный наперсток. Она очень испугалась, потому что воры теперь знают дорогу в ее дом и, наверное, еще раз залезут. Так вот она дала знать в полицию, и там обещали сегодня же найти вора.

Четыре круглых голубых глаза смотрели в ужасе.

— А как же они смогут найти? — прижимая руки к груди, спросила Буба.

— Полиция-то? — удивилась Вера наивному вопросу. — Так она выпустит ищеек. Ищейки побегут по следу и живо найдут.

— А-а-а они по лестнице могут? — заикаясь, спросил Вовка.

— Ну, конечно. Они же дрессированные.

«Ищейки» было ужасное слово. Конечно, это просто собаки, но какие-то узкие, мягкие, морды острые, длинные, извиваются и всюду пролезут.

— А-а-а как же они...

— Их привели к старухе, они все обнюхали и сразу побежали по следу.

— Уже бегут! — задохнулась Буба. — Господи! Надо признаваться! Надо признаваться!

— Конечно, если вор признается раньше, чем ищейки его найдут, и вернет наперсток, то дело пойдет к прекращению. А иначе — ужас.

— Что иначе? — прошептал Вовка.

— Разве ты не знаешь? — удивилась Вера. — Ищейки отгрызают вору все пальцы, один за другим. Так и слышно: хруп-хруп.

— Только кончики? — дрожа от отчаяния и надежды, спросил Вовка.

— Какое там! Станут они церемониться! Все пальцы. Целиком.

— А-а-а они уже бегут? — побелевшими губами спросил Вовка.

И с последней надеждой:

— А кто же им откроет дверь?

— Полицейские. Полицейские бегут за ними. Они и откроют.

— Надо признаваться! — закричала Буба, обняла Вовку и с визгом заплакала: — Мамочка, мамочка!

Вовка от ужаса затопал ногами.

— Мамочка, я ужасный вор! Я прельстился красненьким!

Мать дернула Веру за платье.

— Ну что ты наделала! — шепнула она с укором. — Нельзя же так. Всему мера.

— Мамочка! Беги к телефону! Скажи, что вор возвращает... Ради бога! Ищейки бегут.

Собак и полицию уговорили по телефону. Полиция согласилась сразу, но собак пришлось долго уговаривать. Оказывается, что они донюхались и до карандашей и страшно озверели. Пришлось им пообещать целую жизнь безупречной честности.

Когда все наконец успокоилось, Вовка подошел к матери, вздохнул облегченно, но еще дрожащим вздохом, и сказал:

— Ну, теперь можно, наконец, переменить мне штанишки. Теперь нам уже ничто не угрожает.

* * *

Утром, когда дети шли в школу, Буба заметила на тротуаре двойную булавку.

— Смотри, Вовка, кто-то булавку потерял.

— Не смей трогать! — прогремел Вовка басом. — Это чужая собственность. Ты должна сначала найти владельца, а потом уж можешь поднять, чтоб вернуть ему.

Буба отдернула свою преступную руку, уже готовую было завладеть чужим добром, и с уважением посмотрела на человека, ступившего на честный путь.

Человек шагал по честному пути толстыми ногами в связанных мамой гетрах, сурово сдвинув над круглым носом те места, где у взрослых растут брови. И от него пахло теплым молоком и манной кашей.

Была война

Вася, семнадцатилетний волонтер французской армии, в первый раз приедет в отпуск. В последнем письме написал: «Приеду в субботу вечером, на сорок восемь часов, это уже наверное».

И «наверное» было подчеркнуто.

Потом пришла еще открытка: «Приеду в субботу вечером. Только не вздумайте встречать на вокзале. Убедительно прошу — не надо».

— Почему он не хочет, чтобы его встретили на вокзале? — удивлялись домашние. — Верно, боится, что очень затолкают.

Ждали, волновались. Бегали в русскую лавочку за халвой, приготовили жареную колбасу с капустой — все по вкусу героя.

Сережа Синев, прибегал каждые полчаса справляться — не приехал ли. Он так надоел, что пришлось ему наврать. Сказали, будто получена телеграмма, что Вася приедет в воскресенье утром.

Сережа Синев погас как свечка на сквозняке, втянул голову в плечи и ушел понурый.

Лизочке, Васиной старшей сестре, жалко стало Сережу, и она закричала вслед:

— Хотите шоколаду? У меня есть плиточка.

Но он уже не слышал.

Он шел и думал: «Они, кажется, меня обманывают. Что же, завтра воскресенье, рано вставать не надо, и я отлично мог бы подежурить сегодня вечером на улице и проследить, не приедет ли Вася». Но тут же сообразил, что дома хватятся, пойдут его искать и потащат домой. Дома до сих пор относятся к нему, как к ребенку, что довольно глупо, потому что ему двенадцать лет, а в этом возрасте у островитян человек считается уже совершеннолетним и может не только взойти на трон своих отцов, но даже жениться. Ну, женитьба, положим, черт с ней. Он женщин не любит. Трон? Он бы его с удовольствием променял на хороший аэроплан новейшей системы, четырехмоторный.

Из ночного дежурства ничего не вышло. Родители, не имевшие ни малейшего понятия о правах двенадцатилетних островитян, Сережу вечером уже из дому не выпустили.

* * *

Вася приехал довольно поздно. Дома уже потеряли надежду, решили, что начальство раздумало.

Вошел он радостный, шумный, громыхал сапогами, махал руками и говорил так громко, словно перекликался с кем-то через речку. Шинель ему попалась узковатая, красные руки торчали из коротких рукавов гусиными лапами.

Первый его вопрос был:

— А где же консьержка? Я ее не видал.

— На что тебе консьержка? — удивились мать и сестра.

— Да просто интересно, узнала бы она меня в этой форме.

Он долго поворачивался во все стороны, не снимая форменной шапки, косясь на зеркало и великодушно предоставляя собою любоваться.

— Да ты, кажется, вырос за это время, — сказала сестра.

— Да, многие думают, что мне двадцать лет.

— Отчего нельзя было тебя встречать? — спросила сестра.

— Да я ехал с товарищами, — отвечал он неохотно. — Мы, солдаты, любим сразу с вокзала зайти в бистро, выпить по стаканчику. Вы бы только стеснили.

— Ну, садись, бедный мой мальчик, — сказала мать. — Намучился ты, наверное. Тяжело было?

— Гм... — отвечал Вася. — Как сказать. Конечно, было довольно холодно. Кормили хорошо. Товарищи чудные. Га-га-га! Есть у нас один — Андре Морель. Ну, я такого комика в жизни своей не встречал!

— Да подожди, ты поешь сначала. И почему ты так ужасно кричишь?

— Разве? Разве я кричу?

Начались рассказы из военной жизни.

— Вот вы мне никогда кофе в постель не давали, а там, если кто из нас заленился, товарищ непременно принесет ему кружку с его порцией. И никто не возмущается и не ворчит, как вы.

Потом шли рассказы о том, как поутру встают, как моются.

— А зубы чистят? — спросила мать, заранее делая осудительное лицо.

— Конечно, чистят! — восторженно воскликнул Вася. — Еще как!

— Скоро вас, пожалуй, и на фронт двинут.

— Да, мы надеемся, что скоро.

— Спешить нечего, — сказала мать и вздохнула.

А Вася опять начал свои рассказы про товарищей, про солдатское житье-бытье.

Мать смотрела на него и думала:

— Как он изменился! Совсем какой-то чужой. Похудел, почернел, лапы красные, кричит, стучит, и пахнет от него ремнями, сапогами и мокрой шерстью. И чему он все радуется? Семнадцать лет, а совсем ребенок.

Рассказчик скоро устал. Он чувствовал, что между ним и слушателями нет контакта, все чаще и чаще вставлял в свои рассказы слова: «Ну, вам этого не понять» — «Ну, вы этого, все равно, не поймете». Стал зевать, распяливая рот, как кошка, и попросился спать.

— Мы ведь привыкли в шесть часов вставать и рано ложиться. Вообще, скучища у вас дьявольская.

— Только ради бога не стучи так сапогами и не кричи. Ты всех соседей перебудишь.

Несмотря на эти просьбы, утром, часов в семь, застучали сапоги, хлопнула дверь. Ушел. Ушел, но скоро вернулся и не один. За ним шел, с блаженно улыбающейся физиономией и горящими ушами, Сережа Синев.

— А я... а я встал в шесть часов, — лепетал Сережа, — и никто мне не посмел ничего сказать, потому что рано вставать — это полезно.

Он говорил, задыхаясь и путая слова, так что вместо «полезно» у него вышло «лапезно», но он этого не заметил. Ему было не до красноречия. В такой момент до того ли.

— Я встал и пошел пройтись просто так. И вдруг вижу — вы. И я сразу вас узнал. Ну, буквально. Понимаете: иду, и вдруг выходит из вашего дома какой-то солдат. Мне показалось, что с бородой. Я испугался, подумал, что, может быть, какой-нибудь пожар... И вдруг вы говорите: «Здравствуй, Сережа». Ну, я сразу вас и узнал. Буквально.

Сережа Синев ужасно волновался. Ему до смерти хотелось потрогать ремень кушака, пуговицы, рассмотреть эти роскошно гремящие, толстые, точно из дуба выпиленные, сапоги.

— Ну, а скажите, там ведь все-таки страшно? А?

— Ну чего же тут страшного? — равнодушно отвечал Вася. — Ведь мы же еще не на самом фронте.

— Ну, а все-таки. Шальная пуля может и туда залететь.

Он особенно рассчитывал на эффект выражения «шальная пуля». Выражение определенно военное.

Васе не хотелось отрицать: «Все равно, мальчишка не поймет». Он только равнодушно пожал плечами.

— Ну, мы там об этом и не думаем.

— Ну, а скажите, какие у вас товарищи? — волновался Сережа. — Есть и еще старше вас?

— Ну, конечно. Есть во какие бородачи, лет по сорок.

— По со-ро-к! — восторженно удивился Сережа. — Это уже, должно быть, совсем морские волки. И они тоже все вместе с вами и разговаривают, и все?

— Ну, да, конечно.

Сережа несколько секунд молча любовался героем.

— А скажите, вы там уже начали бриться? Или у вас борода еще не растет? — спросил он, глядя на круглые, гладкие Васины щеки.

— Нет, у меня борода уже растет, только я не бреюсь. Я решил запустить бороду. Конечно, понемножку...

Сережа понял, что вопрос был бестактный, и слегка сконфузился.

— А скажите, а генералов вы там видали?

— Сколько угодно.

— А как же они?

— Да ничего. Очень любезны. Со мной, по крайней мере. Но, конечно, они очень требовательны. Дисциплина прежде всего. Надо знать все правила: как стоять в строю, как отдавать честь, как отвечать начальству. Это не пустяки. Иногда от такой мелочи зависит исход сражения.

Сережа Синев слушал, затаив дыхание, и некоторые слова даже повторял про себя шепотом.

— А скажите, вы стрелять уже умеете? — робко спросил он. (А вдруг, это бестактно? Вдруг, такой вопрос нельзя предлагать военному человеку?)

— Да, нас уже обучают стрельбе. У меня было из десяти почти семь попаданий.

— Это замечательно! — радовался Сережа. — Значит, из десяти неприятелей вы бы уложили семь. Семеро остались бы на поле сражения? Наверное, все начальство безумно удивилось?

— Да, я считаюсь недурным стрелком, — скромно отвечал Вася. (Почему и не поскромничать, раз факты сами за себя говорят.)

— А пушки у вас там были? Из пушек вас учили стрелять?

Из пушек Васю стрелять не учили, но у него не хватило духу в этом признаться. Он чувствовал, что Сереже до смерти хочется, чтобы он видел пушку и стрелял из пушки. Пусть дурачок порадуется.

— Ну, конечно, у нас там есть пушки.

— Серьезно? Боже мой! И какого же калибра?

— Само собою разумеется, что разного. Мы должны уметь и заряжать, и наводить, и стрелять из самых разнооб-

разных систем. Это, голубчик мой, целая наука. Поэтому в артиллерию и отбирают самых способных людей.

— Ну, значит, вас уж непременно возьмут. А скажите, пушка около вас стреляла?

— Ну да, конечно.

— И вы близко стояли?

— Близко.

— Ну, как, покажите. Вот как до этого комода? Или дальше?

— Нет, пожалуй, еще ближе.

— И что же, очень громко ревет?

— Ужасно.

— И вы слышали, как она ревет? Нет, скажите правду: неужели вы слышали?

— Да, конечно же, слышал. Тут, голубчик, хоть уши заткни, так и то услышишь.

— Замечательно! Я думаю, это все-таки страшно.

Вася встал, пошел в кухню, принес себе кофе.

— Хочешь кофе?

Но Сережа даже не понял вопроса. Он смотрел, как Вася пьет, как жует и глотает хлеб, и тоже шевелил губами и глотал вместе с ним, не сознавая, что у него-то во рту ничего нет.

— Скажите, раньше семнадцати лет нельзя идти волонтером? Не принимают? Боже мой, а ведь пять лет война ни за что не протянется. С такими пушками, которые так ужасно ревут, через два месяца от немцев ничего не останется.

— А скажите, сколько полагается аэропланов, чтобы уничтожить такую пушку? А которая сильнее ревет — обыкновенная или зенитная?

Он смотрел перед собой блестящими невидящими глазами и тихонько бубнил:

— Пам! Пам! Бу-у-у! Пам! Пам! Бу-у-у!

Вечером мать спрашивала Васю:

— Неужели тебе Сережа не надоел? Целый день только и слышно было: «А скажите, а скажите».

— Ничуть не надоел, — сухо отвечал Вася. — Он очень развитой и вполне боеспособный. Он мне советовал идти в артиллерию.

На другой день, уложив в походный мешок изрядный кусок халвы и пачку папирос для товарищей, бравый волонтер отправился на вокзал, строго запретив всякие проводы.

На вокзале он сразу встретил товарищей и смешался с густой толпой бурых и голубых солдат. Заколыхались котомки, мешки, чемоданы. Весело гудели и перекликались голоса, и никто не обращал внимания на маленькую фигурку, прижавшуюся у барьера, и никто не слыхал голоска, робко звавшего:

— Вася! Вася! Мосье Базиль! Мосье ле солдат Базиль!..

В Америку

Какую чудесную историю узнали мы из газет!

Небольшая компания отправилась путешествовать и искать приключений. Компания состояла из четырех человек. Старшему было шесть лет, младшему — два года.

Вряд ли младший отправился в эту авантюру по своему почину и разумению. Его, вероятно, прихватили с собой старшие, которые правильно рассудили, что молодежь должна развиваться, а путешествие с приключениями как раз то, что нужно, чтобы закалить характер и развить воображение двухлетнего молодого человека. Няньки и манная каша страшно тормозят дело.

Храбрые путешественники бродили по улицам Лондона, крепко держась за руки, чтобы как-нибудь не потеряться. Они очень устали. В газетах отмечено не было, но, вероятно, младший уже несколько раз принимался реветь. Когда наконец полицейский обратил на них внимание, то оказалось, что даже бравый предводитель не мог назвать улицу, где они живут, и пришлось их возить по городу, чтобы разыскать родной дом.

Какая чудесная история! Какая радость, что есть еще на свете фантазеры с горячими головами. Не беда, что старшему из них только шесть лет, а младшему всего два.

И все-таки странно, как они до этого додумались?

В нашу молодость такая любовь к приключениям была вполне естественна. Воспитывались мы на Майн Риде и Жюль Верне, и в редкой семье не собирались дети бежать в Америку. Но такой шестилетний вожак банды, наверное, и не слыхал о «Детях капитана Гранта» или «Охотниках за черепами».

А идти странствовать — это ведь наша русская болезнь. За границей она не была известна.

И вообще, странствовать по-нашему, по-русски — это особая статья. Здесь — тяга природы. А вот «бежать» в Америку — это было ребячье дело, влияние Майн Рида.

В Америку бежали долго. Все, собственно говоря, и состояло в приготовлениях к побегу. Сушили сухари, правда, не в особенно большом количестве: сухаря по три на каждого беглеца. Потом запасались бисером — это было самое главное. Бисер был необходим для торговли с туземцами. За одну бисеринку туземец племени гуронов с удовольствием отдавал двадцать самых лучших леопардовых шкур. А леопардовые шкуры очень высоко ценятся в Европе. За несколько таких шкур и пару слоновых клыков можно зафрахтовать целый корабль для триумфального возвращения в Европу.

Когда мне было лет семь, я была свидетельницей самых лихорадочных приготовлений к побегу, и именно в Америку.

Дело было в деревне во время каникул. Гостили у нас двоюродные братья, самого майн-ридовского возраста. Вот они и были главными вдохновителями моих старших братьев и сестер.

Меня в Америку не пригласили, и даже разговоры на эту тему при мне велись шепотом. Из гордости я делала вид, что ничуть этим не интересуюсь, но обидно было ужасно. Точно я не сумею вести меновую торговлю с туземцами! Бисер у меня был, и мы каждый день низали колечки — и я, и младшая сестра Лена. Что Лену не берут с собой — это еще понятно. Лена сидела за столом на высоком стуле и из-за каждого пустяка ревела с визгом. Такой спутник для Америки не особенно годится. Уважения к бледнолицым братьям не прибавит. Но я — я была уже грамотная и, потом, очень храбрая, так что дорого продала бы свою шкуру в случае измены и нападения гуронов.

Очень было обидно, но из гордости, я не навязывалась.

Атмосфера была таинственная, тревожная. Эти полуслова, намеки, странные имена, срывавшиеся с губ:

— «Орлиный коготь».
— «Змеиный зуб».
— «Черепашья лапа».
— «Олений глаз».
Раза два удалось мне уловить фразу:
— Тише! «Змеиный зуб» слышит.
И еще раз:
— Молчи! «Змеиный зуб» нафискалит няньке.

Тут я кое-что поняла и потом проверила. Поняла, что «Змеиный зуб» — это именно я. А бедная толстая Лена, сидящая на высоком стуле с перекладиной, оказалась «Черепашьей лапой».

Жить в такой атмосфере и оставаться равнодушной, не заразиться общей горячкой бегства в Америку было невозможно. Бежать одной даже и в голову не приходило.

Пришлось подговорить Лену. Лена сначала не понимала, а когда поняла, всхлипнула: «Маму жалко».

Это было совсем уж ни на что не похоже. «Маму жалко»! Тут буйволы, гуроны, бледнолицые когти, орлиные зубы, и вдруг такое простое дело — «маму жалко».

А почему же те, старшие, знатоки американского дела, почему же они не плачут и ни о чем домашнем не мучаются? Мне тоже стало как-то не так уж бодро, глядя на ревущую Лену. Может быть, оттого меня и не приглашают бежать, что я еще не закалилась для борьбы со стихиями?

Утешило меня то, что Лена, хотя и всплакнула, но бежать не отказывалась. Раз все бегут, значит, так уж надо. И потом очень уж она в меня верила. Я в ее глазах была могущественным существом, существом, которое могло прочесть подпись под картинами; которое, хотя и изгонялось со скандалами из длинной комнаты старших детей, но было как бы переходной ступенью из презренной детской в уважаемую комнату, где учились уроки. Нечто вроде кокона — не гусеница, не бабочка, а какая-то ерунда, из которой все-таки бабочка вылезает, но назад в гусеницу не обратится.

Насколько я теперь понимаю, старшие дети не очень серьезно собирались в Америку. Это скорее была игра, очень захватывающая и завлекательная, и, может быть, иногда им даже казалось, что дело обстоит вполне реально, но с этим сознанием как-то уживались и планы ходить зимой

вместе на каток, и совещания о том, как лучше вздуть какого-то одноклассника, негодяя и фискала, и каким клеем лучше будет намазать стул для учителя греческого языка, чтобы он прилип к нему на веки вечные и должен был бы подать в отставку, потому что нельзя же держать такого учителя, который на шести ногах трюхает — две свои и четыре от стула.

Словом — планы будущего сезона вырабатывались самые основательные, а одновременно тут же была и проводилась в жизнь мечта об Америке.

Сухари — ведь это нечто уж вполне реальное; собирание бисера, таинственные имена. Ну, как тут разберешься, что настоящее, что просто болтовня? А вдруг школьные планы обсуждаются только для отвода глаз, а самое настоящее-то и есть Америка?

Кто-то из вожаков американского плана сочинил даже стихотворение, прославляющее эту чудесную страну. Стихотворение это запомнилось на всю жизнь — так сильно было произведенное им впечатление.

Америка! К тебе стремятся
Десятки, тысячи людей!
Но точно так в тебе ютятся
Еще немало и зверей.
Но зноен луч американский,
Когда зима царит у нас —
В тебе уж близок лета час!

Помню, мне особенно понравилось выражение «луч американский».

Выходило как-то очень добротно и деловито. Звучало вроде: «американский каучук», «американские шины». Луч американский! Наверное, прочный, крепкий, добротный! И при этом еще знойный! Разве это не чудесно?

Начало в стихотворении было абсолютно неопровержимо. Мы твердо знали, что тысячи людей стремятся в Америку. И даже те, которые почему-то не стремятся, представлялись нам чудаками. Людьми не совсем нормальными.

Неужели есть на свете люди, которых не интересуют мустанги? Неужели есть на свете человек, которому не хочется попробовать плодов хлебного дерева? Тем более что мне хлебное дерево представлялось вроде развесистой яблони, на которой растут круглые поджаренные булки.

Фантазия разыгрывалась. Наверное, если подальше заехать в Америку, так найдется еще и колбасное дерево, на котором растет колбаса, и дерево с пирожными. В Америке все может быть.

Иногда очень хотелось расспросить старших, знатоков Америки, обо всех этих штуках, но какое-то чувство мешало это сделать. Может быть, казалось неделикатным обнаружить, что я проникла в их тайну; может быть, подозрение, что они со мной на эту тему беседовать не снизойдут; а может быть, не хотелось показать, что я ничего не знаю — гордость не позволяла. Одним словом, я предпочитала молчать и фантазировать. Лене рассказывала свои выдумки, как самые настоящие факты.

Время шло. Лето проходило.

«Американцы» все реже говорили об Америке, все чаще о школьных делах и городских планах. Кое-кому предстояли переэкзаменовки. Суровая действительность вступала в свои права.

Стали готовиться к отъезду, но уже не в Америку, а просто в город. Мы, маленькие, оставались в деревне до осени.

В конце августа дом опустел. Стало тихо, просторно. Америку забыли.

Но вот как-то остались мы с Леной одни в большом отцовском кабинете. Подошли к открытому окну. Окно было большое, почти до пола, и выходило на лужайку цветника. Если сесть на подоконник и спустить ноги наружу, то можно очень легко спрыгнуть.

Сели рядом. Спустили ноги.

И вдруг мысль:

— Лена, хочешь сейчас бежать в Америку? Вот отсюда спрыгнем и побежим.

Выражение «бежать в Америку» я понимала буквально. Так и думала, что бежать — это и значит бежать, а не идти, не плыть, не ехать.

Спрыгнули, очутились в цветнике.

Никто нам не запрещал гулять в цветнике около дома, сколько угодно. Но оттого, что мы вышли не в дверь, а таким незаконным и необычным способом — через окно, сразу перенесло нас в другую жизнь, в жизнь опасности, приключений, небывалую, запретную и незаконную.

Дыхание захватило, сердце забилось.

Я схватила Лену за руку, и мы побежали. Прямо по дорожке, к воротам. Тяжелые ворота, как всегда, были заперты. Да мы и не собирались их открывать. Мы и здесь, в дозволенной нам зоне, психологически нарушили закон и жили в новой жизни — свободной и страшной. И все казалось нам другим. Мы не узнавали этого большого белого дома — это был не наш дом, а чужой и даже враждебный. И сад был тихий и зловещий. Я никогда раньше не видела в нем таких страшных оранжевых лилий.

Лена смотрела на меня круглыми глазами, дышала тяжело, и видно было, что она тоже боится.

Огромная блестящая муха звонко и как-то отчаянно быстро пролетела у самого моего уха. Так торопятся только при большом несчастье. Куда мы теперь? Все кругом чужое, злое!

Вот вышла на черное крыльцо какая-то женщина. Поманила нас. Это ключница. Только и она не та. Не всегдашняя. Вот она идет к нам.

Я крепче сжимаю руку сестры.

— Чего вы тут стоите? — спрашивает ключница.

Я молчу и слышу, как стучит мое сердце.

— Страшно! — шепнула Лена, зажмурила глаза и заплакала.

* * *

Так и закончилось наше бегство в Америку.

Из всех путешествий моей жизни это было по силе впечатлений самое потрясающее.

Этапы

1

В это утро всегда бывало солнце.

Всегда была яркая, веселая погода. Так, по крайней мере, запомнилось на всю жизнь им обеим — и Лизе, и Катеньке.

В это утро няня надевала на них новенькие светлые платья и к чаю приносила снизу, из большой столовой, где пили

чай взрослые, по кусочку кулича, пасхи и по половинке крутого яйца.

Сама няня разговлялась рано утром, вернувшись от обедни, пила кофе со сливками, и дети знали, что она непременно будет весь день ворчать, а к вечеру захворает.

Крутое яйцо всегда застревало у Лизы где-то в груди, и ее долго стукали по спине кулаком, чтобы оно проскочило.

Пришла ключница христосоваться. От нее пахло по-пасхальному — ванилью.

Ключница рассказывала, как одна хозяйка лет двадцать тому назад пекла бабу на белках, а баба в печке села. Баба села, а хозяйка от стыда повесилась.

Лиза знала этот рассказ, но никогда как-то не могла разобрать, кто повесился, а кто сел, — баба или хозяйка. Представлялась воображению огромная, огнем сияющая печь, вроде, как на священной картинке, «пещь», в которую ввергнули трех отроков. И представлялось, что сидит в этой печке большая, толстая баба. Она же хозяйка. Словом, ничего не разобрать, но, в общем, что-то противное, хотя и рассказывала об этом ключница довольно бодро и весело.

И еще помнила она всегда на Пасху про Августа Иваныча, у которого служила когда-то.

— Вот, поди ж ты, и немец, а какой был религиозный человек. Нарочно всю Страстную мяса не ел. Мне, — говорит, — вкуснее покажется на Пасху разговеться. Вот вам и немец, а ни за что, бывало, на Пасху без ветчины за стол не сядет — такой был религиозный.

Вечером Лиза вспомнила нечто очень важное и пошла к старшей сестре.

— Вот ты в прошлом году говорила, что ты уже отроковица, а я еще младенец. Теперь я тоже говела, значит, я тоже отроковица.

Сестра недовольно отвернулась и пробормотала:

— Пусть отроковица, а я теперь юноша. И иди в детскую, а то я мадмуазель пожалуюсь.

Лиза горько задумалась. Никогда ей не догнать эту Машу. Вот через четыре года она, значит, тоже станет юношей, а Маша, наверное, будет уже старой девой. Никогда не догнать.

2

В церкви тесно и душно. Тихо потрескивают свечи в руках молящихся. Там, высоко под куполом, стелется голубоватый туман ладана. Внизу — золото икон, черные фигуры и огни. Все черное, огонь и золото.

Лиза устала. Отламывает кусочки оплывшего воска, скатывает шарики и налепляет их на свечку, отмечая, сколько Евангелий прочел священник.

Священник читает хорошо, отчетливо слышно, хотя Лиза стоит далеко.

Лиза слушает знакомые фразы и не может сосредоточиться. Мешает стоящая перед ней старуха, которая все время злобно оборачивается и сверлит Лизу острым глазом с желтым, рыбьим ободком. Старуха боится, что Лиза подпалит ей лисий воротник.

И еще мешают рассеянные мысли. Думала о своей подружке, рыженькой, кудрявой Зине. Она похожа на пчелу, — вся медовая, вся золотистая. Ее медовые волосы вьются мелким барашком. Летом на даче сидела она как-то с собачкой болонкой на руках. Прошла мимо баба и сказала: «Ишь какая пудель!» И серьезно спрашивала у Лизы: «Ради бога, про кого она сказала, про меня или про Кадошку?» Зина глупенькая и так похожа на пчелу, что Лиза зовет ее Зум-Зум.

О чем сейчас читает батюшка? «И абие петел возгласи...» Как это было? Ночь. Костер во дворе первосвященника. Должно быть, холодно было. Люди грелись у костра. И Петр сидел с ними. Лиза любила Петра и выделяла его среди других апостолов. Любила за то, что он был самый пламенный. И она не хочет думать, что Петр отрекся. Когда его спросили, не пришел ли он с Иисусом Назареем, он не признался, что пришел, только потому, чтобы его не прогнали. Ведь он же сам последовал за Христом во двор первосвященника, не побоялся.

Лиза думает о том, как Петр заплакал и отошел, когда «абие петел возгласи», и у нее болит сердце, и она идет душою вместе с Петром мимо стражи, мимо страшных, злых солдат и со злобным подозрением глядящих слуг первосвященника, проходит в ворота, входит в черную горестную ночь.

И дальше, дальше. Гудит народ на площади перед домом Пилата. И голос громкий, страшный и властный, как сама судьба, возгласил: «Распни! Распни Его!» И точно огни свечей задрожали, точно злое черное дыхание пронеслось по церкви: «Распни, распни Его!» Из века в век передается этот злой крик. Чем заплатить, как искупить нам, людям, чтобы он умолк, чтобы не слышать его?

Лиза чувствует, как холодеют у нее руки, как вся она цепенеет в какой-то восторженной печали, и слезы текут по щекам. Что это? И отчего я плачу? Что со мною?

Может быть, рассказать об этом Зине, Зум-Зум? Но как рассказать, чтобы она поняла? Поймет ли, как вся церковь притихла, и огоньки задрожали, и страшный голос так громко, так ужасно возопил: «Распни, распни Его!» Не сумею я этого рассказать. А если расскажу плохо, Зум-Зум ничего и не поймет. А если поймет и почувствует так же, как я, — как это будет удивительно и чудесно! Тут совсем будет что-то новое, как-то мы иначе и жить будем. Господи! Сделай так, чтобы я могла рассказать!

* * *

Первый день Пасхи был очень веселый. Приходило много поздравителей. Лиза надела весеннее платьице, фасон которого сама выбрала. И выбрала она его потому, что в модном журнале было под ним написано: «Платье для молодой девицы тринадцати лет». Понимаете? Для молодой девицы, а не для девочки и не для подростка.

К завтраку пришла Зум-Зум. Вид у нее был счастливый и таинственный.

— Пойдем скорее к тебе. Масса нового, — шепнула она.

Новое действительно оказалось потрясающим. Кадет! Дивный кадет! И не мальчишка, ему уже шестнадцать лет. Он поет романс «Скажите ей, что пламенной душою». Зум-Зум сама не слыхала, но Вера Ярославцева говорит, что очень хорошо. И он влюблен в Зум-Зум. Он видел ее зимой на катке и видел на вербах, с Верой Ярославцевой. Он видел также и Лизу.

— Да, да, видел. Не знаю, где. И сказал, что ты роскошная женщина.

— Неужели? — ахнула Лиза. — Так и сказал? Интересно — какой он?

— Я, наверное, не знаю. Когда мы гуляли на вербах, за нами шли два кадета, а который он, я не знаю. Но мне кажется, что такой черноватый, потому что другой был ужасно белый и круглый, какой-то неспособный на чувство.

— А как ты думаешь, он и в меня тоже влюблен?

— Вероятно, тоже. Ну, что ж, это еще веселее, если в обеих.

— А ты не считаешь, что это безнравственно? Мне чего-то страшно.

Зум-Зум, кудрявая, медовая, пчелиная, иронически поджала малиновые губы.

— Ну, знаешь ли, ты меня удивляешь. В царицу Савскую все народы были влюблены, а тут один кадет, и ты пугаешься. Это просто глупо.

— Так это правда, что он так про меня сказал? Что я...

Ей неловко было повторить эти потрясающие слова: «рос-кош-на я жен-щина».

— Ну, конечно, правда, — рассудительно отвечала Зум-Зум. — Раз Вера Ярославцева так передала. Ты думаешь, ей это приятно было бы выдумать? Наверное, от зависти лопается.

— А, может быть, это, все-таки, грех? — волновалась Лиза. — Подожди, я что-то хотела тебе рассказать, и вот не помню. Что-то важное.

— Ну, в другой раз вспомнишь. Зовут завтракать.

Вечером, укладываясь спать, Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свое белобрысое острое личико, на веснущатый нос, улыбнулась и прошептала восторженно:

— Роскошная женщина.

3

Ночь была черная.

С правого борта море сливалось с небом, и казалось, что там, совсем близко, в нескольких метрах от парохода, сразу кончается мир. Черная бездна, мировое пространство, вечность.

С левого борта видны далекие, редкие огоньки. Они были живые — гасли, двигались. Или это только казалось оттого, что все знали, что там город, живые люди, движение, жизнь.

После двухнедельного плавания, скучного и страшного, когда никто не был уверен, куда и когда доплывет, и вообще будет ли когда-нибудь земля под его ногами, и будет ли эта земля ласковая, и не явится ли она дорогой на горе, муку и смерть, — после этого плавания, так обидно казалось видеть эти живые огоньки и не сметь подплыть к ним.

Утром капитан обещал снестись с берегом, выяснить положение — и тогда решит, что делать.

Кто там в городе? В чьих он руках? Свои там или чужие? Белые или красные? А если чужие — куда мы денемся? Уйдем на восток? Не пробраться нам далеко на нашем суденышке. Потонем.

Бродят усталые люди по палубе, смотрят на огоньки.

— Не хочу смотреть на эти огни, — сказала Лиза. — От них еще тоскливее. Уж лучше эта черная, страшная ночь. Она мне ближе. Но как странно гудит море? Что это такое?

Мимо тихо прошел матрос.

— Скажите, — спросила Лиза, — вы слышите, как море гудит?

— Слышу, — отвечал матрос. — Это с берега доносится колокольный звон. Это хороший нам знак. Там белые. Сегодня Страстной четверг. Двенадцать Евангелий.

Двенадцать Евангелий. Что-то далекое вспомнилось. Черное, золото, огни. Голубой туман ладана. Девочка с белокурыми косами сжимает руки, в которых дрожит и оплывает восковая свечка, — сжимает руки девочка и плачет. «Что делать, как искупить нам, людям, чтобы страшный крик умолк, чтобы не слышать нам: «Распни, распни Его!»

Как странно, как ярко все это вспомнилось! Такая огромная жизнь прошла, и вдруг — то мгновение, которое тогда сразу же было забыто, вдруг подошло, загудело в море колокольным звоном, зажгло огни берега восковыми свечечками и точно догнало, и встало рядом, и больше не отойдет. Не отойдет? А не прибежит ли снова Зум-Зум, зажужжит, закружит, завертит? Зум-Зумы скоро бегают, везде догонят. «И абие петел возгласи...»

Кишмиш

Великий пост. Москва.

Гудит далеким глухим гулом церковный колокол. Ровные удары сливаются в сплошной тяжкий стон.

Через дверь, открытую в мутную предутренней мглой комнату, видно, как под тихие, осторожные шорохи движется неясная фигура. Она то зыбко выделяется густым серым пятном, то снова расплывается и совсем сливается с мутной мглой. Шорохи стихают, скрипнула половица, и еще одна — подальше. Все стихло. Это няня ушла в церковь, к утрене.

Она говеет.

Вот тут делается страшно.

Девочка свертывается комочком в своей постели, чуть дышит. И все слушает и смотрит, слушает и смотрит.

Гул становится зловещим. Чувствуются беззащитность и одиночество. Если позвать — никто не придет. А что может случиться? Ночь кончается, наверное, петухи уже пропели зарю, и все привидения убрались восвояси.

А «свояси» у них — на кладбищах, в болотах, в одиноких могилах под крестом, на перекрестке глухих дорог у лесной опушки. Теперь никто из них человека тронуть не посмеет, теперь уже раннюю обедню служат и молятся за всех православных христиан. Так чего же тут страшного?

Но восьмилетняя душа доводам разума не верит. Душа сжалась, дрожит и тихонько хнычет. Восьмилетняя душа не верит, что это гудит колокол. Потом, днем, она будет верить, но сейчас, в тоске, в беззащитном одиночестве, она «не знает», что это просто благовест. Для нее этот гул — неизвестно что. Что-то зловещее. Если тоску и страх перевести на звук, то будет этот гул. Если тоску и страх перевести на цвет, то будет эта зыбкая серая мгла.

И впечатление этой предрассветной тоски останется у этого существа на долгие годы, на всю жизнь. Существо это будет просыпаться на рассвете от непонятной тоски и страха. Доктора станут прописывать ей успокаивающие средства, будут советовать вечерние прогулки, открывать на ночь окно, бросить курить, спать с грелкой на печени, спать

в нетопленой комнате и многое, многое еще посоветуют ей. Но ничто не сотрет с души давно наложенную на нее печать предрассветного отчаяния.

* * *

Девочке дали прозвище Кишмиш. Кишмиш — это мелкий кавказский изюм. Прозвали ее так, вероятно, за маленький рост, маленький нос, маленькие руки. Вообще, мелочь, мелюзга. К тринадцати годам она быстро вытянется, ноги станут длинными, и все забудут, что она была когда-то Кишмишем.

Но, будучи мелким Кишмишем, она очень страдала от этого обидного прозвища. Она была самолюбива и мечтала выдвинуться как-нибудь и, главное, — грандиозно, необычайно. Сделаться, например, знаменитым силачом, гнуть подковы, останавливать на ходу бешено мчащуюся тройку. Манило также быть разбойником или, пожалуй, еще лучше — палачом. Палач — могущественнее разбойника, потому что он одолеет, в конечном счете. И могло ли кому-нибудь из взрослых, глядя на худенькую, белобрысую, стриженую девочку, тихо вяжущую бисерное колечко, — могло ли комунибудь прийти в голову, какие грозные и властные мечты бродят в ее голове? Была, между прочим, еще одна мечта — это быть ужасной уродиной, не просто уродиной, а такой, чтобы люди пугались. Она подходила к зеркалу, скашивала глаза, растягивала рот и высовывала язык набок. При этом предварительно произносила басом, от имени неизвестного кавалера, который лица ее не видит, а говорит в затылок:

— Разрешите пригласить вас, мадам, на кадриль.

Потом делалась рожа, полный оборот и следовал ответ кавалеру:

— Ладно. Только сначала поцелуйте мою кривую щеку.

Предполагалось, что кавалер в ужасе убегает. И тогда ему вслед:

— Ха! Ха! Ха! Небось не смеешь!

Кишмиш учили наукам. Сначала — только Закону Божию и чистописанию.

Учили, что каждое дело надо начинать молитвой.

Это Кишмиш понравилось. Но, имея в виду, между прочим, и карьеру разбойника, Кишмиш встревожилась.

— А разбойники, — спросила Кишмиш, — когда идут разбойничать, тоже должны молиться?

Ей ответили неясно. Ответили: «Не говори глупостей». И Кишмиш не поняла — значило ли это, что разбойникам не надо молиться, или что непременно нужно, и это настолько ясно, что и спрашивать об этом глупо.

Когда Кишмиш подросла и пошла в первый раз к исповеди, в душе ее произошел перелом. Грозные и властные мечты погасли.

Очень хорошо пели потом трио «Да исправится молитва моя».

Выходили на середину церкви три мальчика, останавливались у самого алтаря и пели ангельскими голосами. И под эти блаженные звуки смирялась душа, умилялась. Хотела быть белой, легкой, воздушной, прозрачной, улетать в звуках и в дымах кадильных туда, под самый купол, где раскинул крылья белый голубь Святого Духа.

Тут разбойнику было не место. И палачу, и даже силачу совсем тут быть не подходило. Уродина-страшилище встала бы куда-нибудь за дверь и лицо бы закрыла. Пугать людей было бы здесь делом неподходящим. Ах, если бы можно было сделаться святой! Как было бы чудесно! Быть святой — это так красиво, так нежно. И это — выше всего и выше всех. Это — важнее всех учительниц, и начальниц, и всех губернаторов.

Но как сделаться святой? Придется делать чудеса, а Кишмиш делать чудес ни капельки не умела. Но ведь не с этого же начинают. Начинают со святой жизни. Нужно сделаться кроткой, доброй, раздать все бедным, предаваться посту и воздержанию.

Теперь, как отдать все бедным? У нее — новое весеннее пальто. Вот его прежде всего и отдать.

Но до чего же мама рассердится. Это будет такой скандал и такая трепка, что и подумать страшно. И мама расстроится, а святой не должен никого расстраивать и огорчать. Может быть, отдать бедному, а маме сказать, что просто пальто украли? Но святому врать не полагается. Ужасное положение. Вот разбойнику — тому легко жить. Ври сколько влезет и еще хохочи коварным смехом. Так как же они делались, эти святые? Просто дело в том, что они были ста-

рые — все не меньше шестнадцати лет, а то и прямо старики. Они и не обязаны были маму слушаться. Они прямо забрали все свое добро и сразу его и раздали. Значит, с этого начинать нельзя. Это пойдет под конец. Начинать надо с кротости и послушания. И еще с воздержания. Есть надо только черный хлеб с солью, пить только воду прямо из-под крана. А тут опять беда. Кухарка насплетничает, что она пила сырую воду, и ей достанется. В городе — тиф, и мама сырую воду пить не позволяет. Но, может быть, когда мама поймет, что Кишмиш — святая, она препятствий делать не будет?

А как чудесно быть святой. Теперь это такая редкость. Все знакомые будут удивляться:

— Отчего это над Кишмиш сияние?

— Как, разве вы не знаете? Да ведь она уже давно святая.

— Ах! Ах! Быть не может.

— Да вот, смотрите сами.

А Кишмиш сидит и кротко улыбается и ест черный хлеб с солью.

Гостям завидно. У них нет святых детей.

— А может быть, она притворяется?

Какие дураки! А сияние-то!

Вот интересно — скоро ли начнется сияние? Вероятно, через несколько месяцев. К осени уже будет. Боже мой, Боже мой! Как это все чудесно! Пойду исповедоваться на будущий год. Батюшка спросит строго:

— Какие у тебя грехи? Кайся.

А я ему в ответ:

— Ровно никаких, я — святая.

Он:

— Ах! ах! Быть не может!

— Спросите у мамы, спросите у наших гостей — все знают.

Батюшка начнет допытываться, может быть, какой-нибудь самый маленький грешок есть?

А Кишмиш в ответ:

— Ни од-но-го! Хоть шаром покати.

А интересно, нужно будет, все-таки, уроки готовить? Беда, если нужно. Потому что лениться святому нельзя. И не слушаться нельзя. Прикажут — учись. Если бы еще сразу су-

меть делать чудеса. Сделать чудо — учительница сразу испугается, упадет на колени и урока не спросит.

Потом представила себе Кишмиш, какое у нее будет лицо. Подошла к зеркалу, втянула щеки, раздула ноздри, подкатила глаза. Такое лицо Кишмиш очень понравилось. Действительно — святое лицо. Немножко тошнительное, но совсем святое. Такого ни у кого нет. Теперь, значит, айда на кухню за черным хлебом.

Кухарка, как всегда перед завтраком, сердитая и озабоченная, была неприятно удивлена Кишмишевым визитом.

— Чего барышням на кухню ходить? Мамашенька забранят.

Кишмиш невольно потянула носом. Пахло вкусной постной едой — грибами, рыбой, луком. Хотела было ответить кухарке: «Не ваше дело», но вспомнила, что она — святая, и отвечала сдержанно:

— Будьте добры, Варвара, отрезать мне кусочек черного хлеба.

Подумала и прибавила.

— Большой кусочек.

Кухарка отрезала.

— И будьте добры посолить, — попросила Кишмиш и завела глаза к небу.

Хлеб надо было съесть тут же, а то, пожалуй, в комнатах не поймут, в чем дело, и выйдут одни неприятности.

Хлеб оказался превкусным, и Кишмиш пожалела, что не спросила сразу два куска. Потом налила воды из-под крана в ковш и стала пить. Вошла горничная и ахнула:

— А я вот мамаше скажу, что вы сырую воду пьете.

— Так она эва какой кусище хлеба с солью съела! — сказала кухарка. — Ну, оно и пьется. Апекит к росту.

Позвали к завтраку. Не идти нельзя. Решила идти, но ничего не есть и быть кроткой.

Была уха с пирожками. Кишмиш сидела и тупо смотрела на положенный ей пирожок.

— Чего же ты не ешь?

Она кротко улыбнулась в ответ и в третий раз сделала святое лицо — то, что приготовила перед зеркалом.

— Господи, что это с нею? — удивилась тетка. — Что это за гримасы?

— Они перед самым завтраком во какой кусище черного хлеба съели, — донесла горничная, — и водой из-под крана запили.

— Кто тебе позволил ходить в кухню и есть хлеб? — сердито закричала мать. — И ты пила сырую воду?

Кишмиш подкатила глаза и смастерила окончательно святое лицо с раздутыми ноздрями.

— Что это с ней?

— Это она меня передразнивает! — взвизгнула тетка и всхлипнула.

— Пошла вон, скверная девчонка! — сердито сказала мать. — Иди в детскую и сиди весь день одна.

— Хоть бы скорее отправили ее в институт! — всхлипывала тетка. — Буквально все нервы. Все нервы.

* * *

Бедная Кишмиш!

Она так и осталась грешницей.

Где-то в тылу

Прежде чем начать военные действия, мальчишки загнали толстую Бубу в переднюю и заперли за ней дверь на ключ.

Буба ревела с визгом. Поревет и прислушается — дошел ли ее рев до мамы. Но мама сидела у себя тихо и на Бубин рев не отзывалась.

Прошла через переднюю бонна и сказала с укором:

— Ай, как стыдно! Такая большая девочка и плачет.

— Отстань, пожалуйста, — сердито оборвала ее Буба. — Я не тебе плачу, а маме плачу.

Как говорится, капля камень продолбит. В конце концов мама показалась в дверях передней.

— Что случилось? — спросила она и заморгала глазами. — От твоего визга опять у меня мигрень начнется. Чего ты плачешь?

— Ма-альчики не хотят со мной играть. Бу-у-у!

Мама дернула дверь за ручку.

— Заперта? Сейчас же открыть! Как вы смеете запираться? Слышите?

Дверь открылась.

Два мрачных типа восьми и пяти лет, оба курносые, оба хохлатые, молча сопели носами.

— Отчего вы не хотите с Бубой играть? Как вам не стыдно обижать сестру?

— У нас война, — сказал старший тип. — Женщин на войну не пускают.

— Не пускают, — басом повторил младший.

— Ну, что за пустяки, — урезонивала мама, — играйте, будто она генерал. Ведь это не настоящая война, это игра, область фантазии. Боже мой, как вы мне надоели!

Старший тип посмотрел на Бубу исподлобья.

— Какой же она генерал? Она в юбке и все время ревет.

— А шотландцы ведь ходят же в юбках?

— Так они не ревут.

— А ты почем знаешь?

Старший тип растерялся.

— Иди лучше рыбий жир принимать, — позвала мама. — Слышишь, Котька! А то опять увильнешь.

Котька замотал головой.

— Ни-ни за что! Я за прежнюю цену не согласен.

Котька не любил рыбьего жира. За каждый прием ему полагалось по десять сантимов. Котька был жадный, у него была копилка, он часто тряс ее и слушал, как брякают его капиталы. Он и не подозревал, что его старший брат, гордый лицеист, давно приспособился выковыривать через щелку копилки маминой пилочкой для ногтей кое-какую поживу. Но работа эта была опасная и трудная, кропотливая, и не часто можно было подрабатывать таким путем на незаконную сюсетку.

Котька этого жульничества не подозревал. Он на это способен не был. Он просто был честный коммерсант, своего не упускал и вел с мамой открытую торговлю. За ложку рыбьего жиру брал по десять сантимов. За то, чтобы позволить вымыть себе уши, требовал пять сантимов, вычистить ногти — десять, из расчета по сантиму за палец; выкупаться с мылом — драл нечеловеческую цену: двадцать сантимов,

причем оставлял за собой право визжать, когда ему мылили голову, и пена попадала в глаза. За последнее время его коммерческий гений так развился, что он требовал еще десять сантимов за то, что он вылезет из ванны, а не то, так и будет сидеть и стынуть, ослабеет, простудится и умрет.

— Ага! Не хотите, чтобы умер? Ну, так гоните десять сантимов и никаких.

Раз даже, когда ему захотелось купить карандаш с колпачком, он додумался о кредите и решил забрать вперед за две ванны и за отдельные уши, которые моются утром без ванны. Но дело как-то не вышло: маме это не понравилось.

Тогда он и решил отыграться на рыбьем жире, который, всем известно, — страшная гадость, и есть даже такие, которые совсем его не могут в рот взять. Один мальчик рассказывал, что он как глотнет ложку, так этот жир у него сейчас вылезет через нос, через уши и через глаза, и что от этого можно даже ослепнуть. Подумайте только — такой риск и все за десять сантимов.

— За прежнюю цену не согласен, — твердо повторил Котька. — Жизнь так вздорожала, невозможно принимать рыбий жир за десять сантимов. Не хочу! Ищите себе другого дурака ваш жир пить, а я не согласен.

— Ты с ума сошел! — ужасалась мама. — Как ты отвечаешь? Что это за тон?

— Ну, у кого хочешь спроси, — не сдавался Котька, — это невозможно за такую цену.

— Ну, вот подожди, придет папа, он тебе сам даст. Увидишь, будет ли он с тобой долго рассуждать.

Эта перспектива не особенно Котьке понравилась. Папа был нечто вроде древнего тарана, который подвозили к крепости, долго не желавшей сдаваться. Таран бил по воротам крепости, а папа шел в спальню и вынимал из комода резиновый пояс, который он носил на пляже, и свистел этим поясом по воздуху — жжи-г! жжи-г!

Крепость, обыкновенно, сдавалась прежде, чем таран пускался в ход.

Но в данном случае много значило оттянуть время. Еще придет ли папа к обеду. А может быть, приведет с собой кого-нибудь чужого. А может быть, будет чем-нибудь занят или расстроен и скажет маме:

— Боже мой! Неужели даже пообедать нельзя спокойно?

Мама увела Бубу.

— Пойдем, Бубочка, я не хочу, чтобы ты играла с этими дурными мальчишками. Ты хорошая девочка, поиграй своей куколкой.

Но Бубе, хотя и приятно было слышать, что она хорошая девочка, совсем не хотелось играть куколкой, когда мальчишки будут разделывать войну и лупить друг друга диванными подушками. Поэтому она хотя и пошла с мамой, но втянула голову в плечи и тоненько заплакала.

У толстой Бубы была душа Жанны д'Арк, а тут вдруг извольте вертеть куколку! И, главное, обидно то, что Петя по прозванью Пичуга — младше нее — и вдруг имеет право играть в войну, а она нет. Пичуга презренный, шепелявый, малограмотный, трус и подлиза. От него совершенно невозможно перенести унижение. И вдруг Пичуга вместе с Котькой выгоняют ее вон и запирают за нею двери. Утром, когда она пошла посмотреть их новую пушечку и засунула палец в ее жерло, этот низкий человек, подлиза, на год моложе ее, завизжал поросячьим голосом и нарочно визжал ненормально громко, чтобы Котька услышал из столовой.

И вот она сидит одна в детской и горько обдумывает свою неудачно сложившуюся жизнь.

А в гостиной идет война.

— Кто будет агрессором?

— Я, — басом заявляет Пичуга.

— Ты? Хорошо, — подозрительно быстро соглашается Котька. — Значит, ложись на диван, а я буду тебя драть.

— Почему? — пугается Пичуга.

— Потому что агрессор — подлец, его все ругают, и ненавидят, и истребляют.

— Я не хочу! — слабо защищается Пичуга.

— Теперь поздно, ты сам заявил.

Пичуга задумывается.

— Хорошо! — решает он. — А потом ты будешь агрессор.

— Ладно. Ложись.

Пичуга со вздохом ложится животом на диван. Котька с гиканьем налетает на него и прежде всего трет ему уши и

трясет его за плечи. Пичуга сопит, терпит и думает: « Ладно. А вот потом я тебе покажу».

Котька хватает за угол диванную подушку и бьет ею со всего маху Пичугу по спине. Из подушки летит пыль. Пичуга крякает.

— Вот тебе! Вот тебе! Не агрессничай в другой раз! — приговаривает Котька и скачет, красный, хохлатый.

«Ладно! — думает Пичуга. — Вот все это я тебе тоже».

Наконец, Котька устал.

— Ну, довольно, — говорит, — вставай! Игра кончена.

Пичуга слезает с дивана, моргает, отдувается.

— Ну, теперь ты агрессор. Ложись, теперь я тебя вздую.

Но Котька спокойно отходит к окну и говорит:

— Нет, я устал, игра кончена.

— Как устал? — вопит Пичуга.

Весь план мести рухнул. Пичуга, молча кряхтевший под ударами врага во имя наслаждения грядущей отплатой теперь беспомощно распускает губы и собирается реветь.

— Чего же ты ревешь? — холодно спрашивает Котька. — Непременно хочешь играть? Ну, раз хочешь играть, начнем игру сначала. Ты опять будешь агрессором. Ложись! Раз игра с того начинается, что ты агрессор. Ну! Понял?

— А зато потом ты? — расцветает Пичуга.

— Ну, разумеется. Ну, ложись скорее, я тебя вздую.

«Ну, погоди ж ты», — думает Пичуга и со вздохом деловито ложится. И снова Котька натирает ему уши и лупит его подушкой.

— Ну, будет с тебя, вставай! Игра кончена. Я устал. Не могу я колотить тебя с утра до ночи, я устал.

— Так ложись скорей! — волнуется Пичуга, кубарем скатываясь с дивана. — Теперь ты агрессор.

— Игра кончена, — спокойно говорит Котька. — Мне надоело.

Пичуга молча распяливает рот, трясет головой, и по щекам его бегут крупные слезы.

— Чего ревешь? — презрительно спрашивает Котька. — Хочешь опять сначала?

— Хочу, стобы ты аг-ре-ссор, — рыдает Пичуга.

Котька минутку подумал.

— Тогда дальше будет такая игра, что агрессор сам бьет. Он злой и на всех нападает без предупреждения. Пойди спроси у мамы, если не веришь. Ага! Если хочешь играть, так ложись. А я на тебя нападу без предупреждения. Ну, живо! А то я раздумаю.

Но Пичуга уже ревел во все горло. Он понял, что торжествовать над врагом ему никогда не удастся. Какие-то могучие законы все время оборачиваются против него. Одна утеха оставалась ему — оповестить весь мир о своем отчаянии.

И он ревел, визжал и даже топал ногами.

— Боже мой! Что они здесь творят?

Мама вбежала в комнату.

— Зачем вы подушку разорвали? Кто вам позволил драться подушками? Котька, ты опять его прибил? Почему вы не можете играть по-человечески, а непременно, как беглые каторжники? Котька, иди, старый дурак, в столовую и не смей трогать Пичугу. Пичуга, гнусный тип, ревун, иди в детскую.

В детской Пичуга, продолжая всхлипывать, подсел к Бубе и осторожно потрогал за ногу ее куклу. В жесте этом было раскаяние, была покорность и сознание безысходности. Жест говорил: «Сдаюсь, бери меня к себе».

Но Буба быстро отодвинула куклину ногу и даже вытерла ее своим рукавом, чтобы подчеркнуть свое отвращение к Пичуге.

— Не смей, пожалуйста, трогать! — сказала она с презрением. — Ты куклу не понимаешь. Ты мужчина. Вот. Так и нечего!

«Нигде»

1

Дверь в залу была закрыта. В зале украшали елку.

А в маленькой гостиной, у запертой двери, томились дети — свои, домашние дети, и чужие, приглашенные на елку.

Никакая игра не могла их занять. Они думали только о том, что их ждет, когда раскроются двери.

Толстый белый мальчик, с надутым обиженным лицом, говорит:

— Только подарили бы чего хорошего, чтоб не дрянь.

Черненький, задира с хохолком, отвечает:

— Мне-то подарят, а тебе-то нет. Мне подарят живую лошадь. Я умею на лошади ездить, а ты нет.

— Никогда ты на лошади не ездил, — говорит надутый.

— Не ездил, да умею. А ты все равно не умеешь.

— А моя мама умеет на пароходе ездить, — вступает в разговор маленькая девочка в короткой юбочке. Бант на ее голове больше этой юбочки.

Толстому мальчику неприятно, что такое ничтожество с бантом впуталось в их мужскую беседу. Он обрывает нахалку презрительной скороговоркой:

— Мама-то умеет, да ты не умеешь.

— Подарили бы мне рельсов! — мечтает чей-то тоненький голосок. — Хоть немножечко, да настоящих.

Худенькая девочка с острым веснущатым личиком вздохнула и сказала шепотом:

— Эти двери не откроются. Там ничего нет. Вот здесь стена откроется, там все и будет.

Дети повернули к ней головы с любопытством и недоверием. Она всегда врет. Ее так и называют Катя-вратя. Однако все-таки любопытно.

— Что же будет?

— Будет...

Она не знала, что сказать. Потом, точно вспомнила, широко раскрыла светлые глаза.

— Там будет все сделано из музыки. Двенадцать хрустальных кораблей и жемчужные лебеди.

— Врешь, — буркнул обиженный мальчик. — Из музыки делать нельзя.

— Нет, можно, — упрямо ответила девочка. — Возьмут музыку и напиливают смычком. А потом кусочки склеивают в разные штучки. И все там не такое. А самый хорошенький лебедь подойдет и подарится мне. Самый хорошенький. У него на ножках бриллианты. Он танцует и поет. И солнце там черное. От него бывает ночь.

Мальчик с хохолком удивленно задумался и вдруг сообразил и заскакал на одной ноге.

— Катя-вратя! Катя-вратя! Врет, врет, врет!

Веснущатая девочка прижала руки к груди.

— Это все правда, — повторяла она дрожащим голоском. — Это все, правда. Я это даже видела во сне.

Двери открылись. Мамы, папы, тетки — большие, шумные, веселые — позвали детей. Свет, гул, звон, крик, музыка.

Когда детям раздали подарки, мальчик с хохолком увидел веснущатую девочку. Она стояла одна в углу за дверью и задумчиво прижимала к груди большого носатого паяца в пестром платье с позументами.

— Ну, где же твой лебедь? — крикнул он. — Чего же ты врала, врунья?

— Вот лебедь, — отвечала девочка, еще крепче прижимая к себе паяца. — Вот он. Совсем жемчужный. Видишь? Из музыки.

Ее бледные глаза смотрели так честно и строго, что мальчик с хохолком растерялся и, чтобы выйти молодцом из неприятной истории, заскакал козлом вокруг елки и заорал во все горло:

— Катя-вратя! Катя-вратя!

* * *

Я знала эту девочку.

Она потом всю жизнь искала страну хрустальных кораблей и каждого шута горохового принимала за жемчужного лебедя.

2

У пристани старого порта русского северного города на связке канатов сидел мальчик. Худенький, с вытянутой шеей, мордочка острая, напряженная.

Он сначала сидел на тумбе, на которую накручивают причальные тросы, но его согнали грузчики.

Он пересел подальше, но и оттуда его согнали. Тогда он пересел снова на связку канатов. Если его опять прогонят, он пристроится где-нибудь на куче щебня, на груде мешков, на бочках, на досках или опять влезет на тумбу. Он привык, что его отовсюду гонят и что он всем здесь мешает. Ничего не поделаешь. Он все равно не уйдет.

У него ноздри раздуваются, глаза блестят и бегают, как у мышонка, он облизывает губы, вертит острой мордочкой, впивает запахи.

Пахнет рыбой, смолой, морской гнилью и еще чем-то пряным, волнующим, незнакомым. Это запах того корабля, который сейчас разгружают. Бананы? Но они не так пахнут. Корица? Тоже нет. Это вообще небывалый запах, дыхание тех далеких земель, которых нет на свете.

Из маленького люка около кормы выплескивается вода. Ее откачивают из трюма. Где она попала в трюм, эта вода? Может быть, где-нибудь далеко-далеко, в стране Нигде. Может быть, она и принесла с собой этот небывалый чудесный запах.

Снизу гладкие стены корабля кажутся неприступными, беспощадно-высокими. И отражение волн дрожит сверкающей кружевной сеткой на его боках. Может быть, поймали его этой сеткой и держат. Как все чудесно!

Спросить у матроса — откуда пришел корабль?

Он ответит:

— Из Ямайки.

Или с Явы, или с Канарских островов.

Чудные, волнующие имена.

Но есть, наверное, еще какое-то неизвестное имя, которое можно услышать только в самом глубоком сне.

Один матрос рассказывал — мальчик слышал — что самое замечательное — это залезть на верхушку огромной средней мачты. Она всегда немножко качается, даже в самую тихую погоду. И вот, если смотреть оттуда, сверху, на мир, то увидишь необычайные вещи. Во-первых, сам корабль покажется маленьким, как подставка. И все морское дно, будь оно хоть на два километра глубины, видно как на ладони. Там, на дне, гуляют чудовища: одноглаз, осьминог, петух-рыба, пила-рыба, рыба-меч, морской кот, морской конь, морской еж. Все огромное, все страшное, не такое, как на земле. И есть такое место, где живут живые кораллы.

Мальчик видел в своей жизни кораллы. У тетки коралловая брошки, у матери коралловый браслет и серьги, у няньки — бусы. Но в море все эти брошки, серьги и бусы —

живые. Ходят и разговаривают, а в хорошую погоду, может быть, и поют.

Матрос рассказывал много удивительного. Он был сильно пьян, его даже выгнали из кабака, поэтому он и рассказывал все откровенно, чего трезвые матросы ни за какие деньги не разболтают. Он рассказывал, как вся вода со всех морей течет к берегу Южной Америки. И всю добычу моря несет туда: и затонувшие корабли, и утопленников — все. И там самая большая глубина, больше шести километров. И стоят там рядами все погибшие моряки — за все время, что мир существует. И все в мундирах, с саблями в руках. Есть там и средневековые рыцари, и совсем древние греки с бородами в триста сажен, и наши всякие адмиралы с пушками. Матрос нарочно нырнул и все это высмотрел.

— Где такая страна, которой нет? — спрашивал мальчик у больших.

— Отстань! — отвечали ему. — Нигде.

Потом этот мальчик вырос и недавно рассказывал мне, как сидел в порту на свернутом канате и все думал, думал, пока не заболел. Но и теперь во сне часто качается на верхушке огромной мачты и чувствует, как ветер треплет ему волосы и несет его корабль в страну Нигде, о которой он будто бы и наяву тоскует, но только наяву не понимает, что тоскует именно по ней, а всегда думает, что о чем-то другом.

3

Он очень худой и бледный. И глаза у него всегда грустные, даже когда он смеется. А смеется он, между прочим, много и охотно. Странно. Как-то не вяжется этот смех с его глазами.

Говорили, что в молодости пережил он сильное нервное потрясение. Да и было от чего. Гуляя по юрам Швейцарии, сорвался в пропасть. Спутник успел вовремя его подхватить, но он потерял сознание и потом долго хворал.

Об этой истории он теперь рассказывал мне:

— Я тогда был каким-то фантазером. Душа была неспокойная, точно дрожала от нетерпения. И все я искал чего-то.

И все было не то и не то. И для меня как-то подходило лезть на горы. Кто делал горные экскурсии, тот знает, что нигде на земле не найдется таких быстрых смен впечатлений. На каждом подъеме, на каждом повороте — новое. И это как бы ступени к высшему, высшему, в общем, и в исключительном смысле. Так, каждый шаг — не просто передвижение, а искание, и достижение, и путь к цели неведомой. Так, по крайней мере, чувствуется, пока идешь.

И вот в тот день, в день катастрофы, может быть, я действительно был в особенно нервном настроении.

Пошел я в горы с одним местным жителем. Звали его Пьер. Было это около деревушки Сен-Женгольф, над которой две горы — Бланшар и Граммон — рядом. Мы поднялись из Граммон.

Подъем был нетрудный и недолгий, мы шли разговаривая. Потом Пьер отстал. Я шел, задумавшись, повернул налево, к краю пропасти, поднял голову и замер. То, что я увидел, пронзило меня до крика. Как расскажу я? Ну, вот как: передо мной две скалы — Бланшар и Граммон — соединялись, образуя огромную арку, ворота в небо. И там, через раскаленный янтарь заката, пылала невиданная, какая-то восторженная заря. И из нее, устремляя путь в триумфальную арку, летела, мчалась колесница, квадрига. Через золотые волны облаков. И перед ней, указывая ей путь, гремел пурпурный луч, как труба архангела над разбушевавшимся морем оркестра.

Мне трудно рассказать. Здесь все, что было в моей жизни исканием, жаждой, томлением, все, что было красотой несовершенной, только манящей и обещающей, — все было завершено и поднято во всей страшной славе своей. И вынести это убогой человеческой душе было невозможно.

Я помню свой крик и мысль спешную и как бы деловитую: «Надо закрыть глаза, а то “покажется”, что ты падаешь. Потом будет сильный удар — это земля оттолкнет от себя...»

И я поднял руки и чувствовал только, как дрожит в груди призывный трубный звон. И я закрыл глаза.

Так кончился мой полет в страну Нигде.

Обыкновенная история

Дама, сдававшая Цензову свою квартирку на летние месяцы, оказалась типичной чирикающей крошкой.

— А здесь у вас балкончик, — чирикала она. — И вид прямо на море. Вам, как писателю, чего же лучше? Сидите, смотрите и вдохновляйтесь. А надоело море — смотрите в окошко на садик. У нас персики свои и сливы. Тоже можете вдохновиться. Вы тут у меня пять томов напишете. А вот диванчик. Можете сесть и помечтать, как говорится, пофантазировать. А надоест сидеть, можете встать. У нас вообще простота, у соседей даже петух есть. Вы как писатель отлично сможете вдохновляться, никто мешать не будет.

Цензов старался не слушать и смотрел в сторону, чтобы она по его глазам не увидела, как он ее возненавидел. Ему казалось, что он, как сказочный король, сразу, одним только взглядом, уложит ее на месте.

— Да вы выйдите на балкончик, — щебетала она, — взгляните! Разве может это дивное море не вдохновить вас?

Он встал одной ногой на балкон, стараясь не дышать, потому что, поднявшись на порог, она теперь была головой на уровне его лица, а от волос ее пахло какой-то ворванью с жасмином, и ему казалось, что если он поглубже вдохнет этого духу, то уж ничто его не удержит, чтобы не треснуть ее кулаком по темени.

— Вот, значит, вдохновляйтесь, пишите. Только, пожалуйста, меня не описывайте.

Она игриво погрозила ему пальчиком, но, взглянув на его лицо, вдруг побледневшее, с прыгающими под скулами желваками, растерялась, съежилась и, тихо пискнув, шмыгнула в переднюю.

— Наверное, сатир в душе, — думала она, переводя дух на лестнице. — И, без сомнения, пьющий.

А Цензов в тупом отчаянии смотрел на пол.

— Кончено! Все изгадила ведьма! Теперь ни строчки здесь не напишу.

* * *

Приехала жена с чемоданами и сыном Котькой.

— Балкончик! — обрадовалась она. — Какой душка балкончик! Котька, смотри, какой хорошенький балкончик! Боже мой, да отсюда все море видно! Котька, смотри, какое хорошенькое море!

Котька был слишком мал, чтобы со своего роста увидеть море. Он только прижал нос к перилам и сказал:

— Будем прямо отсюда купаться.

Цензов был мрачен.

— Чего ты такой? — недовольно удивилась жена. — Квартирка чудесная, сиди, пиши, никто тебе мешать не будет.

Цензов молчал, тряс ногой и думал.

— Никогда беда не приходит одна. Теперь эта ослица заблеяла: «Сиди, пиши». Значит, кончено. Значит, ни строчки здесь не напишешь.

Он встал и, не глядя на жену, пробурчал:

— Я ухожу.

Вышел на улицу. Куда идти — сам не знал. Если прямо под горку — придешь к морю.

— «Вдохновитесь… вдохновитесь». К черррту море!

Лезть наверх, на гору? Тяжело.

В боковую улочку. Там стояла какая-то баба с кривоногой девчонкой, и обе с любопытством на него смотрели. Мимо них пройти невозможно. При одной мысли о том, как они повернут головы ему вслед, сделалось сердцебиение.

— Вернуться домой и прямо сказать ей, что больше так жить нельзя?

Но для этого нужен был какой-то подъем, а он уже устал. И, главное, нужна была какая-нибудь внешняя причина, не та настоящая, глубокая, которую понимал только он один, а простой повод, к которому только бы прицепиться, придраться, а там уж пойдет по вдохновению.

Но ни обижать жену, ни расходиться с ней ему не хотелось. Душа хныкала, и он не знал, что ему делать. Пошел, было, к дому, потом повернул к морю, опять вернулся.

— Я форменно схожу с ума. Нужно взять себя в руки.

Повернулся и пошел домой.

Дома жены не застал. Котька тихо возился в коридорчике, изредка что-то выкрикивая. На столе ворохом лежали какие-то бумаги.

— Рукопись? Моя рукопись! Вот так, бухнули к черту, все к черту.

Но, в сущности, рукопись была в порядке, листы не разрознены. Ему стало неприятно, что не разрознены. Уж лучше бы все развалилось прахом — и кончено.

— Все равно, работать при таких условиях нельзя.

Просмотрел одиннадцатую страницу... Рассказ был начат бытовой, из русской деревенской жизни.

«...Много еще Пахомычу работы навертывалось, и за что хвататься, и сам не знал. То ли крышу старым тесом перелатывать, то ли под озимое поле свое начать перепахивать. Деревенские бы песни послушать — думалось ему — ан и это к случаю не спорилось».

— Погано написано, — решил Цензов. — Что за язык! Если бы это сам Пахомыч про себя рассказывал, ну, тогда ясно, тогда понятно. Но ведь это я, автор, про него говорю. Почему же я, интеллигентный человек, окончивший университет, говоря про мужика, непременно должен выражаться его же мужицким языком. Ведь глупо. Как про мужика, так непременно распевная речь и все глаголы на конце. Почему не «Пахомычу навертывалась работа», а «Пахомычу работы навертывалось»? Почему для мужика глаголы нужны в конце фразы?

— Частица «цу» ставится на концу, — вдруг вспомнилась ему школьная выдумка.

С другой стороны, не подходит писать про мужика изысканным языком, так же, как не подошло бы писать про Клеопатру мужицким. «Многое Клеопатре того-сего сделать нужно было. То ли Цезаря красою своею пленить, платьишками новенькими распотешить, то ли о делах своих раскумекать».

Не годится.

— Когда есть настроение, все идет и все годится. «Вдохновитесь, вдохновитесь...» У-у, гадина! Все от нее пошло. Не хочу писать про Пахомыча. Не хочу и не могу.

Входная дверь стукнула.

Он живо вытащил из кармана стило и сделал вид, что чиркает что-то в рукописи.

* * *

Когда Цензов буркнул «я ухожу» и мрачно вышел из дому, Вера вздохнула: «И чего он бесится? Кажется, все для него делается! И дачу-то эту для него сняли, чтобы никто не мешал ему работать. Непонятный человек. Ужасный характер. Может быть, он писатель-то неважный, а ведет себя, как гений, настоящей свиньей».

Нужно было купить что-нибудь к обеду.

— Котька, ты где? Сиди, пожалуйста, тихо, я сейчас приду. На улицу без меня не выходи.

Спустилась по боковой улочке к базару. Какая красота, какая радость на всем! Все такое южное, яркое, как на картинках натюрморт. Вон баба продает морковку. Орет во все горло: «О, как она хороша, моя морковка!» И сама баба красная, рыжая, и видно, что орет не столько для того, чтобы товар продать, сколько просто от радости бытия, от того, что до горла наглоталась солнца, вольного ветра, ягодной плодовой яркости, густого духа очень горячей земли, и прямо нельзя не орать во всю свою силу:

— *Oh! Quelle est belle, ma carotte!*[1]

Возвращаясь с базара, Вера сама себе усмехалась. Поднялась выше на гору, оглянулась и ах! — где море, где небо — не разделишь, не различишь! Единая голубая бездна. А посредине плыло длинное белое облако, неслось быстро и, казалось, сознательно устремлялось вперед, вытянулось, вытянуло тонкую зыбкую руку, и длинная дымная одежда неслась и стлалась за ним.

— Как Дух Божий на картине Айвазовского «Сотворение мира».

Всплеснула руками. Так взволновалась, что чуть не заплакала, и побежала домой.

— Скорее, скорее рассказать...

Цензов сидел у стола и чиркал что-то в рукописи.

— Вася! Голубчик! — закричала она, задыхаясь. — Какая красота! Ах, отчего ты не видел! Понимаешь — как Бог Саваоф над хаосом. И все синее-синее, а Он белый и несется, несется. Нет, я не могу объяснить, ты не можешь понять.

---

[1] Ох! Как хороша, моя обманщица! (*Фр.*)

Он смотрел на нее тяжелым взглядом и, когда она договорила, сказал медленно и спокойно, как говорят только доведенные до бешенства люди:

— Да, я действительно не могу понять вас. Я не могу понять, как вы, видя, что я сижу и работаю, можете ворваться в комнату с какой-то вопиющей ерундой и оторвать меня от работы, и разбить мне настроение. Что у вас нет уважения к творческому труду, это я допускаю. Потому что вы не можете понять, что такое творчество. В этом вы не виноваты. Но вы могли бы бережнее относиться к моей работе, которая кормит вас. Это-то вы, наверное, отлично учитываете.

Договорил и сам выпучил глаза в ужасе (этакая получилась пакость!).

Она задохнулась, хотела что-то сказать, но треск, грохот и громкий визг, донесшийся из передней, остановили ее.

В передней на полу лежала сорвавшаяся со стены вешалка с тремя пальто, пледами и шарфами. Из-под груды тряпья вылезал громко ревущий Котька и тер кулаком лоб.

— Я тебе сколько раз говорила, скверный мальчишка, чтобы ты не смел безобразничать! Куда ты лез? Зачем свалил вешалку!

— Я... я стлоил повонную лодку... у-у... — ревел Котька.

— Не смейте истязать ребенка! — закричал из своей комнаты Цензов.

— Ах, так! — обозлилась Вера и, схватив Котьку за шиворот, шлепнула его и потащила в кухню. — Вот я тебя тут запру, и сиди, пока тебе мыши носа не отъедят.

Котька сидел на полу, смотрел в ужасе на черную отдушину под плитой (там, наверное, и живут мыши) и ревел во все горло. Он знал, что все его спасение именно в громком реве. Чем громче орать, тем скорее выпустят, потому что головы у них скорее разболятся.

А как чудесно строил он подводную лодку. Эта вешалка стоячая, с перилами и зеркалом наверху, была точно нарочно придумана для морского дела. Надо было только влезть наверх, зацепиться за крючки и начать грести руками, пока лодка не влезет в море. А море тут ведь близехонько. Он бы тогда и маму позвал с собой, и папу. Но теперь все кончено. Он никогда не позовет их больше, они ничего не поняли, они е-го шлеп-ну-ли-и-и-и!

И времени не стало

«Осталась последняя до утра».

Что это за фраза? Все время мысленно повторяю ее. Навязла. Надоела. Но это у меня часто бывает. Или фраза, или мотив. И мучит.

Открываю глаза.

Старуха на коленях растапливает печку. Щепки потрескивают.

И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать.

Сколько раз я это пела.

У моей кровати цветная занавеска собрана в сборку, просвечивают яркие пунцовые розаны.

Старуха в коричневой шали, в темном платке на голове, вся скорчилась, собралась в один комок, дует на щепки, гремит железом. В окошке, вижу, играет солнце на замерзшем стекле.

Только станет лучами с морозом играть…

Все, как в песне. А как дальше? Ах, да:

И кипит самовар на дубовом столе…

Да, вот и самовар кипит в углу на столе. Легкий пар идет из-под крышки. Кипит, поет.

Вдоль по лавочке ходит петушок. Подошел к окну, загнул головку бочком, заглянул и защелкал коготками. Пошел дальше.

А где же кот? Без кота мне не прожить. А вот он где, на столе за самоваром греется, жмурится. Толстый, рыжий.

Кто-то застучал в сенях. Обивает снег с валенок. Мягко топают валенки. Старуха тяжело поднялась, пошла вперевалку к дверям. Лица ее я не вижу, да ведь все равно, я же знаю ее…

Спрашиваю:

— Кто там пришел?

Отвечает:

— Да этот, как его...

Слышу разговор. Старуха говорит с порога:

— Что ж, можно будет зажарить.

И вот в руках у нее вниз головой огромная птица — черная, с толстыми красными бровями. Глухарь. Охотник принес.

Надо вставать.

У кровати мои белые валенки. Милые белые валенки. Давно-давно кинематографическая фирма Ханжонкова устраивала в Петербурге охоту для группы артистов, писателей и их друзей. Повезли нас в Тосно по белому, твердому снегу охотиться на лосей. Длинный обед с шампанским, весело. Рано утром на розвальнях покатили на опушку леса. Мне так нравились мои белые остроносые лыжные валенки. И помню свою белую шапочку. На снегу ни ног, ни головы видно не будет. Ни один зверь не признает меня за человека. Это я сама придумала такой охотничий трюк.

Какой-то распорядитель поставил нас на места. Запретили курить и разговаривать. Но мы решили, что немножко-то можно. Я стояла с писателем Федоровым. Слышно было «А-а-а...» — крик загонщиков. Потом выяснилось, что лоси подходили, посмотрели на нас через кусты и ушли. Мы им не понравились. Вместо лосей выскочили зайцы. Один как раз против меня. Бежал не быстро, а от куста к кусту, хитрил, не то удирал, не то прятался. И вдруг Федоров вскинул ружье и прицелился. Я крикнула: «Не сметь!» — раскинула руки и прыгнула перед дулом его ружья. Он заорал еще громче, что-то вроде «ду-у-у», вероятно, застрявшее в горле «дура». «Ведь я же мог уложить вас на месте!» Но не беда, что орал. На этой охоте главное дело было — спасти зайца. И белые, узенькие, ловкие валенки приплясывали на снегу.

Потом они у меня пропали. Их украл и пропил муж горничной, безработный пьяница. И вот теперь эти валенки опять со мной. Стоят так просто у постели. Я сунула в них ноги и пошла в чуланчик одеваться.

В чуланчике узенькое окошко, на стене зеркальце. Смотрюсь. Странная я какая-то. Лицо у меня, как на детской фо-

тографии. Право, точно мне четыре года. И улыбка лукавая, с ямочками. А волосы-то, волосы стриженые, с челочкой, светлые, шелковые, облегают голову. Вот такие были они, когда я гуляла с няней по Новинскому бульвару. И я хорошо знаю, какая я была. Когда мы спускались по парадной лестнице, на площадке в большом зеркале отражалась девочка в каракулевой шубке, белых гамашах и белом башлыке с золотым галуном. А когда девочка высоко подымала ногу, то видны были красные фланелевые штаны. Тогда все дети носили такие красные штаны. А за ее плечом отражалась такая же фигурка, только поменьше и пошире. Младшая сестра.

Помню, мы играли на бульваре, все такие маленькие девочки. Остановились как-то господин с дамой, смотрели на нас, улыбались.

— Мне нравится эта в чепчике, — сказала дама, указывая на меня.

Мне стало интересно, что я нравлюсь, и я сейчас же сделала круглые глаза и вытянула губы трубой — вот, мол, какая я чудесная. И те господин с дамой долго мне улыбались.

Там же на милом Новинском бульваре болтался большой мальчик лет восьми, нехороший, шалун и драчун. Аркаша. Он как-то залез с ногами на спинку скамейки, задрал нос, заважничал и высунул мне язык. А я стояла и не боялась его, большого, и громко дразнила:

— Аркаша — каша! Аркаша — каша!..

А он отвечал:

— А ты маленькая плевка.

А я не боялась и знала, что всегда буду высмеивать злых дураков, как бы высоко они ни залезали.

И была еще гордая минута первого торжества моего честолюбия. Все на том же бульваре. Мы проходим мимо нашего дома, и няня показывает на балкон. Там стоит толстая короткая фигура.

— Смотри, ишь, Эльвира Карловна вышла воздухом подышать.

Это наша бонна. Мы, маленькие, звали ее просто «баба», уж очень ее имя было для нас трудно. И вдруг я осмелела:

— Ирвиркарна! — закричала я. Не «баба», а как большая. — Ирвиркарна! — во весь свой звонкий голос, пусть все слышат, что я умею говорить, как большая. — Ирвиркарна!..

Я, значит, была честолюбивая. С годами это прошло. А жаль. Честолюбие — сильный двигатель. Сохрани я его, я бы, пожалуй, проорала что-нибудь на весь мир.

И как все чудесно было на этом бульваре. Всегда почему-то ранняя весна. Булькают подтаявшие канавки, точно льют воду из узкого флакончика, и вода пахнет так пьяно, что хочется смеяться и топать ногами, и мокрый песок блестит кристалликами, как мелкий сахар, так что хочется взять его потихоньку в рот и пожевать, и мои вязаные рукавички напитались воздухом. А сбоку, у дорожки, тонкий зеленый стебелек вылез и дрожит. А на небе облака кружатся барашками, как на картинке в моей книжке о девочке Дюймовочке. И воробьи суетятся, и дети кричат, и все это подмечается одновременно и безраздельно, все вместе, и выражается одним возгласом: «Не хочу домой!»

Вот тогда у меня и были эти светлые шелковые волосы. И теперь вдруг такие же. Странно. Нет, что же тут странного? В этом домике, где петушок ходит по лавочке, это так просто.

Ну, вот теперь надену шапочку — ту, что была на охоте — и побегу на лыжах.

Вышла на крылечко. Вот тут и лыжи стоят дыбом у стенки. Ни старухи, ни того охотника нет. Живо всунула ноги в ремешки, взяла палки, оттолкнулась и покатила по уклону.

Солнце, редкие сухие снежинки. Падает такая на рукав и не тает, а сдувается несмятым кристалликом. И как мне легко. Меня держит воздух, меня несет счастье. Я всегда знала и много раз говорила, что счастье — это не удача, не достижение, счастье — это просто чувство, ни на чем не основанное, ничем не объяснимое.

Вот, помню, было раннее утро. Всю ночь я простояла на коленях, растирая ногу тяжелобольного. Я вся застыла и дрожала от жалости и утомления, когда шла домой. И вот, проходя мост, остановилась. Город только что начал просыпаться. На набережной пусто. Только крючница, какую, кроме как в Париже, уж, наверное, нигде не увидишь, — молодая, ловкая, перетянутая красным кушачком, в розовых чулках — выуживала длинным прутом рваные тряпки из мусорных ящиков. Небо, еще без солнца, чуть-чуть розовело на

востоке, и легкая свинцовая дымка, точно растушеванный карандашный мазок на алой пропускной бумаге, обозначала место, откуда прорвутся лучи. Вода внизу не текла, как обычно ей полагается, а как-то крутилась плоскими воронками, словно все на одном месте. Вальсировала. И какой-то тихий звон радостно дрожал в воздухе, — может быть, звон моей усталости. Не знаю. Но вдруг чувство неизъяснимого счастья пронзило меня — чудесно, до боли в груди, до слез. И, шатаясь от усталости, смеясь и плача, я запела:

Где б ни скиталась я душистою весною...

За спиной шорох. Это охотник. Вот он рядом со мной. Мне знакомо его лицо, его фигура, движения. Наушники спущены, виден только профиль. Кто же это?

— Слушайте, — говорю, — ведь я вас знаю.

— Ну, конечно, — говорит он.

— Я только не могу точно припомнить.

— Да и не надо. На что это вам? Именно помнить-то и не надо...

— Постойте, — говорю я. — Что такое меня мучит? Какая-то фраза... «Осталась последняя до утра». Что это может быть? Что-то противное.

— Ну, не надо, не надо, — говорит он.

Я долго хворала, и у меня плохая память. Но помню — записала: хочу еще раз услышать увертюру «Лоэнгрин», поговорить с одним замечательным человеком и увидеть восход солнца. Но и «Лоэнгрин», и восход солнца были бы для меня теперь слишком сильны. Понимаете? А замечательный человек уехал. Ах, помню последний восход солнца, где-то во Франции. Заря заалела, наливается винным отливом. Сейчас взойдет солнце. Птицы волнуются, щебечут, кричат. Одна какая-то пичуга звонко, настойчиво повторяет по-французски: «Вит, вит, вит...»[1] Торопит солнце. Ждать надоело. Я ей отвечаю, в укор солнцу, конечно, тоже по-французски, раз птица — француженка: «Il n'est pas pressé»[2]. И вдруг выкатилось — круглое, желтое, точно запыхавшееся и сконфужен-

[1] Быстро (от *фр.* vite).

[2] Не стоит торопиться (*фр.*).

ное, что запоздало. И, главное, не там, где я его ждала и наметила, а гораздо левее. Вылетели мошки, птицы замолчали и пустились на охоту.

Ужасно забавна поэтическая выдумка о том, что птички встречают восторженным гимном восход царственного светила. Это вообще беспокойный, болтливый народ. С какой суетней просыпаются, с такой и укладываются спать, и тут уж гимна светилу не придумаешь. Помню, в Варшаве, на какой-то площади, было такое воробьиное дерево. По вечерам собиралась публика смотреть, как воробьи укладываются спать. Они налетали стаями и крик и хлопотню поднимали на всю площадь. По интонации их щебета можно было понять, что здесь и перебранка, и ссоры, и потасовка, и просто бестолковая болтовня. И наконец все успокаивалось и воробьи размещались на ночь.

Впрочем, напрасно я упрекнула птиц в болтливости. Каждой птице отпущена от природы одна звуковая фраза: «кукареку», или «чивик квик», или просто «ку-ку». И вот извольте этим несложным звуком добиться, чтоб вас поняли. Сколько времени приходится долбить. Представьте себе, что нам, людям, тоже, судя по породе, была бы отпущена только одна фраза. Одни говорили бы: «Чуден Днепр при тихой погоде». Другие: «Который час? Который час?» Третьи: «Угол падения равен углу отражения». И вот попробуйте при помощи одной такой фразы восторгаться «Сикстинской Мадонной», говорить о братстве народов и просить денег взаймы. Впрочем, может быть, все это именно так у нас и происходит, только мы не отдаем себе в этом отчета.

Ах, восходы, восходы. Какие они бывают разнообразные, и как я их всякие люблю. Помню один. Я его долго ждала, почему-то ужасно томилась. И на востоке была сизая полоска или легкий облачный туман. Я, как древний гимиар, солнцепоклонник, вздымала руки и заклинала:

Солнце, бог наш! О, где ты? О, где ты?
Мы твоими цветами одеты.
Наши руки к лазури воздеты.
Мы зовем, мы взываем, мы ждем...

И вдруг зазвенел в свинцовом тумане оранжевый уголек, раскалился, вздулся, и, злобный, медно-рдяный, медленно

поднялся лик, пламенеющий яростью, дрожа и ненавидя. Вот какой бывает восход...

И был еще один, очень забавный.

В сизой точке вдруг проткнулась круглая дырочка. Совсем, словно глазок в театральном занавесе, через который актеры смотрят, набралось ли достаточно публики. В этот небесный глазок заглянул желтый горячий глаз и спрятался. И через секунду, словно решив — пора! — выскочило солнце. И это вышло очень забавно.

А закат всегда печальный. Пышный бывает, роскошный, как насыщенный жизнью ассирийский царь, но всегда печальный, всегда торжественный. Смерть дня.

Все, говорят, в природе мудро: и павлиний хвост работает на продолжение рода, и красота цветов прельщает пчел для опыления. На какую же мудрую пользу работает печальная красота заката? Зря природа потратилась.

Охотник опять рядом со мной.

— А где же ваше ружье?

— Здесь ружье.

И правда, вижу ружье за его спиной.

— А собака?

— Вот собака.

И собака выбежала откуда-то сбоку. Все, как по заказу.

Надо что-нибудь сказать охотнику.

— Вам нравится мой домик? Знаете, когда стемнеет, мы зажигаем лампу.

— Няня зажигает? — спросил он.

— Няня? Ах, да, ведь старуха — это няня, — вспоминаю я.

Няня... Она умерла в богадельне. Старенькая была. Когда я ее навещала, она спрашивала:

— А какие это такие мнуки бывают? Все ко мне какие-то деревенские приходят и говорят: «А мы, бабушка, твои мнуки».

Я объяснила:

— А это дети вашей дочки Малаши.

Эта Малаша была у нас горничной, когда я была ребенком.

Помню до странности ясно. На подоконнике рассыпаны иголки, и я глажу их руками. Они мне страшно нравятся. И кто-то говорит:

— Люля рассыпала иголки.

Я слышу, но не понимаю, что Люля — это я. Потом меня поднимают, я трогаю пухлое плечо, туго обтянутое розовым ситцем. Это, знаю, Малаша. А иголки и все острое, блестящее полюбила на всю жизнь. Может быть, тогда и полюбила, когда еще не понимала, что Люля — это я. Мы говорили о няне. Старенькая была. Вот теперь она в домике. Вечером зажигает лампу, окошечко с улицы светится оранжевым, и приходит из лесу лиса. Подойдет к окошечку и поет. Вы небось никогда не слышали, как лиса поет? Это прямо замечательно. Конечно, не Патти и не Шаляпин, но много интереснее. Ласково поет, фальшиво, прямо завораживает, и тихонько-тихонько, а слышно. А петушок стоит с той стороны на лавочке, гребешок на свету просвечивает малиновым золотом. Стоит в профиль и виду не подает, что слушает. А лиса поет:

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Чесана бородка,
Масляна головка,
Выгляни в окошко.

А он застучит коготками об лавочку и пошел прочь. Вам бы хоть раз послушать, как лиса поет.

— Ночью поет, — говорит охотник, — а вы ведь ночь не любите.

— Откуда вы знаете? А вы меня, вообще, давно знаете? Почему я как-то плохо помню вас, а вместе с тем, уверена, что хорошо вас знаю?

— Не все ли равно, — отвечает он. — Считайте, что я просто собирательное лицо из вашей прошлой жизни.

— Но если вы — собирательное лицо, то почему же вы охотник?

— Потому что все девочки вашего поколения были влюблены в гамсуновского лейтенанта Глана. И потом всю жизнь во всех искали этого Глана. Искали мужество, че-

стность, гордость, верность, глубокую, но сдерживаемую страсть. Ведь искали? Отрицать не можете.

— Подождите. Вы говорили, что я не люблю ночь. Это правда. Почему? Не все ли равно. Тютчев объяснил — вероятно, так оно и есть. А какая тоска от звезд. «Звезды говорят о вечности». Это-то и есть ужас. Считается, что если страдающий человек посмотрит на звезды, говорящие о вечности, то сейчас же почувствует себя ничтожеством и успокоится. Вот чего я совсем не понимаю. Почему обиженному жизнью человеку приятно его окончательное унижение — почувствовать себя ничтожным? Кроме горя, тоски и отчаяния, получай еще последнее — плевок от вечности. Ты тля. Утешайся и радуйся, что хоть такое поганое местишко, а все-таки на свете ты занимаешь. Мы смотрим на звездное небо, как мышка через щелку на пышный бальный зал. Музыка, огни, сверкающие видения. Странные ритмические движения кругами, сходящимися, расходящимися, двинутыми неведомой причиной для непостижимой цели. Красиво и страшно, очень, очень страшно. Можно, пожалуй, сосчитать, сколько кругов сделает то или другое сверкающее видение, но смысла его понять нельзя, и это страшно. То, чего мы не понимаем, всегда чувствуется нами, как враждебное, как бессмысленная и жестокая сила. Мышка, хорошо, что «они» нас не видят, что в «их» роскошной, страшной и торжественной жизни мы никакой роли не играем. А вы заметили, что люди не смеют громко разговаривать, когда смотрят на звездное небо?

— А все-таки звезды говорят о вечности, — сказал охотник.

— Вечность! Вечность! Какой это ужас! Какое ужасное слово «всегда». И такое же с тою же вечностью «никогда». Но мы почему-то больше боимся слова «никогда», хотя оно ровно то же, что и «всегда». Может быть, оттого, что в нем есть отрицательная частичка, каждому человеку, как запрещающая, ненавистная. Но довольно об этом говорить, а то я затоскую. Вот мы как-то говорили о том, как невозможно представить себе бесконечность. А был с нами один мальчишка, так он сразу решил: «Очень, говорит, просто. Вот представьте себе комнату, а за ней еще одну, и потом еще пятую, десятую, двадцатую, сотую, миллионную, и еще, и

еще… Ну, надоест и плюнешь, и ну их всех к черту. Вот это и есть бесконечность».

— Какая у вас все путаница, — покачал головой охотник. — И вечность, и звездное отчаяние, и лиса поет, и мальчишка болтает.

— А по-моему, все так ясно. И мне хочется говорить без логики, без последовательности, как сложится. Вот как бывает после морфия.

— Именно после морфия, — сказал охотник. — Ведь и домика вашего никогда не было. Вы просто любили его рисовать.

— Слушайте, я устала, я больна — не все ли равно? Ведь мы вообще всю жизнь выдумываем. Разве мы людей не выдумываем? Разве они в действительности все такие, какими нам представляются, или, вернее, мы себе представляем? Вот был у меня когда-то сон. Я пришла в дом к человеку, которого любила. И там встретили меня его мать и сестра, очень холодно встретили и все повторяли, что он занят, и не пускали меня к нему. И я решила уйти. И, уходя, увидела себя в зеркале и застонала. У меня оказалось толстое, затекшее лицо, крошечные косые глазки, а на голове шляпка со стеклярусом, как носили у нас когда-то старые мещанки, на плечах бурая пелеринка, на короткой шее гарусный замызганный шарфик.

— Боже мой! Отчего же я такая?

И тут же поняла. В этом доме меня видят такой. И теперь я знаю: не найдется двух людей на свете, которые видели бы третьего одинаково.

— Вы большое значение придавали снам, — сказал охотник.

— О, да. Сны — это та же жизнь. Вот я видела и пережила много красивого, чудесного, замечательного и не все же удержала в памяти, и не все вошло необходимым слагаемым в душу, как два-три сна, без которых я была бы не та. А тот поразительный сон, виденный мной, когда мне было лет восемнадцать. Разве могла я его забыть? В нем как бы была предсказана вся моя жизнь. Снился мне ряд комнат, пустых, темных. Я все отворяла двери, проходила комнату за комнатой, искала выхода. Где-то заплакал ребенок и затих вдали. Его унесли. А я все иду, тоскую, и вот наконец

последняя дверь. Огромная, тяжелая. Со страшным трудом, наваливаясь всем телом, отворяю ее. Наконец, я на воле. Передо мной бесконечная равнина, тоскливо освещенная туманной луной. Луна такая бледная, какою мы видим ее только днем. Но вот в мутной дали что-то поблескивает, движется. Я рада. Я не одна. Кто-то едет ко мне. Я слышу тяжелый конский топот. Наконец-то. Топот ближе, и огромная белая костлявая кляча, гремя костяком, подвозит ко мне белый, сверкающий парчою гроб. Подвезла и остановилась... Ведь этот сон — это вся моя жизнь. Можно забыть самый яркий эпизод, самый замечательный поворот судьбы, а такого сна не забудешь. Я и не забыла. Если химически разложить мою душу, то кристаллики моих снов найдутся в анализе как необходимый элемент ее сущности. И сны многое, многое открывают.

— А домик ваш хорош, — прерывает он. — И хорошо, что вы до него добрались.

— Знаете, — говорю я, — у меня сегодня волосы такие же, как были в четыре года. И снег сегодня такой, как тогда. Я любила положить голову на подоконник, лицом вверх, и смотреть, как падает снег. Ничто на свете не дает такого покоя и тишины, как падающий снег. Может быть, оттого, что всякое падение сопровождается шумом, стуком, грохотом, и только снег, эта почти сплошная белая масса, падает беззвучно. И дает чувство спокойной, глухой тишины. И теперь часто во время душевной тревоги представляю себе этот падающий тихий-тихий снег. И всегда одна снежинка вдруг словно опомнится и кинется назад, вверх зигзагами, пробирается через толпу покорно падающих опять к небу.

Охотник долго молчал, потом сказал:

— Вы говорили когда-то, что из ужаса жизни ведут пять дверей: религия, наука, искусство, любовь и смерть.

— Да, кажется, говорила. А знаете ли вы, что существует страшная сила, победить которую могли только святые и исступленные фанатики. Сила эта закрывает от человека все двери. Человек восстает на Бога, презирает бессильную науку, охладевает к искусству, забывает свою любовь, и смерть, это вечное пугало, является желанной и благостной. Сила эта — боль. Палачи всего мира и всех веков знали это. Страх

смерти преодолевается разумом и верой. Страх боли побеждали только святые и фанатики.

— А вы чем преодолели страх смерти? Разумом или верой? — странно усмехнувшись, спросил он.

— Я? Моей теорией мировой души. Душа одна, общая для всех людей, животных и вообще всякой твари. Только возможность осознать ее и, главное, внешне выразить, различна, в силу физического строения данной твари. Собака совершенно так же различает добро и зло, как и человек, но выразить и, конечно, высказать этого не может. Кто внимательно наблюдал жизнь животных, тот знает, что и моральный закон заложен в них так же, как и в человеке. Вот мне вспомнился сейчас зайчик, маленький, глупый лесной зверек. Его поймали, и он быстро приручился. Все время вертелся около хозяев, и, если те ссорились, он страшно волновался. Он бегал от одного к другому и не находил себе покоя, пока те не помирятся. Заяц любил своих друзей и хотел для них мирной жизни. Именно для них, потому что сам-то он от их ссоры никакого убытка не терпел. Чужая, посторонняя злоба дикого лесного зверька мучила. Он был носителем мировой души. Вот такое мое чувство души, а следовательно, и смерти. Возврат в единое. Таково мое озарение. Ведь это не математика, доказать здесь ничего нельзя. Для одних было озарением переселение душ, для других — загробная жизнь с искуплением грехов, вечными муками раскаяния, для третьих, вот как для моей старой няньки, — черти с крючьями. А мое вот такое. И еще могу вам рассказать об озарении. Расскажу вам легенду. Слушайте. Было одной женщине сонное видение: будто стоит она на коленях и протягивает руки и душу к человеку, которого любила и которого уже нет. Жила она тогда во Флоренции, и, вероятно, под впечатлением Благовещенья Симоне Мартини, воздух этого сна был прозрачно золотой, пронизанный, как бы прорезанный золотыми лучами. И в этом небывалом золотом свете и блаженной напряженности любви был тот экстаз, которого человек больше одного мгновения вынести не может. Но времени не было и мгновение это чувствовалось как вечность. Оно и было вечностью, потому что времени не стало. Помните, в Апокалипсисе: «...И Ангел поднял руку свою к небу и клялся живущим вовеки, что времени уже не будет». И тогда

поняла она, эта женщина, что вот такая и есть смерть: что-то крошечное, неделимое, как точка, мгновение, когда останавливается сердце и прекращается дыхание, и чей-то голос говорит: «Вот он умер» — это и есть вечность. А все надуманное загробное бытие с терзаниями совести, раскаянием и прочими муками — все это получаем мы еще при жизни. В вечности этой мелкой дребедени делать нечего. Слушайте, охотник, когда я буду умирать, я скажу Богу: «Господи! Пошли лучших Твоих ангелов взять душу мою, от духа Твоего рожденную, душу темную, грешную, на Тебя восстававшую, всегда в тоске искавшую и не находившую...»

— Не нашедшую, — поправил охотник.

— Не нашедшую... — повторила я. — «И благослови, Господи, тело мое, по воле Твоей созданное, глаза мои, что смотрели и не видели, и губы, от песен и смеха побледневшие, и благослови лоно мое, плод любви приявшее, все по воле Твоей, и ноги мои...»

— Столько, о, столько целованные, — перебил охотник.

— Нет, я так не скажу. Я скажу просто: «Благослови, Господи, тело мое и отпусти в бессмертие земли Твоей. Аминь». Вот так скажу я.

— Да ведь вы же уже сказали! — громко закричал он. — Вы уже сказали!

— Сказала. Но ведь я еще не умираю.

* * *

Мои лыжи остановились. Я взглянула на свои ноги. Белых валенок на мне больше не было. Были высокие, до колен зашнурованные, желтые кожаные башмаки. Очень знакомые. Я в них ездила на фронт во время войны. Мне стало странно тревожно.

— Я не понимаю, — сказала я.

Охотник молчал и вдруг чуть-чуть согнулся, напряженным движением всего тела двинул лыжи и быстро скользнул вперед. Здесь уклон. Вот он взлетел на горку и скрылся. Вот далеко мелькнул на новом подъеме.

— А-а-а! — закричала я. — Вернитесь! Я не хочу быть одна!

Как его зовут. Как его позвать. Я не знаю. Но мне невыносимо страшно одной.

— А-а-а-а! Я боюсь...

Но, кажется, это неправда. Я не боюсь. Привыкла думать, что одной страшно. Я вернусь в свой домик. У меня есть на чем утвердить жизнь. У меня есть домик, который я нарисовала... Только холодно мне. Холодно.

— Вернитесь! А-а-а-а-а...

— Я здесь, я здесь, — говорит голос около меня. — Не кричите. Я здесь.

Я оборачиваюсь. Никого нет. Все белое-белое кругом. Лежит тяжелый снег. Уже не тот легкий, счастливый. Тихо позванивают, позвякивают тонкие стеклышки. Острая боль укола в бок. У самых глаз складки толстого передника с двумя карманами. Сиделка.

— Ну вот, — говорит голос, — последняя ампула. Теперь до утра.

Теплые пальцы обхватывают мою руку, сжимают. Чей-то голос говорит далеко-далеко:

— Боже мой. Да ведь у нее нет пульса...

У нее. Кто это «она»? Я не знаю. Может быть, та маленькая, с шелковыми волосами, которая не понимала, что Люля — это она.

Как ти-и-хо.

Воля твоя

1

Гости собирались медленно. Был уже одиннадцатый час, и хозяйка начинала нервничать.

— Ужасная эта наша манера. Один придет после театра, прямо к ужину, а другой засядет с девяти и вымотает тебе всю душу, — говорила она, не отдавая себе отчета, что получается не совсем любезно по отношению к тем, которые именно засели с девяти.

Но это были старые друзья, с которыми нечего особенно церемониться, — три соратницы по бриджу, доктор Памузов, две молодые актрисы и жеманный отрок с прилизан-

ными белокурыми волосиками и острой мордочкой, до того похожий на мышку-альбиноску, что даже удивляло, почему у него глаза не красного цвета.

Разговор плелся вялый, очередной интересной сплетни не навертывалось.

— А будет у вас сегодня эта Анна Броун? — спросила одна из дам.

— Право, не знаю, она забегала в четверг, — отвечала хозяйка. — У нее, по-моему, тут не совсем в порядке.

Она постучала себя пальцем по лбу.

— Можно быть рассеянной, но не до такой же степени. А то уж прямо анекдот. Сидела, сидела, вдруг вскочила, уставилась глазами в стенной календарь, — мне, говорит, пора, пора. Чего вы, говорю, торопитесь? Нет, говорит, мне давно пора, вон уже шестое четверга. Господи, думаю, что она такое плетет? А она потерла себе висок, поморгала. Простите, говорит, мне показалось, что это часы.

— Ну что за ерунда! — всколыхнулись дамы.

— Ну-ну, — покачал головой доктор Памузов. — Это уже клинический случай.

— А по-моему, ваша Броун просто дура и ломается, — громко отчеканила одна из дам, отличавшаяся от других огромной круглой брошкой, подпиравшей ей третий подбородок.

— Конечно, ломается, — хором подтвердили другие. — Вся изломанная. И почему она Броун, когда всем известно, что она просто Брунова?

— Ну, это эстрадный псевдоним, — заступилась хозяйка. — Это уж так принято.

— Важен не псевдоним, а талант.

— Вот именно талант. А его-то у нее и нет.

— Конечно, нет. Ее создал Гербель.

— Таких пианисток, как она, сотни и тысячи.

— Если бы Гербель не написал о ней такой блестящей статьи...

— А по-моему, — покрывая все голоса, прогудела дама с брошкой, — по-моему, ваша Броун просто дура и ло...

Она вдруг осеклась на полуслове и выкатила глаза, глядя в ужасе куда-то над головой хозяйки. Все оглянулись. Высо-

кая смуглая дама стояла и, светски улыбаясь, нагнулась вперед, протягивая руку.

— Здравствуйте, дорогая.

Это была Анна Броун.

— Дорогая! Дорогая! — неестественно засуетилась хозяйка. — До чего я рада. Как это мило!

И все приветливо всколыхнулись, исподтишка испуганно спрашивая друг друга глазами: «Слышала или не слышала?»

Доктор Памузов не вытерпел и затрясся смехом.

— Простите, вспомнил один анекдот. Ох, не могу! Потом расскажу. Уж очень смешно!

И он снова трясся, фыркал, кашлял и вытирал глаза. И все сразу заговорили, перебивая друг друга.

— А мы думали, что вы уехали.

— Теперь ведь концертов нет.

— Ну, конечно. Мертвый сезон.

— Но, может быть, ученицы задерживают?

— Ну что вы! Наверное, и ученицы все разъехались.

Получалось что-то совершенно нелепое. Все будто расспрашивали Анну Броун и тут же за нее и отвечали. А она спокойно стояла и слушала, точно и не о ней идет речь.

— Дорогая, дорогая! — волновалась хозяйка, бросая негодующие взгляды на трясущегося доктора. — У вас утомленный вид.

— Да, у меня все голова болит и как-то холодно.

— Холодно? В такую жару? Судя по газетам, было несколько случаев солнечного удара.

— Солнечного удара? — вдруг удивилась Анна Броун. — Как странно! Зимою и вдруг солнечный удар.

— Почему «зимою»? Сейчас, в июне, а не зимою.

Анна Броун нахмурилась.

— Ах, да, конечно. Сейчас июнь. Я все спутала.

Подошли новые гости, и хозяйка кинулась их встречать.

Вечер оживлялся. Расставляли карточные столики. Две горничные, обе длинноносые, с белыми наколками, разносили чай и печенье.

Молодой человек, похожий на мышь-альбиноску, подошел с двумя актрисами к роялю и, тихо перебирая клавиши, что-то томно замурлыкал.

Анна Броун круто повернулась и, сжав виски обеими руками, громко сказала:

— Господи! Только не музыку!

Но те не слышали и продолжали мурлыкать.

Анна стала тихонько пробираться к выходу.

Подходили еще новые гости, но знакомых как будто не было. Или, может быть, она не узнавала их. И вот какая-то женская фигура остановила ее внимание. Что-то в ней ужасно беспокойное и неприятное. Первое, что заметила Анна, было нарядное красивое платье, криво застегнутое на груди — на одну пуговицу две петли. Потом — плохо причесанные волосы. А лицо — лица точно не было. Было только невыносимо напряженное выражение неприятных темных глаз и большого усталого рта.

— Господи! Что в ней такое?

Анна подвинулась ближе. Подвинулась и та — ей навстречу. Ну, да. Это была она. Не отражение в большом зеркале.

— Вот до чего можно дойти!

В передней, обставленной, как маленькая гостиная, дверь на лестницу была полуоткрыта. На площадке курили какие-то кавалеры.

— Идти домой? — громко спросила Анна, покачала головой и огляделась. У выходных дверей стояла кадка с экзотическим растением. Растение было чахлое, но кадка большая, и за ней уютно пряталось низенькое кресло.

— Вот здесь будет отлично.

Она села, подтянула к себе толстую плюшевую портьеру, висящую у окна.

— Отлично. Теперь можно будет думать.

Домой идти нельзя. Вчера вечером, подойдя к дому, она так испугалась, что села на тумбу и просидела — не помнит, сколько времени. Возвращаться домой иногда очень страшно. Две ночи тому назад пришла старшая сестра, села на кровать и сказала ласково: «Ну, чего ты так убиваешься? Ведь ты себя совсем изведешь». Эта сестра, умершая уже четыре года тому назад, никогда ее не любила, и было так странно, что она вдруг заговорила ласково. Была бы жива, только бы осудила. Но сама Анна знает, что осуждать тут нечего. Она права. И все, что она сделала, было глубоко продумано. Если бы она не ушла, он бы сам ушел, и было бы еще больнее.

Она только ускорила событие, ограничила его своей волей. Это великое дело — ограничить своей волей. И почти никто этого не знает. Вот ей рассказывали про одного арестанта. Его камера была в шесть шагов длины. И каждый раз, доходя до стены, он хотел размозжить себе голову, так мучил его этот данный ему предел. Шесть шагов, и кончено. Тогда он решил делать только четыре шага. Ограничил своей волей и почувствовал себя свободным. Эти четыре шага — это моя воля. А ваших шести не желаю. Какова была бы ее жизнь, если бы она сохранила эти шесть шагов их отношений? Ждала бы, выслеживала, примечала. Позвонит или не позвонит. Зайдет или не зайдет. Пришлет билет в концерт или не пришлет. Позовет или не позовет. Но главная мука — приметы. О чем, например, заговорит, после того как задумался. Четыре раза было так, что задумается, очнется и скажет что-нибудь о Зарницкой. Он пишет о ней статью. Голос у нее действительно хороший, но почему над этим задумываться? Говорили, что он создал пианистку Анну Броун. Он написал о ней потрясающую статью. Но я-то теперь знаю, что не чисто художественный восторг вдохновил его на эту статью. Кто же заставит меня верить в чистоту его восторга перед талантом этой певицы? Ну, да это все равно. Не в ней дело. Каждое увлечение, как брошенный к небу камень, достигает своей законной высоты и падает на землю. И чем напряженнее сила, толкнувшая его, тем тяжелее он падает. Я не стала ждать этого падения. Я не хотела, чтобы он, падая, убил меня, и ограничила этот взлет своей волей. Я ничего не знала, я только предчувствовала, и с меня было уже довольно. Дело в том, что все мы живем в двух планах! Один план — это наша бесхитростная реальная жизнь. Другой — весь из предчувствий, из впечатлений, из необъяснимых и непреодолимых симпатий и антипатий. Из снов. У этой второй жизни свои законы, своя логика, в которых мы неответственны. Вынесенные на свет разума, они удивляют и пугают, но преодолеть их мы не можем. Вот иногда судят человека, проведшего добрую и честную жизнь, и не могут докопаться, что именно толкнуло его на преступление. И он плетет всякую ерунду, выгораживая себя, потому что страшные законы второго плана его жизни в жизни реальной необъяснимы и потому и неприемлемы.

Она вдруг отчетливо представила себе тот последний вечер. Он сам позвал, и она пришла искусственно подвинченная, лживая, веселая, яркая. Он честолюбив — она наговорила ему столько лестного, передала всякие чудесные отзывы о его статьях, приукрашая, привирая, назвала несуществующих завистников и остроумно их высмеяла. Рассказала о письмах и цветах, которые посылает ей редактор журнала, где работал Гербель. И ему льстило, что она отвергает ради него такого интересного и полезного поклонника. Он улыбался самодовольно и кокетливо и поглаживал себя по голове. Потом встал, обнял Анну, посадил ее на диван и опустился перед ней на колени. Обычный ритуал их любовных вечеров. И когда она подумала ту фразу об обычном ритуале, сразу поняла: «Пора. Довольно. Вот теперь, когда он весь мой, ограничу нашу близость своей волей». Он обнимал ее ноги, зарываясь лицом в ее колени, и она сразу резким движением, двумя руками оттолкнула его. Он поднял голову, растерянно взглянул на нее. И это лицо, с раздутыми ноздрями, со взбухшей поперек лба темной жилкой, ныло испуганно и жалко. И немножко противно.

Она поднялась, поправила волосы и сказала так просто и естественно, что сама поверила своему голосу:

— Ну, довольно. Неужели нам все это еще не надоело? Удивляюсь!

Она, не торопясь, вышла из комнаты, приостановилась в дверях и сказала, не оборачиваясь:

— Я, может быть, на днях позвоню вам.

Он не провожал ее и ничего не ответил. С тех пор они не встречались.

Все удалось отлично. И то, что лицо его показалось противным, было как нельзя более кстати. Это облегчало ее задачу. Плохо только одно: придя домой, торжествующая, посмеивающаяся, она, все-таки, как-то невольно прислушивалась, не позвонит ли телефон. И так же было беспокойно на следующий день. И еще хуже дальше. Вся беда в том, что оставалась надежда. Надо было сделать так, чтобы надеяться было невозможно.

Ее улица тихая, но каждый проезжающий автомобиль казался автомобилем Гербеля. Каждый телефонный звонок

мог быть его звонком. Она перестала ходить в концерты. Она боялась бывать у знакомых, чтобы случайно не услышать его имени.

Потом появилась эта навязчивая мысль о ключе. У нее остался ключ от его квартиры. Она пользовалась им, чтобы не будить лакея, когда приходила поздно.

Как быть с ключом? Вернуть по почте? Передать через швейцара? Все это было не то. Почему не то? Очевидно, потому, что это ставило какую-то уже совсем определенную точку. Конец. Если ей этой точки не хочется, значит, она на что-то надеется. Пока есть надежда, она не успокоится. Надо, чтобы надежды не было. Даже если она вернет ключ по почте или через швейцара — все равно, ей не будет спокойно. Все равно, она будет чего-то ждать, на что-то безобразно надеяться. Если бы он навсегда уехал или, еще проще, умер, тогда она была бы спокойна.

Вот можно было бы сейчас тихонько выйти на лестницу — никто бы не заметил, и дверь осталась бы, как сейчас, чуть приотворенная, но не защелкнутая. Перейти улицу. Так. Улица пустая. Но у его ворот, наверное, сидит дворник. Он не увидит. Он закутался в тулуп, воротник поднят выше головы, идет снег, шагов не слышно. Он заснул... Ах, да, они говорят, что сейчас лето. Все равно, дворники и летом в тулупах — им ночью всегда холодно. Как я скоро прошла весь переулок, завернула за угол. Налево Нева, туда смотреть не надо. Белой ночью Нева такая грустная, тихая, такая безнадежная, что вся сила души погаснет. А сила нужна. Надо приготовить ключ заранее, а то он непременно упадет и зазвенит. А вдруг его нет дома? Это совсем невозможно. Раз я решила идти, значит, он дома. Он спит.

Ну, вот. В квартире темно. Знакомый запах, такой всегда беспокойный. Папиросный дым, одеколон. Не в этом дело. Тот же дым и тот же одеколон в другой квартире будут совершенно другими. Там все просто, здесь всегда все тревожно. Вот спальня. Портьеры задернуты, но свет сквозит между складок. Разглядеть бы — висит еще мой портрет, или он его снял. Не стоит глядеть. Мне безразлично. Я не проверять пришла, а ограничить все своей волей. Здесь, на столике, должно стоять синее блюдечко от

моей чашки. Он почему-то любил его и сохранил, когда я чашку разбила. На нем запонки. Не надо думать об этом блюдечке. В нем какая-то противная нежность. На постель смотреть нельзя. Надо скорее подойти к туалетному столу и нащупать холодненький, длинненький, плоский предмет. И осторожно вытянуть лезвие. Теперь уже все просто. Это делают в перчатках, значит, на мне перчатки. Я быстро подхожу к кровати. Надо нащупать лицо. Нет. Свет как раз падает на подушку. Голова откинута. Это все так просто. Одно движение, одно мгновение. Ключ? Ключ брошу на стол в передней. Дворник спит, густой снег покрыл его плечи. Он ничего не слышал. И снег засыплет мои следы. И вот я вернулась и снова сижу на своем месте, за кадкой с чахлым растением. Но до чего я устала, и как меня всю трясет!

Какие-то оживленные возгласы.

— Ужинать! Ужинать!

Кто-то радостно смотрит на нее.

— Вот вы куда запрятались, — говорит хозяйка, идемте скорее ужинать.

Анна встала, качнулась немножко в сторону. Все, весело переговариваясь, шли в столовую. И она со всеми.

— Садитесь, садитесь! Разрешите, хе-хе?

Все, как всегда. Всегда гости, подходя к накрытому столу, странно, по-звериному, оживляются, и каждому хочется что-то говорить — все равно, что.

— Ну, вот, хе-хе! М-да-м! Это чье же место? Позвольте. Хе-хе!

Среди всей этой любезной чепухи Анна спокойно остановилась около своего стула, рядом с доктором Памузовым.

— До чего вы бледная, — сказал тот и даже брови нахмурил. — Надо бы вам немножко того, полечиться.

Горничная подбежала к доктору:

— Вас просят к телефону.

Гости продолжали бестолково усаживаться. Доктор скоро вернулся.

— Господа! Господа! — громко сказал он. — Очень грустная новость. Очень, очень грустная. Зарезали нашего бедного Гербеля. Сейчас телефонировали из больницы. Аппендицит. Утром оперировали. Сам профессор Ивашов. Операция

прошла хорошо, а сердце не выдержало. Сегодня в пять часов скончался.

Анна отчетливо расслышала слова «зарезали Гербеля». Она стояла, держась обеими руками за спинку стула. И тут вышло что-то странное. Стол, лампа над ним — все вдруг поехало вправо. Она крепко уцепилась за стул и, так и не выпуская его из рук, упала навзничь.

2

Несмотря на спущенные жалюзи на окнах и балконной двери, в кабинете было жарко.

Обстановка именно такая, какая подобает серьезному врачу, директору санатории. Огромные книжные шкафы, в одном из них, за стеклянной стенкой, какие-то никелевые приборы. Письменный стол величиной с двуспальную кровать. На нем толстые тетради в твердых зеленых переплетах.

Доктор носатый, с волосами, так гладко припомаженными, что голова казалась облитой черным лаком. Глаза маленькие, острые, неприятные. Он привстал и подал Анне руку. На столе перед ним лежало письмо Памузова — Анна передала его утром через сиделку.

— Садитесь, — не предложил, а приказал доктор. — Вот на этот стул, лицом к свету. Ваше имя?

— Анна Брунова.

— Как?

— Брунова. Броун. Все равно. И вы же знаете, чего же вы спрашиваете?

— Спрашиваю, чтобы слышать, как вы ответите. Возраст! Сколько вам лет?

— Тридцать пять.

— Это значит сорок?

— Нет, это значит тридцать восемь.

— Отложите карандаш в сторону и не вертите ничего в руках. Вы отвлекаете мое внимание. Почему вы сказали тридцать пять?

— Так, по привычке.

— Ага! Это отлично. Эта привычка указывает на желание казаться моложе, то есть лучше, на желание преуспеть в жиз-

ни. Желание нормальное, здоровое. Теперь вы понимаете, почему мы заставляем пациентов отвечать? Держите руки спокойно. Какое сегодня число?

— Двадцать восьмое... нет, двадцать девятое. Не помню. Знаете, доктор, этот старый прием очень глуп. Ни один нормальный человек не ответит вам сразу. Именно нормальный человек сначала удивится неуместности такого вопроса, а потом уж сообразит, для чего вам это нужно, и ответит.

— Не беспокойтесь, — усмехнулся доктор. — Все это учтено. На что вы жалуетесь? Спите хорошо? У вас, конечно, был сильный нервный шок, от которого вам надо оправиться.

— Шок? Ровно никакого. Это вам, наверное, доктор Памузов высказал свои умозаключения. Просто я хворала, и мне нужно отдохнуть, вот он и послал меня сюда.

— Отчего у вас обстрижены волосы? Или вы всегда так причесывались?

— Был жар, волосы свалялись. Потом трудно было расчесать. И падали. Господи! Да какое вам до этого дело? Я здорова и хочу отдохнуть, и больше ровно ничего.

— Степень вашего здоровья буду определять я, а не вы.

— Я ужасно устала! Я ужасно устала! — проговорила Анна и с трудом остановилась, ей захотелось повторять эту фразу долго, бесконечно, всю жизнь.

Он посмотрел на нее внимательно и вдруг сказал просто и ласково:

— Да, я понимаю, голубчик. Вас дорога утомила и эта жара. Сегодня ужасно душно. Будет гроза. Все мои больные сегодня нервничают. Пойдите, отдохните как следует, не ходите по солнцу, и на пляж вам не следует. Это потом успеете. Пойдите, голубчик, полежите. У вас хорошая комната?

— Хорошая.

— Ну, вот и отлично. Если что нужно, не стесняйтесь, все будет сделано.

Да, комната была хорошая. В третьем этаже. Окно выходило прямо на дерево, почти на верхушку его, густолиственную, темную.

— Что это за дерево? — спросила она горничную.

— Не знаю. Кажется, ихняя рябина, не то акация. На Кавказе ведь все не по-нашенски. Только вы окно не открывайте — с ей букашки сыплются.

— Живу, как дриада, прямо в дереве, — думала Анна. — Но как же его зовут, это дерево! Ему подходит имя Розалинда. Милая Розалинда, новая моя подруга. Как-то нам проживется вместе с тобой?

Ночью было душно, открыла окно, и действительно, посыпались в комнату какие-то жучки. Пришлось закрыть.

Спала эту ночь лучше, чем дома, но понимала, что это только пока еще не привыкла, пока думы еще подогнали ее.

Утром рано раскрыла окно. Ветка Розалинды всунулись прямо в комнату. Анна схватила эту ветку, как шершавую мохнатую лапу, и пожала ее.

— Здравствуй, Розалинда. У тебя теплая лапа. Будем жить вместе.

День был невыносимо душный. В комнате оставаться было трудно. Анна вышла на улицу и пошла к базарной площади.

Базар уже кончился. Пустые ларьки с остатками гнилых слив и мандаринов. Банановые шкурки под ногами и запах горячей пыли, хрустящей на зубах, как мелкий сахар. Посреди площади столпилась кучка народу. Стоят кружком, хохочут. Анна подошла. В центре круга, медленно переваливаясь, ходила медведица, грязная, бурая, обшарпанная, как старый половик для вытирания сапог. У медведицы в носу кольцо, защепленное цепью. Поводырь, огромный, черноносый, со щеками, покрытыми бурой, как у медведицы, шерстью, дергал цепь, приговаривая:

— А ну-ка, Шура Ивановна, покажи, как барыни в парке гуляют.

Медведица закидывала лапу за голову и шевелила боками. Зрители гоготали, мальчишки визжали. Шура Ивановна разевала огромную лиловую пасть, и видно было, что ей приятно нравиться.

— Шура Ивановна, — сказала Анна медведице. — Сестра моя, артистка Шура Ивановна! Тебя волнует одобрение зрителей? Милая ты моя, милая! Ведь и я когда-то так же волновалась.

— А ну, Шура Ивановна, — говорит поводырь, — попроси господ хороших отвалить нам по тыще на пиво да по миллиону на пряники.

И Шура Ивановна снова разинула свою лиловую пасть и, повернув лапу, протянула узкую голую цыганскую ладошку. Тихо прорычав, словно хрюкнув, пошла, огромная, косолапая, вдоль круга.

Анне стало почему-то беспокойно и грустно. Она повернулась и пошла к дому.

Прошла мимо заколоченной лимонадной будки. Наклеенная на ней оборванная желтая афиша повисла старым слоновым ухом. Какая иногда тоска таится вот в таких пустяках. Вероятно, что-то напоминает. Конечно, умнее всего отвлекаться и не вспоминать.

И вдруг что-то ужасное остановило ее. У входа в санаторию стоял тот самый отрок, похожий на мышь-альбиноску, который был в тот вечер... Впрочем, ничего ужасного в этом нет. Но все-таки, ужасно, что он здесь...

Она отвернулась, втянула голову в плечи и скользнула в дверь. Как противно, что сердце так бьется. Ведь ничего же нет. Нервы. Да, ровно ничего не случилось, но уже успокоиться будет трудно.

В комнате тихо и после улицы полутемно.

На столе лежал завернутый в шелковую бумагу большой букет роз и письмо:

«Возлюбленная моя Анна Броун!

Прижмите к лицу эти розы. Не бойтесь. Вы не знаете меня и не узнаете. Я сегодня вечером уезжаю. Я не пропускал ни одного Вашего концерта. Я не только слушал, я и смотрел на Вас. Я Вас люблю, Анна Броун.

Н.»

Анна читала это странное письмо и вдруг почувствовала, что плачет.

— Чего ж я плачу?

И вспомнилось: читала, как в каком-то зверинце очень плохо кормили зверей. Назначили комиссию исследовать дело, и, когда пошедший и клетку ветеринар погладил издыхающую львицу, с ней сделалась истерика. Нельзя нас, замученных, ласкать. Кнут и ругань — вот наш воздух. А нежности мы вынести не можем!

Она даже не развернула букета. Она сунула его в ящик комода, легла и стала думать.

К обеду я, конечно, не спущусь. Там этот мышка-альбинос. Вообще, кажется, придется отсюда уехать. С доктором говорить нельзя. Он будет напирать на нервный шок. Памузов написал ему об обмороке при известии о смерти одного человека. Ну, что ж, уеду домой. Там по утрам стонут на крыше голуби. Желтозубый рояль притаился и ждет. Там будет молчать телефон. И все это, конечно, хорошо, потому что безнадежно. Что ж мешает мне жить? Я ведь не сумасшедшая. Я понимаю, я твердо знаю, что я не виновата. То есть, с «их» точки зрения, не виновата, потому что они не знают. Да если бы и знали, так не признали бы. Но я-то знаю, что я «сделала это». Теперь дальше. Да, сделала. Потому что так захотела. Сократила шесть шагов до четырех. А потом совсем оборвала...

В комнате стало темно. Или она заснула и сама не заметила? С ней иногда так бывает. И, просыпаясь, сразу входит в круг тех же мыслей. Точно она и во сне думает все о том же.

Темно. Черный густой воздух. Сегодня особенно душно. Будет гроза. Такие ночи называют воробьиными, потому что воробьи, взлетая в этот насыщенный электричеством воздух, падают мертвыми.

Надо думать дальше. Надо продумать хоть раз все до конца.

Почему я решила, что он отходит от меня? Ну, за это говорили тысячи примет. Почему он не позвал меня, когда я ушла? Здесь два решения. Или он был очень оскорблен и ждал шага с моей стороны. Ну, конечно. Ведь я же сказала, что на днях позвоню. Или был доволен, что так просто разделался со мной. Ушла, и слава богу. Без всяких драм и объяснений. Нет. Это опять не то. Не мог он не думать, не задавать себе вопроса, что со мной случилось. Значит, первое решение верно. Глубоко обижен. Ждал шага с моей стороны. А шаг был невозможен, потому что пошло бы то же самое — и мои догадки, и приметы, и отчаяние. Нет, так все отлично. Единственный выход, единственная дверь. И я ее открыла.

Мохнатая лапа Розалинды прошуршала по стеклу. Ветерок?

Анна подошла к окну. В черном воздухе застыли черные ветки, чуть выделяясь там, где сквозь них просвечивало небо. Ветки были тихие-тихие, и только один листок, у са-

мого окна, странно бился и дрожал. Только один, как жилка на шее у Анны.

— Розалинда! Неужели и ты мучаешься!

Лучше спуститься вниз. Там люди. А то как-то страшно.

Но внизу было пусто. Очевидно, все уже разошлись по своим комнатам. Только из маленькой гостиной доносились тихие оборванные аккорды. Анна толкнула дверь и вошла.

В комнате было почти темно. Только у рояля горела крошечная лампочка. Мышка-альбинос оперся локтем на клавиши и плакал. Потом вытер глаза и нос и, подбирая аккорды, тихо запел:

Мой пестрый попугайчик умирал,
Он глупый был в сравнении с другими,
Из слов земных одно он только знал,
Единственное слово — ваше имя.
И умирая, он мне завещал
Тоску по солнцу, солнц вселенной краше,
И слово то, которое он знал,
Единственное слово — имя ваше.

Кончил и снова заплакал.

— Как он не слышал, что я вошла? — удивилась Анна. — Бедный уродец.

— Мальчик! — окликнула она. — Чего вы убиваетесь?

Он громко вскрикнул.

— О-о-о! Вы испугали меня! Меня не надо пугать.

— Простите. Чего вы плачете?

— Я плачу оттого, что умер пестрый попугайчик.

— Он правда был у вас, или вы его сочинили в песенке?

— Нет, его никогда не было. И это тем больнее. Если бы он жил в реальном мире и умер, все было бы просто. Но он жил только во мне, даже нет, не жил, а просто умер во мне, и это перенести почти не возможно.

Он горестно высморкался.

— Вы лучше уйдите, — всхлипнул он. — Вы все равно не поймете. А я хочу еще мучиться. Пожалуйста, прошу вас, уходите.

Она повернулась, прошла через пустую столовую и вышла на террасу. Справа, около входа в кухню, что-то гре-

мело и словно стонало. Подошла ближе, рассмотрела. Это была медведица Шура Ивановна. Ее привязали цепью к дереву, и она ходила вокруг. Сделает несколько шагов в одну сторону, цепь натянется, дернет ее, она рявкнет и повернет назад. Пройдет несколько шагов в другую сторону, цепь натянется снова, снова дернет ее, и снова она рявкнет и снова повернет. И видно, что уже давно ходит так, крутится, и не может поверить, и все надеется, что на этот раз цепь не остановит ее.

— Шура Ивановна! Шура Ивановна! — повторяла Анна. — Разве можно надеяться? Надо ограничить своей волей, только тогда и можно жить. Только те и живут на свете, кто сумел ограничить зло своей волей. Люди сильные духом уходили от мира в пустыню. Раз не может земная жизнь дать полной высокой радости — отрекались от нее и уходили в пещеры, в катакомбы, шли на муки и смерть, но мерзостного мира с его малой радостью не принимали. Какая в тебе тоска, Шура Ивановна, зверина несчастная! Видеть тебя не могу!

Она снова вошла в дом, поблуждала по темным комнатам, нашла лестницу и поднялась к себе.

Как прожить эту воробьиную ночь? Сил не хватит. Есть целая шкатулка с морфием на случай невралгии. Но ведь сейчас ничего не болит. Морфия у нее много. Сорок ампул. Этого хватило бы на долгий, на вечный сон.

Она подошла к окну.

Все так же чернели лапы Розалинды, и так же нервно дрожал и бился один листок.

Чем преодолеть это разлитое в мире отчаяние?

Рассказывают, что если скорпиона окружить огненным кольцом, то он вонзает свое жало себе в грудь. Сам убивает себя. Ограничивает страдание своей волей.

Какая ужасная черная ночь! Вдали полыхнула зарница. Словно кто-то взглянул и закрыл глаза.

Она протянула руки и отвела тяжелую упругую ветку. Теперь видно небо. Звезды. Звезды большие, маленькие, близкие, далекие, и есть еще такие, каких мы не видим, а только чувствуем.

Да, скорпион утверждает волю свою. А вдруг это...

Жуткая догадка вспыхнула, как та зарница, что только что всполохнула черный мир.

А вдруг это не его воля, не скорпиона? Вдруг это воля того, кто окружил его огненным кольцом. «И волос с головы не упадет без воли Его».

Она судорожно закинула голову, еще дальше оттолкнула черные ветки и обвела глазами тысячезвездный круг бессмысленного для нас и беспощадного неба.

— Так вот, значит, кто окружил меня огненным кольцом!

Она отпустила ветки, повернулась, задумчиво зажгла лампу и вынула из чемодана небольшую шкатулку.

— Ну, что ж! Пусть скорпион вонзит жало в грудь свою.

Улыбнулась горько, словно плача, оттянув книзу углы рта.

— Если так, то да будет воля Твоя.

Слепая

День был тусклый, заплаканный.

Море серое, линючего цвета, сливалось с небом, но не казалось от этого безбрежным. Напротив, оно как будто кончалось где-то совсем близко, ползло мутной дымкой вверх и изнемогало в тяжелом тумане. Оно даже не плескало береговой волной. Совсем было стоячее, мертвое.

Померло море, скончалось.

На скамейке, поставленной боком к берегу, сидела дама в шляпке, в городском платье. Нездешняя. Здешние так не одевались.

Сидела она, отвернувшись от моря, и глядела вдоль аллеи. Здесь парк подходил к самому берегу. Скучно и недовольно смотрела она. Видно было, что ждет, и видно было по вздрагивающим губам и нервно шевелящимся бровям, что мысленно составляет какие-то неприятные фразы.

Наискосок от нее, ближе к парку, сидела на скамейке пожилая женщина и, положив на колени покрытую бумагой дощечку, что-то выдавливала на ней палочкой.

Та, что отвернулась от моря, встала и пошла к берегу. Справа слышались голоса. Три молодых девушки в грубых

коленкоровых рубашках, тесно ухватившись под руку, входили в воду. Шагали неуклюже, повизгивали. С берега кричал бабий голос:

— Не расчепляйтесь! Не заходите далеко! Окунитесь да и вылезайте. Я вам говорю, не расчепляйтесь. Потонете.

Кричала сидящая на камне востроносая старуха в белом платке.

— Да что вы, Дарья Павловна, — отзывались девушки. — Да мы же вместе.

— Что это за девушки? — спросила подошедшая.

— Наши слепые с приюту, — отвечала старуха и снова принялась кричать: — Я вам говорю, поворачивайте к берегу! Вытаскивать вас некому.

Из-за кустов вышли еще три девушки. Эти были в серых ситцевых платьях с коленкоровыми пелеринками. Шли сцепившись под руку. Шагали вразвалку, спотыкаясь, поддерживая друг дружку. И вдруг запели:

Ах, отворите! Ах, отворите
Нам двери счастья в наш светлый рай.

Пели они просто и убедительно, как поют все русские прачки и городские мещанки. Один голос красиво вторил, два звенели в унисон.

Ах, озарите, да озарите
Лучом приветным мой темный край.

Грустное небо, и тусклое море, и эта безотрадная слепая песня так согласно, все вместе, невыносимо мучили, что дама в шляпке побоялась встретиться с этими девушками, увидеть их лица, их страшные глаза. Она быстро вернулась к своей скамейке, села и стала смотреть вдоль аллеи. Аллея была пуста. Отвернула перчатку на левой руке, взглянула на часы.

— Опаздывает. Только этого не хватало!

Вынула из сумки сухарь, отломила кусочек, погрызла и вдруг, повернувшись, увидела. По аллее, не спеша, шел худощавый господин среднего роста, в круглой соломенной шляпе.

Она быстро вынула из сумочки пудреницу, слегка отвернулась, но тут же злобно защелкнула коробочку.

— К черту! Не стану.

Худощавый господин приостановился около женщины с дощечкой, что-то поговорил с ней и, не торопясь, подошел к ожидавшей.

— Вы опоздали минимум на полчаса, — сказала та, не здороваясь.

— Всего на четверть, — отвечал он, сморщив улыбкой впалые щеки.

— И еще нашли время завести знакомство с этой бабой.

— Это не баба, а очень культурная дама. Она работает для слепых. Переписывает для них «Анну Каренину».

— Ужасно, подумаешь, важна для этих дур Анна Каренина. Только Карениной им и не хватало.

— Но почему же вы так? — с ласковым укором сказал он. — Это же хорошо, что об этих несчастных заботятся.

— Спасибо, что вы меня учите, — сказала она дрожащими губами.

— И, знаете, это очень остроумно придумано. Понимаете, на этой доске сделаны желобки, и она вдавливает палочкой точки, располагая их особенно для каждой буквы. На другой стороне точки получаются выпуклые, и слепые ощупывают их пальцами и так и читают. Это страшно интересно.

— А я считаю, что это хамство, — отрезала она.

— Что? — удивился он. — Почему хамство работать для слепых?

— Хамство заставлять меня ждать. Вы могли бы после моего ухода развлекаться Анной Карениной.

Он пожал плечами и сел.

— Ну, вы, я вижу, сегодня не в духе.

— Господи, до чего глупо! Вы, очевидно, решили глупостью поправить грубость, — пробормотала она и отвернулась.

Он нагнулся и добродушно заглянул ей в лицо.

— Подождите, — сказал он. — В чем дело? Расстроены нервы? Или я в чем-нибудь провинился? А?

Это наигранное добродушие окончательно обозлило ее. Не желая отвечать, она молча вынула из сумки сухарь и стала грызть.

— Почему это женщины вечно что-нибудь жуют? — улыбнулся он.

Надо же что-нибудь сказать. Вот и сказал. И пока говорил, уже понял, что замечание неудачно.

У нее побелел нос от злости.

— Женщины жуют, потому что они не успели даже выпить чаю... потому что не хотели заставить себя ждать... потому что у них есть деликатность... и теперь начнется мигрень. Вот почему женщины вечно жуют...

Она понимала, что говорит глупо, как последняя дура, и от этого злилась еще больше, но остановиться не могла. Словно катилась вниз по каким-то чертовым рельсам, упиваясь своим отчаянием, бессмысленным и злым.

— По-моему, уж лучше опоздать, чем так расстраиваться, — сказал он. — Через полчаса мы уже сможем получить завтрак.

Она посмотрела на его близко склоненное к ней лицо, увидела глубокие складки около рта и с левой стороны навинченный фарфоровый зуб с золотым ободком. Этот зуб решил все дело. Не надо было видеть его. Он вставлен для красоты в этот блеклый, растянутый рот с лиловатыми углами губ. Он вставлен, чтобы нравиться, пленять, влюблять, чтобы бегали на его зов и ждали его, а он бы опаздывал, он бы позволял себе подшучивать над нервами. У-у! Гадина!

> Ах, отворите! Ах, отворите
> Мне двери счастья в мой светлый рай! —

звенели с берега печальные, не понимающие своей печали девичьи голоса.

Она снова взглянула на него и тут увидела последнее, переполнившее чашу: у него в петличку пиджака была просунута крупная конская ромашка.

— Украсился!

В порыве неизъяснимого отвращения, она выхватила цветок и швырнула его на скамейку.

— Пошлость! — задыхающимся голосом почти простонала она. — Вы весь такой! Весь! Весь! Уходите! Ради бога уходите... иначе я...

— Ну, хорошо, Вера Андреевна. Успокойтесь. Я уйду, раз я так вас раздражаю.

Он уже сделал несколько шагов, но приостановился в горестном недоумении.

— Я ничего не понимаю... Может быть, позволите, все-таки, проводить вас. Простите, я даже не знаю... Ну, бог с вами...

Она нетерпеливо отвернулась.

Когда она подняла голову, он был уже далеко.

— Обернется или нет? Обернется или нет? Нет.

Словно тяжелая волна скатилась с ее головы, с плеч. В глазах потемнело, зазвенело в ушах, сердце стукнуло. Ну, вот и кончено. Точно вся она опустела. Так устала, так стихла.

— Ну что же это я наделала? Как грубо, как глупо! Черт знает что! Что со мной было?

Ее всю затрясло странным, невеселым смехом.

— Господи, да я, кажется, плачу...

Было, вероятно, то, что, когда она ехала сюда, к морю, на свидание с этим милым, славным человеком, она думала о другом море, южном, солнечном, о веселых друзьях, о нарядном ресторане на набережной, о молодой итальяночке, певшей страстным голосом под звонкую гитару: «L'amor e comme zucchero!», и о милых глазах, смотревших на нее восторженно и влюбленно.

Ах, озарите вы, озарите
Лучом приветным наш темный край! —

поют эти уродины под тусклым небом, и в горький туман плывет печаль их голосов.

Вот еще две вышли из боковой аллеи и идут к ее скамейке, где она сидит и плачет. Одна из них худенькая, черненькая. Глаза у нее совсем ушли глубоко-глубоко, и веки плотно склеены. Только черная полоска ресниц отмечает их место. Другая белобрысая, глаза у нее мутно-серые, и оба скошены к носу. Эта курносая, пухловатая. Идут под руку. Говорит курносая, рассказывает плавным голосом:

— Такая это красота, что и описать нельзя. Море голубое-голубое, а вдруг рассердится и потемнеет. Ну, совсем

тогда синее, и по нем белые морские баранчики прыгают, играют. И так оно красиво да весело, что некоторые матросы так нипочем домой не хотят. А на берегу-то какая красота! Ни пером описать. Травка зелененькая, и в ней цветочки — и белые, и красные, и желтые, и синие. А над каждым цветочком пляшет бабочка. И какого цвета цветочек, такого цвета и бабочка.

— Чего же они пляшут? — недоверчиво спрашивает черненькая. — Им, поди, тоже есть надо.

— Да им поесть одна минутка. Глотнет росинку с цветочка, вот ей и все. И снова пляши.

— Да ведь ты же не видела, — вдруг раздражилась черненькая. — Ведь ты же от рождения.

— Мало что не видала. Я и так знаю.

— Да что у тебя все красивое да красивое. Этак у тебя и Дарья Павловна красивая.

— Дарья Павловна, как цветок Божий.

— А голос-то какой. «Не отчепляйтесь» — ровно сыч.

— Голос не беда, а зато сама... Постой!

Они подошли к Вере Андреевне. Курносая ощупала скамейку руками.

— Садись, — сказала она. — Ишь, что тут? Цветочек? Знаешь, это один мальчик хорошенький-хорошенький приходил, увидел нас и подбросил.

— Да что ты? — удивилась черненькая. — Ей-богу?

— А и цветочек! Ну и цветочек! — ласково тянула курносая, перебирая смятую ромашку. — И каждый лепесточек разный. Вот этот голубенький, а этот розовый. Да ты пощупай — сразу поймешь, что розовый. А вон еще желтенький. А этот — ну, поверить трудно — совсем золотой. Господи, сколько тут радости. И все для нас, и все нам. В одном цветочке. А ведь таких цветочков-то по всей земле раскидано миллионы. И бабочки над ними вьются, и все так красиво, так красиво, что иной ангел не выдержит, порхнет с неба украдочкой, поцелует такой цветочек али бабочку, да и опять за облака и смеется нам сверху. Вот помолчи. Послушай. Слышишь — смеется?

— Девицы! — закричал с берега бабий голос. — Собирайтесь в кучу. Пора!

Слепые встали, взялись под руку. Курносая приостановилась.

— Слышишь? Слышишь? — спросила она, повернув голову к скамейке, где тихо плакала дама в шляпке. — Слышишь ангела?

И обе, радостно улыбнувшись, заковыляли неровной развалистой походкой к берегу.

Типы прошлого

1

Дядя Полкаша

Иногда очень хочется представить себе современную русскую жизнь, среднюю жизнь средних русских людей. Оказывается, что это чрезвычайно трудно. По свидетельству многих — сплошной кровавый кошмар, а если судить по советской литературе, так даже милиционер плачет от умиления, глядя на беспаспортного бродягу. Как вывести среднюю линию — воображения не хватает.

Какие там живут люди, мы не знаем. Но зато знаем, каких людей там больше нет, какие типы, прочно установившиеся в нашей прежней жизни, ушли навсегда и бесповоротно.

Ушли добродушно-ворчливые нянюшки (между прочим, до тошноты в литературе надоевшие), ушли старые приживалки с флюсом, ухари-купцы, «вечные» студенты, старушки-богомолки, странницы и страшные спиридоны-повороты, шагавшие по большим дорогам, с котомкой за спиной, с чайником у пояса и клобуком на длинноволосой голове. Они были очень живописны, эти спиридоны-повороты, но и жутковаты. Почти при каждом деревенском преступлении — грабеже, убийстве, поджоге — судебный следователь всегда допытывался:

— А не приметили ли вы в это время какого-нибудь бродягу в клобуке? Не проходил такой?

Называли их спиридонами-поворотами потому, что если такого за беспаспортность арестуют, то поворачива-

ют его обратно, в ту местность, откуда он, по его словам, вышел. Арестуют в другом месте — опять повернут. Так и шагали спиридоны в свое удовольствие по всей широкой Руси.

Помню, как-то на перевозе через Волхов на пароме подошел к нашей коляске жуткий длинноволосый верзила роста нечеловеческого, в подряснике, в опорках на босу ногу и с клобуком на голове... Подошел вплотную и рявкнул:

— Лев Толстов что сказал? А? Подайте, барышня, бывшему гвардейскому офицеру.

Я наивно удивилась... Лев Толстой... отец Сергий...

— Боже мой, неужели вы гвардейский офицер?

— Э-эх, барышня! Жизнь моя — настоящий роман.

Так и сказал — «роман», с ударением на «о».

Но тут обернулся кучер:

— Пошел, пошел, куда лезешь!

И гвардейский офицер энергично плюнул и покорно отошел в сторону.

Вот такого спиридона-поворота — обыщи весь СССР — наверное, не найдешь.

Но вот есть еще один тип прошлого, тоже, наверное, невозвратимо исчезнувший. В новом укладе русской жизни ему, должно быть, уже делать нечего. Это тип очень мирный и назывался он летним репетитором. Нанимали такого репетитора на лето готовить помещичьих мальчишек к осенним переэкзаменовкам.

Вспомнился мне этот тип случайно и совершенно неожиданно.

Был исключительно жаркий день.

Чудесная санатория, где мы проводили лето, к счастью нашему, была окружена великолепным парком... Деревья огромные, «широкошумные», совсем русские, помещичьи. Слушаешь их тихий шелест, смотришь на далекие вершины, утонувшие в синем глубоком небе, и вспоминается не недавнее, парижское, суетливое, заботное, а тихая прошлая жизнь. И это в каких-нибудь пятнадцати минутах езды от Парижа такая «широкошумность», и ширина, и простор, и покой, и такие русские настроения.

Вот сижу у окна — вид из окошка прямо на салат и морковку. Дальше — пламенные настурции, еще дальше — по-

следние томные розы. А за ними, за решеткой ограды, глубокими зелеными пластами, от бледно-хризолитного до черно-изумрудного, чуть зыбится стена леса. Где-то близко клохчет курица...

В какой же это я губернии? Новгородской? Или еще дальше по дороге времени — в Волынской?

Не надо только смотреть налево, где чересчур уж по-французски блестят лакированными листьями роскошные кусты магнолий. Не надо туда смотреть — и тогда, может быть, услышишь далекий-далекий голос из далеких стран, из далеких годов. Он кричит звонко:

— Надя! Лентя-айка!! Иди на рояле игра-ать!

— Не хочу-у-у!

Ну, нет. Теперь не поймают за косу, не потащат дудеть экзерсисы и гаммы. Пространство и время унесли меня, спрятали: кричите, зовите — не откликнусь.

Вспоминаются «тени прошлого». Старые няньки, кучеры, повара, ключницы. Зыбко, туманно. И вдруг вынырнула толстая веселая рожа:

— Дядя Полкаша!

Рожа улыбнулась, обернулась из «тени прошлого» живым человеком и сказала лениво, по-рязански растягивая слова:

— Вот, как экзамен сдам, пойду пешком к Тихвинской. К чудотворной.

Мне 14 лет. Я у тетки в имении. Кузинам — Леле, Кате и Лиде — приблизительно столько же. Есть еще два кузена — оболтус Гриша и ябедник Вася.

Дядя Полкаша — студент-первокурсник, нанятый на лето репетитором. Как его по-настоящему звали, я даже не помню, потому что прозвище Полкаша он получил в первый же день своего появления в нашем доме.

Толстый, добродушный, мягкий, у него даже подпалины какие-то над бровями были, вроде, как у нашего цепного Полкана. И улыбался он распяленным ртом совсем как собака на солнце.

Когда он приехал, гостила в доме маленькая девочка. Она спросила:

— Как этого дядю зовут?

Державшая ее на руках Леля, не задумываясь, словно давно знала, быстро ответила:

— А это дядя Полкаша.

И никого это и не удивило, и так прозвище за ним и осталось.

В общем, все были Полкашей недовольны. Все, начиная с тетки. Репетитора прислать возложено было на дядюшку, который оставался в Петербурге. Тетушка так расстроилась, что даже написала ему укоризненное письмо.

«Неужели уж во всем университете не нашлось студента поинтереснее? Целое лето видеть перед носом такую самоварную харю, мало меня веселит».

Дядюшка ответил в сдержанных тонах:

«Репетитора выбирают, чтобы учить детей, а не для того, чтобы веселить матерей. Послать какого-нибудь щелкопера и хлыща в дом, где бездельничают четыре молодые дуры и одна старая (это я про тебя), было бы очень неосторожно».

Увы, хоть и осторожен был дядюшка, но и тот не угадал. В деревне летом была такая сытая, сонная скука, что от нечего делать все равно пришлось девицам влюбиться в Полкашу.

Первым пронзилось гордое сердце пятнадцатилетней Кати.

Выяснилось дело как-то за ужином. Только что приехавший из города дядюшка рассказывал новости. Все смеялись и ели, как едят в деревне, — убежденно и сосредоточенно, подсаливая, подмасливая, поперчивая и похваливая. Одна Катя не ела и не смеялась.

— Чего же это она не ест? — спросил дядюшка. — Живот болит, что ли? Батюшки, да никак она брови подвела?

Катя вспыхнула, всхлипнула и выбежала из-за стола.

Тут уж мы все поняли, что она влюбилась.

Потом приехала подруга кузины Лели, институтка Оля. Привезла с собой тайные любовные стихи. Стихи, видимо, переписывались много раз и всегда немножко перевирались. Кое-где не хватало рифмы, кое-где выпало целое слово, но тем не менее впечатление производили они потрясающее. Те места, где слова не хватало, даже особенно привлекали,

потому что нужно было придумывать и угадывать, что бы это такое могло быть.

Одно стихотворение начиналось:

Мы с тобой сплетемся в забытье,
Ты в роскошной позе на диване,
Я у ног твоих, я в чувственном тумане.

Дальше все было густо переврано.

Потом были еще стихи, начинавшиеся словами:

Мы сплелись, как два змея,
И лежим, дышать не смея.

Это, кажется, было уже институтское произведение и как будто посвященное классной даме приготовительного класса, хорошенькой немочке, в которую весь институт поголовно был влюблен. Некоторые, положим, сильно увлекались батюшкой, внушавшим трепет бородой и единицами, которые лепил без всякого сострадания к слезам и мольбам. Впрочем, думаю, что стихи о роскошной позе отношения к батюшке не имели.

Оля стихов своих нам не показывала. Она их давала читать только Леле, но Вася-ябедник подглядел, подслушал, стянул, вызубрил назубок, как не зубрил ни одного урока в жизни, и стал декламировать и цитировать.

— Откуда мог он узнать? — удивлялись Оля и Леля. — Неужели у них в гимназии они тоже ходят по рукам?

Им и в голову не приходило, что он такой ловкий.

Цитировал он эти стихи всегда очень некстати. Скажет, например, тетка за завтраком:

— Лиза, не забирай же всю сметану, нужно же, чтобы и другим хватило.

— Не мешайте ей, мама, — крикнет Вася, — она в чувственном тумане!

Глупо, некстати и даже подло. Девицы волнуются, институтка Оля покрывается красными пятнами и бросает испуганные взгляды на дядю Полкашу.

По этим взглядам мы понимаем, что она тоже влюбилась. Ну и дела!

Понимает ли что-нибудь сам Полкаша? Кажется, ровно ничего. Он самым безмятежным образом накладывает себе

на тарелку третью порцию вареников с вишнями и улыбается своей добродушной собачьей улыбкой — не Оле и не Кате, с тоской отказавшейся во имя безумной любви от сладкого, а улыбается он именно этим самым вареникам, третьей их порции.

— Какие цветы вы больше всего любите? — спрашивает его дрожащим голосом Оля.

— Я? Гы-ы! Я? Чертополох.

Он доволен своим остроумием, от удовольствия краснеет, и толстые медные щеки его блестят.

Мы с Лидой долго обсуждали события. Не могли решить самого главного: должны ли мы тоже влюбиться или не стоит.

— Надо сначала выяснить Катины дела, да и Олины тоже. Если он их любит, тогда уж нам соваться нечего, — решила я. — Страдать и разбивать всю свою жизнь.

И вот (тонкая штука была эта тринадцатилетняя Лида!) придуман план: переписать любовные стихи, прочесть их дяде Полкаше, сказать, что они посвящаются ему, и спросить — кого бы он желал как автора. Он проговорится непременно.

За последние дни дело еще больше осложнилось. Както за дневным чаем, когда все ели клубнику, Леля вдруг заплакала, вскочила и убежала. Признак верный. Влюбилась. Значит, еще одной соперницей больше. Для нас с Лидой это было очень плохо. Кроме того, я боялась, что стихи не совсем подходят к случаю. В них все какие-то воспоминания. Ведь Полкаша не сплетался же, как змей. Лучше я сама сочиню ему стихи.

Промучилась два дня. Сочинила:

Давно-давно, в дни юности далекой,
Мне снился ты.
И я всю жизнь пробуду одинокой
Рабой мечты.

Стихотворение нам обеим безумно понравилось. Немножко коротко, но чудесно. «Рабой мечты». Прелесть!

Переписали на всякий случай, переделывая почерк, чтобы не попасться в лапы Ваське-ябеднику.

Потом стали мучиться — как поймать Полкашу одного?

А время шло. Полкаше выходил срок ехать держать какие-то экзамены, которые он «заложил на осень».

И вот раз вбегает ко мне Лида — красная, косички за плечами дрожат:

— Идем скорее в биллиардную. Он там один.

Я вдруг струсила.

— Иди одна. Вдвоем как-то неловко.

Лида тоже струсила. Стали спорить.

— Мне стыднее, — убеждала я, — потому что стихи мои. Я спрячусь за дверь и чуть что — выскочу и помогу тебе.

Какая могла быть помощь и в чем, я и сама не знала, но Лиду убедила.

Пошли от страха на цыпочках. Я остановилась за дверью. Лида вошла и сказала тоненьким жалобным голоском:

— Вам стихи... хи...

Полкаша, мирно катавший шары, приостановился, осклабился.

— Мне?

— Вам.

— Да ну?

— Вот, — сказала Лида, — прочитайте и угадайте, от кого.

Полкаша взял листок и начал:

«Давно-давно, в дни юнности» — почему «юнности»? Надо одно эн, а не два... «Юности далекой... мне снился ты... и я...» ничего не понимаю... «всю жизнь. Ты и я всю жизнь. Ты и я всю жизнь пробуду...» Тогда уже «пробудем», раз ты и я. Множественное число. Что это за ерунда? Кто писал?

— Это одна из нас, — пролепетала, чуть не плача, Лида.

— Врете! — захохотал Полкаша. — Это же старуха писала. Давно-давно, в дни юности. Что же это за старуха такая? Неужели ключница Авдотья Матвеевна? Ей-богу, она. И почерк ее. И «юности». Ха-ха-ха! Ай да Авдотья! Пойду покажу листок вашей мамаше. Ха-ха-ха!

Я еще слышала Лидин писк и гусиный гогот проклятого Полкашки, но конца сцены не знаю. Я постыдно удрала и, забившись в постель, сунув голову под подушку, ревела с визгом и от полного отчаяния дрыгала ногами.

Полкаша не показал листка тетушке, но и не проявил никакого любопытства к автору.

О нашем позоре никто не узнал.

Догадался он, что ли?

2

Верзила

Ассоциации, ассоциации...

Вспомнился репетитор дядя Полкаша и потянул за собой вереницу «типов прошлого».

Прежде всего, конечно, вспомнилось то, что непосредственно примыкало к фигуре дяди Полкаши. А примыкало к ней нечто долговязое, с кадыком. Но будем рассказывать последовательно.

За летом, ознаменованным дядей Полкашей, проплыла зима и наплыло новое лето, а с ним заботы о новых переэкзаменовках, а следовательно, потребность в репетиторе.

У рыжего веснущатого Васи-ябедника оказалась переэкзаменовка по латыни. Тут уж без репетитора не управиться.

Но дядюшка, переехавший на этот раз в деревню одновременно с семьей, неожиданно, с чисто отеческой нежностью, заявил:

— Ни к чему репетитора. Этого оболтуса я сам сумею оболванить.

Здесь будет уместно заметить, что, по моим наблюдениям, никогда до добра не доводит, если мамаша или папаша начинают лично преподавать что-нибудь своим деткам. То ли здесь оскорбленное самолюбие — что вот, мол, мое собственное детище, а проблесков гениальности не обнаруживает, то ли со стороны детей недоверие к научному авторитету мамочки, но, одним словом, дрянь. Дело выходит дрянь. Вплоть до родительского проклятия и лишения наследства.

Эта самая тетушка, о семье которой я сейчас рассказываю, считая себя недюжинной силой по музыкальной части, одно время сама занималась с детьми музыкой. Метронома у нее не было, и поэтому она являлась на урок с кинжальчиком, служившим, обыкновенно, для разрезывания книг, и отщелкивала этим кинжальчиком такт, ударяя по крышке рояля.

— Катя! Иди заниматься! — звала она сердитым голосом.

— Катя, — подхватывал кто-нибудь из мальчишек. — Беги скорее, мама кинжал точит.

— Катя! — кричал другой. — Антропка, иди тебя тятька пороть хочет.

Испуганная и заранее обиженная, Катя бежала в залу.

Молчание. Скрип навинчиваемого табурета. Две робкие ноты и крик:

— Сейчас же иди мыть руки, скверная девочка!

С этого начинался урок.

Особенно скверно обстояло дело с Васькой. Ни любви, ни способностей к музыке у него никогда не было, и для чего его терзали — совершенно непонятно.

— В чем у тебя руки, поросенок! — надрывалась любящая мать.

— Это дикий мед, — объяснял поросенок басом. — Он не отмывается. Только разве двууглекислым скипидаром, так ведь вы на скипидар не расщедритесь.

— Пошел вон, грубиян, как ты смеешь так матери отвечать!

Дальше этого Васькин урок, обыкновенно, не шел.

С девочками дело шло немножко лучше, звонко постукивал кинжальчик — «раз, два, три, четыре», кричала тетушка, заглушая экзерсис.

Однажды жившая в доме гувернантка-француженка попробовала усовестить Ваську и долго толковала ему о жертвах и заботах.

Васька, который, кстати сказать, считал несмываемым позором говорить с француженкой по-французски, отвечал басом, надувая толстые щеки:

— Ма мэр, ма мэр. Мамерища приходит на урок, вооруженная до зубов кинжалами. Я не могу, я мальчик болезненный и нервный.

А вот теперь вся семья с ужасом ожидала, как папочка сам начнет заниматься латынью.

Первые дни прошли спокойно, дядюшка как будто даже забыл о своем намерении. Тетушка уехала в Мариенбад для обмена веществ. И вот, проводив ее, дядюшка неожиданно вспомнил:

— А ну-ка, Васек, принеси-ка мне твои учебники. Надо взглянуть, на какую такую премудрость твоих мозгов не хватает.

Дело было за обедом. Васька сбегал за учебником. Лицо у него было недовольное.

Дядюшка очень заинтересовался Васькиной латынью. Блюдо стыло. Лакей, согнувшись в почтительной позе, держал на вытянутой руке блюдо с цыплятами. Дети вздыхали. Два дня подряд за завтраком и за обедом погружался дядюшка в латинскую грамматику. На третий день, часа в три, вышел из кабинета дядюшкин лакей и сказал Ваське:

— Папаша вас просют.

Васька обдернул пояс и пошел к отцу.

Тихо. Какие-то отрывочные фразы. Бубненье. Возгласы. Бубненье. Крик. Бубненье. Отчаянный вопль. Дверь кабинета распахивается, выбегает Васька, за ним дядюшка. Васька прыгает через стулья, дядюшка за ним, красный, как буряк, весь налитой, ловит Ваську где-то в углу, на столе, давит его. Васька вырывается и прыгает в окно. Дядюшка останавливается, тяжело сопит, вытирает платком лоб и шею и медленно ретируется к себе в кабинет. Так разбитая армия отступает, унося убитых и раненых.

Через полчаса из кабинета звонок. Потом выходит лакей, разыскивает Ваську.

— Папаша вас просют.

Васька обдергивает пояс, идет.

Тихо. Отрывистые фразы. Бубненье. Возгласы. Бубненье. Крик. Бубненье. Отчаянный вопль. И снова дверь распахивается, вылетает Васька, за ним дядюшка, ловит, давит, хрипит. Васька вырывается и прыгает в окно.

Так до трех, до четырех раз в день. Васька быстро приспособился, переставил в гостиной кресла и лупил прямо к окну, так что дядюшка уже не успевал его ухватить.

Так жили и работали они дней шесть, сидя, кажется, все на том же самом спряжении, и неизвестно, сдвинулись бы они с него когда-нибудь, как вдруг пришло письмо от тетушки, на наш взгляд, очень приятное и нежное, но дядюшке оно почему-то совсем не понравилось. Тетушка писала, что познакомилась в Мариенбаде с замечательным врачом, который не лечит, а наоборот, сам лечится, но он так хоро-

шо понял тетушкину болезнь и вообще ее натуру, как никто в мире, и советует ей непременно ехать из Мариенбада в Аббацию, и он тоже поедет и будет там за тетушкой как-то наблюдать, и что, конечно, жалко тратить такую уйму денег, но, с другой стороны, обидно пропустить такой случай.

«Нашим детям еще нужна мать, — заканчивала она свое письмо, — вот об этом я и думаю больше всего, когда забочусь о своем здоровье».

Письмо, как видите, очень лирическое и даже трогательное, но дядюшка ходил целый день с выпученными глазами и пил содовую воду. Потом заперся в кабинете и сердито сам с собой разговаривал.

— Обидно пропустить случай! — доносилось через закрытую дверь. — Ха-ха! Еще бы не обидно. Ха-ха!

На другой день велел лакею укладывать вещи и объявил нам, что едет в Мариенбад.

— Ваське вышлю из города репетитора.

И все фыркал, и все сам с собой разговаривал.

Вечером уехал.

Через несколько дней явился из города новый репетитор.

Пришел он почему-то с последней почтовой станции пешком рано утром. Мы все еще спали.

— Пришел учитель, — восторженным шепотом сообщила нам горничная Люба.

— Ну, какой же он, этот репетитор?

— А он такой... суковатый, — добросовестно объяснила Люба, — жилистый.

— А красивый?

— Страсть какой красивый! Две крынки молока выпил и купаться пошел.

— А как же он пешком пришел? А как же вещи?

— А у него такой свертышек в клеенке. Больше как есть ничего.

Пришла нянюшка.

— Нянюшка, видели?

— Видела.

Лицо у няньки недовольное.

— Видела. Длинный. На таких коров вешать. Волосы, как у дьячка. Кадык торчит. Добра не будет.

Подошла ключница.

— Видела. Кадык — это очень опасно. Один такой вот с кадыком заснул, ну, кадык, известно, от храпу шевелится. А в том доме кот был. Кот смотрел-смотрел, да и показалось ему, видно, что это мышь с ним заигрывает, он как кинулся да горло-то и перегрыз.

Все это было очень страшно и даже немножко противно. Странно только, что кот такую ерунду вообразил, — когда же мыши с котом «заигрывают»? Впрочем, ключнице лучше знать.

— А мальчики где?

— Побежали за ним на речку.

Мы наскоро оделись, пошли на террасу, где обыкновенно пили утром чай. Стали ждать.

— Длинные волосы — наверное, семинарист.

— Какой-нибудь Авенир Феофилактович Десницулобызященский.

— По-моему, лучше Череззаборвзиранский.

— Отюностимоеямногимистрастямиоборенский.

— Ха-ха!

— Хи-хи!

— Идет!

— Тише! Идет!

В конце аллеи, ведшей к дому, показались оба мальчика и с ними «он». Длинный, тощий, мокрые волосы облепили голову и отвисли сзади косицей. Образовалась голова, как у цапли. Шел, задрав лоб, выставив знаменитый кадык. Одет был в голубую вылинялую косоворотку, неизъяснимого цвета брюки, парусиновые расшлепанные башмаки. На плечи была накинута студенческая тужурка с выгоревшими лацканами.

Подошел к столу, протянул всем по очереди невиданной величины лапу, сел и добродушно сказал, повернувшись к мальчикам:

— А ну, молодые дегенераты, исхлопочите-ка крынку молока да краюху хлеба.

* * *

Когда, бывало, русская дама возвращалась из заграничного курорта в родное поместье, на лоно семьи, настрое-

ние у нее редко бывало хорошее. Уж очень резкий переход. Трудно было душевному организму его безропотно вынести.

За границей такая дама была молодой женщиной, свободной, беспечной. Забота была только одна: как бы тот растяпа не забыл вовремя выслать деньги. За границей важен был крем для рук, пудра, массаж, туалеты к лицу. А приедешь к себе, куда-нибудь в Ярославскую либо Курскую губернию, в какой-нибудь, скажем, Льговский уезд, и окажешься вдруг не очаровательной и головокружительной кокеткой, а матушкой-барыней, матерью подрастающих дочерей и грубиянов-сыновей; а какой-нибудь кружевной пеньюар и надевать смешно, потому что получишь в нем не утренний букет от отельного донжуана, а известие из сморщенных губ ключницы о том, что две коровы передоились, а одна — стельная, а остальных и считать нельзя, и все одиннадцать общими силами дадут разве что четыре стакана молока, и что кучер выхлестнул вороному глаз, а деревенские ребятишки клубнику обтоптали, а прачка все шелковое белье ржавчиной перепортила, а повар пьет, а садовник малину продал, а куры не несутся, а свинью скотница не доглядела, и она своих поросят сожрала, а если лакей клянется, что не свинья сожрала, а сама ключница, так это он врет, потому что он живет с поваровой женой, и все они заодно и одним миром мазаны, а ей, ключнице, никаких поросят не нужно, хоть озолоти ее, а конюха напрасно выгнали, он теперь грозится гумно сжечь, и, конечно, барыне самой за всем не доглядеть, барыня не молоденькая, у ней и сил не хватит.

Вот попробуйте все это выслушать в парижском дезабилье из алансонских кружев, полируя ноготки помпадуровым порошком.

— «Барыня уже не молоденькая...»

— Ах, ради бога оставьте меня.

В таком именно состоянии приехала тетушка из Мариенбада.

Все раздражало, все оскорбляло, все злило. К утреннему кофе подали теплую домашнюю булку. Стоило мучиться целый месяц на немецких сухарях, чтобы потерять четыре кило, когда тут с утра лезут к тебе с булкой и, вдобавок, эта

пошлая булка так аппетитна на вид. Конечно, один кусочек особенно повредить не может, но если начать нарушать диету, то не к чему было ездить за границу.

За завтраком вся семья в сборе.

Новые разочарования. Леля раздобрела, и на вид ей можно смело дать восемнадцать лет, хотя ей всего семнадцать. Ужас! Вася чавкает и засунул вилку в рот до самого черенка. Катя развалила локти на столе. Гриша дергает носом. Все распустились, одичали, огрубели. У гувернантки глаза залило жиром, и ей, видимо, все трын-трава.

— Да где же ваш репетитор, которого вам папа послал? — вспоминает тетушка.

— Пошел раков ловить.

Тетушка удивилась.

— Что же он, не знает, что мы сейчас завтракаем?

— А он говорит, что хочет есть, когда он хочет, а не тогда, когда повар хочет, чтобы он хотел, — эффектно отчеканил Вася.

— Странно, — сердито удивилась тетушка. — Что же он, голодный останется? Ведь не будут же ему отдельно завтрак готовить.

— А и не надо, — радостно отвечал все тот же Вася. — Он молоко дует и хлеб лопает.

Тетушка даже побледнела от негодования:

— Что за выражения! Что за арго! Где ты воспитывался?

— Где? Пфф, — прыснул от смеха Вася. — До сих пор в гимназии, а теперь уже, наверное, выгонят.

Тетушка закатила глаза, и гувернантка, со стоном оторвавшись от жареной курицы, пошла за нашатырным спиртом.

К пятичасовому чаю, тетушка не вышла, но видела из окна своей комнаты, как на террасе, где все сидели вокруг самовара, появился верзила в косоворотке, ухватил стакан чаю с молоком и той же рукой, пятым и четвертым пальцами, ломоть хлеба и, повернувшись ко всему обществу спиной, сел на ступеньки и стал питаться.

Выпив, громко сказал: «Мерси за чай и за булку», — и, перепрыгнув через перила, зашагал к лесу.

Странное беспокойство овладело тетушкой.

— Леля! — кликнула старшую дочь. — Пойди сюда.

Пришла Леля, пухлая, сытая.

«Какой ужас! — подумала тетушка. — И эта корова — моя дочь!»

— Леля, — сказала она. — Объясни мне, пожалуйста, что собой представляет этот ваш репетитор.

Леля пожала плечами.

— Репетитор как репетитор. Во всяком случае — вполне сознательная личность.

Тетушка удивилась.

— Как ты странно стала выражаться. Что же такое сознает его личность?

Леля опять пожала плечами.

— Надеюсь, продолжала тетушка, — что он сознает свои обязанности. Ты это хотела сказать? И чего ты все дергаешь плечами? И откуда у тебя такой бюст? И что за щеки! Разве можно так распускать щеки! Ты бы одумалась. А что же он добросовестно с мальчиками занимается? Ведь у них переэкзаменовки.

Леля поджала губы и сказала наставительно.

— Что значит «занимается»? Он развивает их по возможности. Он говорит, что природа учит лучше всякой книжки.

— Природа? — удивилась тетушка. — Никогда не слыхала, чтобы природа могла кого-нибудь научить прилично говорить по-французски. Конечно, я не спорю, бывают прелестные пейзажи, пикники, но при чем тут латинская грамматика и вообще... переэкзаменовки? Нет, я завтра же переговорю с ним серьезно.

К ужину тетушка не спустилась. Если еще начать ужинать, то весь Мариенбад пойдет насмарку.

Снизу доносился запах чего-то теплого, жареного и еще чего-то, вроде пирога с налимом.

Тетушка выпила жиденького чаю с сухим крендельком и села у окна, губы сжаты, брови сдвинуты. Такое выражение было, вероятно, у Муция Сцеволы, когда он клал на огонь свою руку.

Со двора доносились восклицания, спор, смех. Молодежь устроилась около качелей. Заскрипели петли, кто-то завизжал, и вдруг зычный голос запел:

Впереди черный поп.
Позади черный гроб...

Другие подхватили:

Для преступника,
Для колодника.

— Что за песня? — подумала тетушка. — И как вульгарно: «Попп, гропп» — ужас!

— Где ж преступник? — Вот он,
Он на плаху идет...

— Это этот ужасный поет. Это он их учит вульгарным песням! — волновалась тетушка.

И в толпе простонал
«Вольдемар, Вольдемар»
Кто-то плачучи, умираючи.

— Завтра же положу этому конец.

Внизу погалдели и начали другую песню.

Есть на Волге утес,
Диким мохом оброс
Он с боков от подножья до края,
И стоит сотни лет,
Только мохом одет...

— Какое идиотство, — возмущалась тетушка. — Вполне натурально, что он мохом одет, не во фраке же ему щеголять.

...Ни нужды, ни заботы не зная.

— Когда у утесов бывает нужда?

Тетушка нервно позвонила и приказала, чтобы песни сейчас же прекратились, потому что у нее мигрень.

На другое утро, собравшись с силами и разрешив себе для бодрости сдобную лепешку с маслом, велела позвать к себе репетитора.

Он тотчас же пришел — здоровенный верзила, с закинутой назад головой и выпяченным горлом — и протянул

ей гигантскую лапищу, растопырив пальцы, точно ждал, что тетушка будет напяливать на нее перчатку.

— Ага! — громко и радостно воскликнул он. — Ага, вот и мамаша. Здравствуйте, здравствуйте, мамаша.

Тетушка совсем растерялась.

— Садитесь, пожалуйста, — пролепетала она. — Я хотела...

— Га! Да я уже давно сижу, — осклабился он.

— Да, да, мерси, — тетушка окончательно оторопела. — Мне нужно, потому что я должна... То есть не должна, но мне нужно... Господи...

— Так, — одобрил студент и с большим любопытством посмотрел на тетушкины брови. — Та-ак. Значит, все в порядке. Разрешите откланяться.

В эту минуту тетушка заметила его расшлепанные парусиновые туфли, на которых каждый сустав заключавшихся в них пальцев был отмечен грязным пятном. Вид этих гнусных ног почему-то взбодрил ее.

— Я хотела бы знать, делают ли мои сыновья успехи в занятиях. Хорошо ли учатся и выдержат ли переэкзаменовку?

— Хорошо ли учатся? — растерянно спросил репетитор, с трудом отрываясь от тетушкиных бровей.

(«Что я их криво подмазала, что ли? Чему он удивляется, нахал», — нервно подумала тетушка).

— Хорошо ли... — продолжал репетитор и вдруг добродушно осклабился: — Мамаша, дорогая. Ну что мы будем друг перед другом ломаться? Ведь вы же знаете, что ваш Василий — форменный дегенерат. Да не спорьте, не спорьте. Взгляните на его уши, на его зубы, на его бессмысленную улыбку. Я не скажу того же про старшего, про Григория. Тот в другом роде. Тот просто кретин. Из него впоследствии может выйти преступник, конечно, — не радуйтесь, — не крупного порядка. Так, какой-нибудь мелкий шулер.

— Позвольте, однако, — всколыхнулась тетушка. — Я не могу допустить... и как вы смеете...

— Те-те-те, — добродушно перебил верзила. — Ну, вот мамаша и обиделась. И чего? Отпрыски у вас не важнец. С этим вы спорить не станете. Ну, да вам-то что? Это же не значит, что и вы уж непременно кретинка. Вы, очень может

быть, что находитесь на другой ступени развития. Почему этого не признать?

— Я одно хочу знать, — завизжала тетушка. — Готовите ли вы вверенных вам учеников к переэкзаменовке или нет?

— Вот видите, мамаша, я не ошибся. В вас есть проблески здравого смысла. Но посудите сами — готовить их к переэкзаменовке было бы с моей стороны прямо недобросовестно. Все равно провалятся. Стараюсь их немножко развить, привить хотя бы гражданственность. Вижу, мамаша, вижу по вашему лицу, что вы меня собираетесь выгнать. Только, извините, я считаю непорядочным уйти, пока мой наниматель, то есть ваш супруг, сам мне об этом не напишет. А то у вас сегодня нервы, а завтра еще что-нибудь. Ну, сознайтесь, мамаша, что вы человек несерьезный. Ну, чего же там. Мы ведь свои люди. А пока что — честь имею.

* * *

В тетушкиной семье долго жила легенда о верзиле-репетиторе. И впоследствии, когда сыновья ее сделали блестящую карьеру, родственники, посмеиваясь, говорили:

— А наши-то дегенераты в ход пошли.

3

Эрнест с языками

Та история, которую я сейчас наметила рассказать, произошла не на моих глазах, но кое-кого из действующих лиц я в свое время знала, кое-кого видела и всю историю много раз слышала, так что за достоверность ее поручиться могу.

Герой этой истории вспомнился мне опять-таки по ассоциации, потому что он, как и те два, о которых уже рассказала, был репетитором в помещичьем доме. Звали его Эрнест Иванович, фамилии не помню, называли же его «Эрнест с языками». И не без причины.

Появлению Эрнеста Ивановича послужила следующая сцена. Жаркий летний день. В гостиной с опущенными для прохлады шторами в роскошном батистовом капоте сидела помещица Александра Петровна Дубликатова, вдова средних лет, внешности тоже средней, на которой нам для

развития повести останавливаться нет необходимости. Так вот, сидела эта вдова и пришивала кружевце к кофточке. Настроение у нее было хорошее и, разглядывая свое кружевце, она что-то напевала.

В той же комнате сидели и дети ее — двенадцатилетний Ваня, десятилетняя Лиза и восьмилетняя Варя. И сидела еще гостья, соседская барышня Верочка.

— Так что же, — сказала, продолжая разговор, Александра Петровна. — Посылать за рыбой или не посылать?

И прибавила:

— То би ор нот то би, как сказал Гамлет.

Произнесла она эту, опротивевшую всему миру, фразу с ударением своеобразным, так сказать, собственного вкуса, на букву «о».

Соседская Верочка усмехнулась и поправила:

— Надо говорить «ту би», а не «то би».

— Разве? — равнодушно проронила Дубликатова и, обращаясь к сыну, сказала:

— Ваня, у вас латынь учат: как надо выговаривать — «то би» или «ту би»?

Ваня посмотрел вбок и ответил мрачно:

— Не знаю. У нас это еще не проходили.

Но соседская Верочка не унялась:

— Ах, Александра Павловна, какая вы смешная. Да ведь это же не по-латыни, это по-английски. Ведь это же Гамлет.

Но вдова и тут не сдалась.

— Ну, так что ж, что Гамлет? Я Гамлета отлично знаю. Принц Датский. Только не понимаю, почему вы считаете, что Гамлет, образованнейший человек из высшего общества, не мог склеить фразу по-латыни? И почему ему непременно по-английски говорить, когда он датчанин? По-датски, наверное, и говорил.

Верочка, вспомнив, что ее папаша занимал у Дубликатовой молотилку, смолчала. Но самой Дубликатовой этот разговор запал в душу, и стала она, в материнской своей заботе, обдумывать: «Репетитора все равно брать нужно. У Лизочки переэкзаменовка по немецкому, у Ванечки по немецкому, по французскому и по латыни, а Вареньку надо подготовить в старший приготовительный. Так вот и надо взять репетитора с языками, пусть учит их и

английскому, а то будут, как эта дура Верочка, думать, что Гамлет на петушьем языке кукарекал. Напишу в Москву мадам Червиной, пусть подыщет что-нибудь поприличнее и пришлет».

Сказано — сделано.

Мадам Червина откликнулась, и через две недели перед вдовой Дубликатовой сидел гладко причесанный и выбритый господин с энергичным подбородком и очень выпуклыми глазами.

— Да, — говорил господин, строго глядя на Дубликатову, поджимавшую пальцы, чтобы не было видно, как въелся в ногти сок от черной смородины, которую она все утро чистила на варенье. — Да, языки необходимы. Я берусь подготовить детей по-французски и по-немецки.

— И по-английски, — вставила вдова. — Я очень на этом настаиваю.

Господин сжал губы, подумал и сказал строго:

— Три языка сразу. Это было бы непедагогично, неметодично и, главное, недидактично. На последнем я особенно настаиваю, подчеркнув тем не менее два первых.

Сказал, губы поджал, голову нагнул и выкатил исподлобья белые глаза.

Но вдова не смутилась.

— Все это я, конечно, отлично понимаю, — ответила она, хотя не поняла ровно ничего, — но тем не менее считаю необходимым настаивать. Приглашая вас, я, собственно говоря, больше всего имела в виду английский. Или вы английским не владеете?

На это господин ответил:

— Странный вопрос.

И даже покраснел, так, вероятно, обиделся.

Английский язык был решен и выставлен в программе в первую голову.

В общем, новый репетитор Дубликатовой понравился. Одевался чисто, говорил мало и очень строго, занимался с детьми аккуратно, манерами обладал вполне приличными, вот разве только одно: любил иногда очень быстро, круглоразным движением указательного пальца обтереть рот. Но и это выходило у него вполне прилично.

Успокоившись с этим делом, вдова Дубликатова отдалась новой заботе — подготовке всего, что следует, к приезду сестры своей Лизаветы. Лизавета была персона самая важная из всей семьи — так сумела себя поставить. В ранней молодости вышла она замуж за богатого купца и, чтобы не почувствовать урону своему дворянскому корню, сразу задрала нос. Велела племянникам звать себя «тант Лили», вставляла в разговоры французские словечки, на все обижалась, всем возмущалась и, оставшись богатой бездетной вдовой, окончательно вознесена была над всей семьей. Ведь у нее три сестры да два брата, и от них одиннадцать нисходящих явных наследников. А если кого полюбит исключительно ярко, то может и пренебречь остальными нисходящими.

Вот в надежде на это небрежение и заманивали ее к себе и братья, и сестры с самым пламенным родственным гостеприимством.

И вот, умолив эту самую тант Лили приехать на лето, Дубликатова хлопотала, стараясь угодить изысканным вкусам сестры. Переклеила обои в двух комнатах — на выбор, что лучше понравится. Велела насадить роз самых нежных колеров, велела поить поросят молоком, настроила рояль и вывела мышей. Что еще больше может сделать любящее сестринское сердце.

Наконец Лили приехала.

Она была худа, желта, драпировалась в прозрачные шарфы блеклых тонов и тошно пахла гвоздикой.

Ото всего пришла в ужас. Про мальчика сказала вполголоса, как говорили актеры старинных театров, в сторону:

— Боже, какой урод.

Про девочек воскликнула:

— Боже, как ты их одеваешь?

Про самое Дубликатову проронила:

— Ну, можно ли так распускаться?

И хотя всех поцеловала, но с видимым отвращением.

Завтраком осталась в высшей степени недовольна.

— Что это за ужас? — спрашивала она.

— Картофель в мундире, — отвечала Дубликатова, краснея пятнами.

— Не понимаю, как вы можете? — возмущалась тант Лили, накладывая себе вторую порцию.

В общем, она, хотя и была в негодовании, но поела на славу.

На репетитора не обратила ни малейшего внимания.

Так потекли дни. Дубликатова лезла из кожи вон, чтобы угодить богатой сестре, — та ворчала, скучала, томилась.

— Отчего у вас нет никаких духовных запросов? — стонала она по вечерам. — Вы прозябаете, как звери. В вас нет ни жертвенности, ни жажды подвига.

— Ну, что же ты хочешь, Лили, дорогая, — мучилась Дубликатова. — Дети еще маленькие. Подожди, вот вырастут и начнут того... жертвовать.

— Ах! Ты ничего не понимаешь, — томно стонала Лили. — Ты живешь, как растение: животной жизнью.

И вот однажды утром пошла Лили мечтательно бродить. Проходя мимо флигеля, где жил репетитор, услышала она громкий мужской голос приятного тембра и большой твердости, который говорил: «Счастье есть сладость жизни, но не хлеб ее».

Сказал и еще раз мечтательно повторил то же самое.

Лили замерла на месте.

— Как интересно! Сидит и философствует.

После краткого перерыва голос раздался снова.

— Слезы суть жемчуг души, — твердо произнес он. — Не разбрасывайте его перед невеждами. — Потом прибавил: — Довольно!

За завтраком Лили внимательно присматривалась к репетитору и нашла, что у него незаурядная внешность.

— Этот человек создан, чтобы вести за собой толпы, — сказала она вечером своей удивленной сестре. Но та, хотя и удивилась, расспрашивать не стала. Слава богу, что хоть что-нибудь понравилось.

На другое утро Лили снова подошла к флигелю. На этот раз она, обойдя с другой стороны, увидела репетитора. Он сидел в кресле у окна и, глядя на облака, говорил:

— Семь раз примерь, а один раз отрежь.

Лили немножко удивилась несоответствию слов с позой, но продолжала наблюдать.

— Желай другому только то, чего желаешь себе. Чего желаешь себе. Чего желаешь себе, — дважды повторил этот замечательный человек и, встав с места, направился в глубь комнаты.

За завтраком дети были удивлены: на щеках тант Лили появился румянец клякспапирового цвета и роза у пояса. И она спросила у репетитора:

— Эрнест Иванович, любите ли вы телятину?

На что он сдержанно отвечал:

— Да, я охотно ем мясо.

И вытер рот указательным пальцем.

На следующее утро она снова пошла к флигелю и услышала, что «слава красоты умирает, но слава мудрости живет вечно».

Она не видела репетитора, но слышала, как голос его то приближался к окну, то отдалялся. Очевидно, он размышлял, шагая по комнате.

И снова, с еще большим напряжением, прозвучал его голос: «Сильные страдают молча».

Сердце Лили сжалось.

Он сильный, и он молча страдает. Достаточно ли ему платят за уроки? Эта пошлая Саша способна еще обсчитать его. Какой человек! Какая мудрость, какая сила! Как жаль, что так поздно встретила она его на своем пути...

И каждое утро стала она ходить к флигелю и слушать. Иногда было совсем тихо. Иногда как будто детские голоса. Может быть, дети приходили к нему заниматься и отрывали его от размышлений?

Однажды услышала она строгое речение:

— Кто украшает тело свое — достоин презрения. Кто украшает душу — заслуживает преклонения.

После этого она перестала носить брошку...

Как-то за обедом девочка Варя что-то болтала о том, как она даст подножку какому-то Сереже, чтобы он упал и нос разбил. И вот Лили, краснея от волнения, сказала:

— Варя! Не желай другому того, чего не желаешь себе.

И спросила дрожащим голосом:

— Ведь правда, Эрнест Иванович?

На это репетитор выкатил глаза, обтер рот пальцем и сказал, пожав плечами:

— Как пропись — это отлично. Но если вы, например, играете в карты, так не можете же вы желать, чтобы ваш противник выиграл.

— Ах, я ни за что никогда не стану играть в карты! — воскликнула Лили. — Это так ужасно.

Он опять пожал плечами.

В другой раз, увидя, как Дубликатова расправила на девочкином платьице бантик, Лили воскликнула:

— Ах, Саша, не приучай ее украшать тело! Не правда ли, Эрнест Иванович?

Тот удивился.

— Почему же? Наоборот, я нахожу, что это очень хорошо. Нахожу и подчеркиваю.

Лили удивилась и даже как будто испугалась.

— И это вы говорите? Вы?

— Ну да, я. Чему вы удивляетесь? Я придаю большое значение внешности.

Но тут уж она сразу поняла, что он иронизирует, и нежно рассмеялась.

Переполненное сердце облегчает себя словами. В один прекрасный вечер Лили, с пылающими щеками, сказала сестре:

— Какой удивительный человек Эрнест Иваныч! Я иногда случайно прохожу утром мимо флигеля и слышу, как он говорит сам с собой. И как все, что он говорит, значительно и глубоко.

— Когда же он говорит, не понимаю... Ах, да, это ведь он детям переводы диктует. Он ведь взят с языками.

— Какой вздор! — рассердилась Лили. — Вовсе это не переводы. Ты вечно все стараешься опошлить.

И ушла.

Ушла, но в душу Дубликатовой заронила немалую тревогу. Тревога выразилась определенной формулой:

— Дуреха влюбилась.

«А что, если так дальше пойдет, и тот гусь все это заметит, да пронюхает, что она с деньгами, да, чего доброго, женится?»

Думала Дубликатова, думала до сердцебиения, до валерьяновых капель. Даже заснуть не могла.

Утром решила:

— Гнать его со всеми языками. Но как гнать?

И тут повезло. Лили простудилась, слегла. Увидя, что она, на худой конец, дня три проваляется, Дубликатова позвала к себе Эрнеста Иваныча и сказала, что, к сожалению, принуждена с ним расстаться, что послезавтра должна ехать гостить со всеми детьми и вообще ничего не поделаешь.

— Это жаль, — сказал Эрнест Иваныч. — Дети сделали большие успехи, а особенно в английском, что я и подчеркиваю.

Дубликатова жалась, мялась, но в конце концов решительно распростилась с репетитором.

Известие об этом происшествии произвело на тант Лили самое потрясающее впечатление.

— Но пойми, — успокаивала ее Дубликатова, — пойми, что я здесь ни при чем. Он сам сказал, что получил известие из дому, что его жена или кто-то там из семьи нездоров.

— Жена! — воскликнула тант Лили. — Такие люди не бывают женаты. Он... он... слишком велик... то есть высок...

Она не пережила этого удара, то есть не пережила в деревне, и уехала переживать за границу.

Но репетитор Эрнест Иваныч, хотя и исчез из жизни Дубликатовой, но не бесследно. След остался, и довольно занятный. Когда детей повезли в Москву отдавать в школу, то выяснилось, что они абсолютно английского языка не знают. Они довольно бойко переводили и рассказывали на каком-то странном языке, но на каком именно — никто понять не мог. Репетитор учил их не по книжке, а из головы. Дубликатова была в ужасе.

— Это был сам дьявол!

Много времени спустя установили, что язык, который репетитор всучил им вместо английского, был эстонский. И вдолбил он его в детские головы так прочно, что, несмотря на мольбы матери и собственные страдания, они так его никогда и не забыли.

А вдова Дубликатова остро возненавидела Шекспира. Потому что, собственно говоря, с него все и началось.

Но так как Шекспир никогда об этом не узнал, то, пожалуй, и останавливаться на этом не стоит.

Старинка

Герой этого бурного и не совсем обычного романа, судя по уцелевшим портретам, был крупный, широкоплечий, бровастый. Изображался либо в венгерке нараспашку, как любили щеголять помещики того времени — начала девятнадцатого столетия, — либо в пышной шубе на бобрах и мохнатой шапке.

Рода он был старинного и славного, от тех бояр, которые царям в лицо правду говорили.

Может быть, именно от этой правды к тому времени и растерял этот род почти все свои богатства и привилегии.

Звали героя Константин Николаевич Утома-Стожаров. Последний отпрыск знаменитой семьи.

А роман его был таков: приехала на Святки к соседним помещикам молоденькая их родственница, богатейшая девица, единственная дочь князей Курмышевых.

Маленькая, тоненькая, чернобровая, с глазами горячими и упрямыми, понравилась она Стожарову до отчаянности. Как вышло дело — неизвестно, но почему-то, вместо того чтобы, как полагается, благородным образом объясниться и посвататься, он выкрал девицу и повенчался самокруткой, подкупив попа. Все было так обставлено, как будто княжна случайно одна вышла вечером в парк, воздухом подышать. И вот подкатила тройка, выскочили двое, подхватили девицу, накинули ей шубу на голову и умчали неведомо куда.

Странным только показалось, когда эту страшную историю рассказывали, что пошла девица дышать воздухом одна, на ночь глядя, по глубокому снегу и в самое глухое место парка.

Ну, да все это, конечно, пустяки, и кому какое дело. И все было бы хорошо, только папаша у княжны оказался очень крутой. Чересчур даже крутой. Он так разбушевался, что пошел чуть не войной на своего обидчика. Собрал дворню, мужиков и покатил отбивать дочь.

Стожаров войны не испугался, но жену для безопасности спрятал в женском монастыре.

Разбушевавшийся князь, не найдя дочери, поехал в Питер — жаловаться государю. Подняли целое дело, длившееся

несколько лет. А пока старик бушевал, молодая Стожарова жила в монастырском домике, куда частенько, но тайно, заезжал к ней венчаный муж, и за шесть лет своего затворничества родила она двоих ребят — сына Николая и дочь Марью.

Дети росли в монастыре, жили жизнью полумонастырской, считали мать свою монахиней и, когда хотели выйти поиграть за ворота, кланялись в землю и просили:

— Разреши, матушка, в мир пойти.

Так прошло шесть лет. На седьмой год злющий старик умер, совсем было добившись развода для своей строптивой дочки. Она осталась единственной наследницей и переехала с детьми и мужем в свое имение. Тут выяснилось, что старик просадил на суды и кляузы чуть не все свое состояние.

Зажили Стожаровы на своей воле. Довольно дико зажили. Ссорились, бранились и любили друг друга как бешеные. Он ходил с арапником, щелкал собак, щелкал дворовых, гуляла плеточка и по жениной спине. И даже частенько.

Дворовые молодую хозяйку не особенно долюбливали. Вернее всего, что не нравилась она им своей худобой, смуглотой, чем-то острым, осиным, что было в ее лице. Не было в ней русской барской пышности, плавности, добродушия, некоей приятной дурости.

— Ишь, — говорили про нее, — змеища черная!

А была на деревне дура — зиму и лето в одной рубахе ходила и босиком — так дура эта сказала:

— Как есть змеища, только рогов и не хватает.

Деревенцы долго над этим думали, все боялись, нет ли тут какого дурного предсказания. Но так ни до чего и не додумались, а было тревожно.

Змеища была упрямая. Сам тоже уступать ей ни в чем не хотел, вот и грызлись. Дворовые девки тайно прозвали барыню «стрижено-брито». А значило это, что она, как в сказке про упрямую жену, которая мужу наперекор твердила «стрижено», когда муж говорил «брито». Все твердила «стрижено», пока муж ее не утопил. А когда захлебнулась насмерть, поплыл ее труп против течения, и рука из воды высунулась и двумя пальцами в воздухе тыкала — «стрижено», мол.

Прожили они бурно, но недолго, как-то на охоте хлопнул его удар.

Принесли его в дом умирающего, положили на диван, побежали за барыней.

Прибежала барыня, побелела вся и кричит:

— Да как же ты смеешь, подлец?

А он один глаз приоткрыл, увидел ее и стал холодеющей рукой шарить по стенке. Искал свой арапник.

Когда его хоронили, шла она за гробом и неладом причитала:

— Пес, верни-ись! Пе-с, побрани-ись!

Совсем так не полагается.

Оставшись вдовой, Стожарова замуж больше не вышла. К детям своим никакой нежности не проявляла. Особенно равнодушна была к девочке, которую быстро выдала замуж за помещика в дальнюю губернию и как бы окончательно о ее существовании позабыла.

Сына дома воспитывать не стала, а отослала его в дворянский пансион и мало интересовалась его жизнью и успехами в науках.

Когда он, уже студентом, приехал к ней на целое лето, она проявила наконец некоторое к нему внимание. Внимание это выражалось в том, что она каждый день говорила ему по одной, а то и по две неприятности и каждый раз внимательно смотрела, как это на него действует.

Но он как будто ничего и не замечал. А иногда так даже от души смеялся.

Внешне он был очень на нее похож. Ничего от Стожаровых, говоривших царям правду в лицо, у него не было. Те были огромные, плечистые. Он же был роста среднего, нервен, подвижен, сух. Лицо темноватое, как точеное из слоновой кости, тонкий, с горбинкой нос, горячие глаза. Любил книги. Читает, оторвется — прищурит глаза, думает, улыбается.

Мать приглядывалась к нему внимательно, как будто не все в нем понимала. И все искала, в чем его уязвимость, как бы его так кольнуть, чтобы вскрикнул.

Сидит за столом против него, ноздри вздрагивают, брови одна выше другой, губы сжаты.

Змеища!

— Странный ты, — говорит, — Николашка. Похож на семинариста. Уж не глуп ли ты, грехом, — вот чего я боюсь.

А сын улыбается, и вздрагивают похожие, как у нее, тонкие ноздри.

— Чего же ты, как неуч, все в книгах ищешь? Пора бы уж и своим умом жить.

— Ничего, маменька, не бойтесь, — улыбался Николай. — Постараюсь, как можно скорее.

Стожарова, хоть и сильно разорилась, но дом держала в порядке и девок дворовых приближала к себе с выбором — красивых, чистых, здоровых. Одевала их в домотканину, и шились им платья по крепостному расчету, чтобы материалу выходило поменьше, — коротенькие, узенькие и без рукавов. Толстым, неуклюжим девкам придавал этот покрой вид не только безобразный, но даже и непристойный. Стройным, легконогим красавицам подчеркивал их природные достоинства выгодно и лестно.

Была, между прочим, среди таких приближенных некая Матреша, сильная, статная, чернобровая, с узеньким белым проборчиком ниточкой, рассекающим черные, блестящие и тяжелые, высоко и туго вплетенные в косы волосы.

Прически девки носили все одинаковые: две косы, высоко заколотые вокруг головы, чтобы открыт был весь затылок. Барский глаз сразу мог видеть, чистая ли у девки шея. Прическа отменно безобразная, но Матрешу и это не портило.

Нрава она была спокойного, но чувствовалось, что не очень-то простовата, а скорее себе на уме.

Ходила неслышно, звенела ключами, любила опускать ресницы, но не робко и не застенчиво, а даже как бы с достоинством, точно не желала глаза показывать.

И вот однажды, войдя в залу, увидела Стожарова, как эта самая Матреша влезла на лесенку и вытирает тряпкой хрустальные подвески на люстре. А у окна сидит ученый студент Николаша, книгу на пол уронил и смотрит на круглые розовые Матрешины икры, смотрит изумленно и радостно, так что даже рот приоткрыл.

Маменьки он совсем и не заметил. А та долго молча глядела то на него, то на Матрешу, потом усмехнулась, тихонько притворила дверь и ушла, очень чем-то довольная.

На другой день Николай, собиравшийся в скорости уехать, сказал, что решил отъезд немножко отложить. Спешить некуда, погода хорошая. Говорил деловым тоном и в глаза не смотрел.

— Так, так, — одобрила маменька и ехидно прибавила: — Вижу, что тебе мое общество полюбилось.

Сын на ехидство внимания не обратил. Стал меньше сидеть над книжками, часто уходил в парк.

Матреша чуть-чуть посмеивалась, попыхивала. В ушах у нее появились сережки с камушками.

Однако долго Николай не засиделся. Пришло какое-то письмо, и по этому письму нужно было немедленно ехать в Питер.

Что-то было в этом нежданном вызове приятное. Николай сразу зажегся, вдохновился, уложился, рассеянно попрощался и уехал, даже не оглянувшись на крыльцо, где по традиции стояла мать, окруженная почтительно-любопытными рожами челяди.

Проводив сына, старуха долгое время приглядывалась к Матреше. Та была все такая же спокойная, только чуть-чуть побледнела да вынула из ушей сережки с камушками.

На следующее лето студент не приехал, а зимой прислал письмо, в котором в очень восторженных выражениях сообщал, что собирается жениться на неземной девушке, похожей на Мону Лизу Джоконду. Еще не зная ее, он дал слово ее умирающему брату, своему любимому другу, жениться на ней. И вот, похоронив друга, разыскал его сестру, жившую у своей тетки, и был поражен и ослеплен, и теперь счастлив безмерно и просит разрешения привезти невесту с ее теткой для знакомства, одобрения и благословения.

Стожарова ответила:

«Генваря, пятого дня.

Любезный сын Николай!

Рада буду видеть у себя твою невесту с тетками и заранее выбору твоему благосклонна и, наверное, она хорошего рода, а ты из скромности умалчиваешь. Жду тебя с нетерпением.

Любящая тебя мать

Варвара Утома-Стожарова».

Через две недели Николай приехал.

Приехал Николай, как сказано, с невестой и с невестиной теткой.

Тетка была так себе старушонка, и говорить о ней особенно нечего. Главное дело — невеста Мона Лиза Джоконда — Катерина Васильевна Парфентьева.

Надо сказать правду — она, действительно, была похожа на Джоконду. Это-то и выходило особенно смешно, потому что внешность ее, несмотря на это сходство, никаких восторженных настроений и потрясающих поэтических мыслей не вызывала. Была Катерина Васильевна кругла, пухла, лобаста и безброва. Улыбалась напыщенно сжатыми губами. Глаза светлые, голубовато-серые, чуть навыкате. Смотрели с неизъяснимо бараньим равнодушием. Руки складывала накрест под ложечкой. Росту была довольно высокого, движения плавные, разговор спокойный. Часто говорила: «Ну́жды нет» (с ударением на «у»).

— Пусть себе. Ну́жды нет. Я ему зла не желаю, — И тут же прибавляла: — Пусть его Бог накажет в самом дорогом.

Обыкновенно все обращали внимание только на начало фразы: «Я ему зла не желаю». И, основываясь на этом начале, считали Катерину Васильевну добрейшей души человеком. Пожелание же, чтобы Бог наказал в самом дорогом, могло бы навести на мысль о лютой ее жестокости. Подумать только — «в самом дорогом»! Но тут бы и ошиблись, потому что произносилась эта фраза без всякой злобы, спокойно, кругло и как бы даже ласково. Просто, предоставлялось Богу расправиться со злодеем, а наше дело, мол, сторона.

На Варвару Григорьевну, будущую свою свекровь, Катерина Васильевна произвела впечатление самое удивительное.

Смотрела на нее Варвара Григорьевна во все глаза и все сама себе приговаривала:

— Ну-ну! Ну-ну!

И лицо у нее было такое, что казалось, будто не выдержит и расхохочется.

Николай посматривал на мать подозрительно, с невестой же обращался нежно и почтительно и, видимо, влюблен в нее был до восторга.

Старуха была с ней любезна, сама проводила ее в спальню и даже побеспокоилась:

— Смотри, Катерина, если будет холодно, вели в печку дров подкинуть.

А невеста отвечала спокойно:

— Ну́жды нет. Будет холодно — прикроюсь.

— Ну-ну, — покачала головой Варвара Григорьевна.

Поздно вечером прибежал к ней в спальню сын. Взволнованный, растревоженный, счастливый.

— Ну что? — спрашивает. — Ну как?

И лицо у него все было приготовлено к радостной, торжествующей улыбке.

— Ты это о чем же? — равнодушно спросила мать.

— Ах, боже мой, да о ней. Понравилась? Ну говорите же — понравилась?

Старуха спокойно перебирала в вазочке лампадные фитилечки.

— Да я, свет мой, как говорится, еще толком не приглядела́сь. Вот как пригляжусь, так прямо все и выложу. Не бойся. Чистосердечия у меня не занимать стать.

Метнула на него глазком и снова за свои фитилечки.

Николай сразу угас, потемнел, сжался и ушел.

Прожили они так деньков пять.

Катерина Васильевна все такая же круглая, спокойная, и ни до чего ей «ну́жды нет».

Старуха рот поджимает, ноздри у нее так и ходят. Тетка сбитень пьет и чулки вяжет.

А Николай горит. Декламирует стихи, рассказывает, фантазирует. Очень он в то время увлекался римской историей. Рассказывал ярко, художественно, вдохновенно.

И случилось ему, на второй день по приезде, мешая в камине, обжечь себе углем руку. Образовалась корочка. И вот, когда он, рассказывая, входил в особый азарт, всегда невольно, от нервности что ли, начинал тереть этот ожог. И всегда спокойная Катерина Васильевна плавным своим голосом перебивала его пламенную речь и остерегала.

— И вот на этой самой площади властолюбивая безумица проехала на колеснице по трупу своего мужа! — с горящими глазами декламировал он.

— Нужды нет! — останавливал его спокойный будничный голос. — И зачем вы опять бередите себе руку? Ну, проехала какая-то бесстыдница по своему мужу — и нужды нет. Зачем же руку бередить?

На шестой день пришел Николай к матери уже не такой бурно-пламенный, как в первый вечер, посмотрел на мать недоверчиво и спросил:

— Как же, маменька, ваше решение? Благословляете ли вы меня на брак с любимою мною девушкой? Понравилась ли вам Катерина Васильевна?

У Стожаровой нос побелел, губы задрожали.

— Что ж, — словно прошипела она. — Почему ж не благословить? И то сказать: умна, грациозна. Самая будет настоящая Утома-Стожарова. Только тут у меня ей жить не приходится. Чай сам понимаешь, что такой барыне надо в столицах сверкать. Ты ее туда и вези. Я уже все и обдумала. Я мать, я должна о тебе заботу иметь. Пенсион тебе оставлю, какой был. Уж не взыщи, прибавлять не с чего. А для облегчения домашних забот пришлю вам свою дворовую девку, хорошую работницу. Твоя Катерина будет благодарна.

Слова сказаны как будто добрые, но такая нервная, злостная тревога шла на сына от этих побелевших губ, от вздрагивающих ноздрей, от пальцев, сжимавших ручки кресла, что он даже не нашелся, что ответить. Пробормотал растерянно:

— Пусть все будет по-вашему, как вам угодно, и спасибо вам за Катерину Васильевну.

После этого разговора он так и не наладился на прежнее настроение, быстро собрался и уехал, взяв с матери обещание приехать на свадьбу. Невесту с теткой увез с собой.

Варвара Григорьевна на свадьбу не приехала. Написала, что тяжело ей, старухе, такую дорогу ломать, а заочно благословляет. Прислала икону Казанской Божьей Матери в серебряном окладе, старинную, семейную. И прислала еще, как обещала, дворовую девку для услуг, еще раз повторив, что Катерина за эту девку благодарить будет.

Девка эта была Матреша.

* * *

Зажили молодые не пышно в небольшой квартирке на Васильевском острове.

Николай Константинович скоро угомонился насчет Моны Лизы. Может быть, отчасти повлияло на него насмешливое недоумение приятелей, которых он предупредил об удивительно художественной внешности своей жены.

Один из приятелей, прославленный своим остроумием молодой профессор уголовного права, необычайно ярко изображал в лицах, как восторженно рисовал перед ним Николай облик своей невесты. Как они волновались, внимая ему. Он подготовлял их к этой встрече.

— И вот, — рассказывает профессор, — дверь открылась...

Здесь он делал паузу и заканчивал упавшим голосом, скороговоркой:

— ...И вошла Катерина.

Все, кто видел жену Николая и могли представить себе эту Катерину, после восторженного предисловия покатывались со смеху.

Дошла ли эта история до слуха Николая, или сам он как человек умный понял, что над ним посмеиваются, только он быстро прекратил свою декламацию. А может быть, и вообще поуспокоился.

Он ушел с головой в книги, стал сотрудничать в журналах, читать лекции. Влюбленные курсистки только что открытых высших женских курсов стаями забегали в маленькую квартирку молодого ученого. Приносили цветы, просили автографов, ревновали, ссорились, обожали, угрожали.

Бывшая Мона Лиза окончательно выпучила глаза и смотрела на непонятную для нее жизнь, как баран на новые ворота.

— Матрена! — говорила она своей слуге. — Опять стриженые приходили. Открой форточки, табачищем пахнет. И чего они все тарантят? Выходили бы лучше замуж.

— Божественный! Единственный! — доносилось через запертые двери кабинета. — Расскажите еще! Каждое ваше слово...

— И не вари ты, Матрена, сегодня щей. Он со стрижеными сегодня разволнуется, а от щей начнет его пучить, будет сердцебиение. Начала варить? Нужды нет, оставь.

Матреша работала усердно, но, совершенно явно и не скрывая, презирала свою новую барыню. К Николаю Константиновичу относилась с подчеркнутой покорностью, говорила с ним опустив ресницы, иногда исподтишка вскидывала глазком неодобрительно.

Прожила год, потом как-то вошла к Катерине Васильевне решительным шагом и сказала задыхаясь:

— Вы меня, барыня, отпустили бы в деревню съездить. У меня там сын растет.

— Ну что ж,— спокойно отвечала Катерина Васильевна. — Неудобно будет без тебя, да нужды нет, отпущу тебя на побывку. Ну, иди себе.

Матреша еще больше задохнулась и не уходила.

— Да, барыня, у меня там сын растет. Дмитрий Николаевич. Николаевич он.

И остановилась, злобно глядя на круглую спокойную барыню. И, видя, что та молчит, повторила:

— Я говорю, что Николаевич он. Николаевич, вот что!

Катерина Васильевна сложила руки под ложечкой:

— Ну, что ты, Матрена, право, заладила: Николаевич да Николаевич. Я тебя отлично слышу и отлично понимаю, и ну́жды нет. Привези его сюда, пусть живет при тебе, авось не объест.

Матрена от удивления даже побелела вся. Ничего не сказала, повернулась и вышла. В деревню все-таки поехала и своего Николаевича привезла.

Катерина Васильевна заботилась о ребенке, но никогда ни одним словом не напоминала Матреше об их разговоре; Матрешу стала называть Матреной Федоровной.

Та отвечала ей пламенной, фанатической преданностью.

Мальчишке дали образование. Из университета его выгнали за политику, он уехал в Женеву и много лет спустя «поработал на благо родины».

Николай Константинович никогда не замечал ни его, ни его матери. Жизнь Стожарова вращалась в другой орбите, у самого солнца.

О ней можно было бы рассказать много. Но уже не иначе, как назвав его настоящим именем, для чего сейчас нет надобности.

Умер он от чахотки уже в преклонном возрасте. Умер красиво, «по-тургеневски».

Получил утром какое-то письмо, весь день все его перечитывал и грустно и счастливо улыбался.

А вечером нашли его в саду мертвым. Он сидел в плетеном кресле, у пышноцветного розового куста, держал в руке письмо и, низко склонив голову, прижался к нему губами.

Сошли в сад Катерина Васильевна и Матрена Федоровна, обе в одинаковых коленкоровых ночных чепцах и старушечьих бумазейных юбках в сборку.

Тихо ахали, качали головами и согласно жалели, что не догадались загодя послать за батюшкой.

Моя Испания

В Петербурге зимой так темно, что у нас в классе только один урок — между одиннадцатью и двенадцатью — проходил при дневном свете, а утром и с часу дня уже при лампах.

Я сижу около окна и смотрю в голубые мутные сумерки. Пухлая перинка лиловатого снега лежит на подоконнике. Легкие снежинки порхают в воздухе, сливаются в туман. Это от яркого желтого света больших керосиновых ламп там, за окном, все такое странно-сиреневое, грустное и невыносимо холодное. Завораживает зимняя сказка, уводит мечту в далекие снежные степи, в непроходимые леса, заваленные сугробами, где в глубоких берлогах спят мудрые медведи, прыгают по веткам проворные белки и рыщут голодные волчьи стаи...

Я рассеянно слушаю учителя истории. Но вот какой-то луч скользнул от его слов. Я насторожилась.

— Испания.

Он говорит об Испании!

Какое волшебное слово! Есть особая магия в звуковом названии каждой страны. Я не знаю, откуда берут начало

эти имена. Вероятно, филологи знают. Для меня, пятнадцатилетней девочки, они непонятны, но магию этих имен я чувствую. ИСПАНИЯ. Отчего при этом имени кровь сильнее приливает к сердцу? В чем дело? В ударении на этом широком «а», в созвучии «спа», в котором солнце. «С» звенит, «п» поет, «а» радуется. И все вместе — солнце.

Я не была в Испании, но как ярко я ее чувствую! Да и все мы, русские, как мы ее любим! Ее красоту, ее искусство, ее темперамент и всю ту яркую, жестокую и вольную радость, которая не дана нам, северянам.

Учитель рассказывает о мавританском стиле, о единственной в мире красоте архитектурных памятников. Потом смолкает и, закрыв глаза рукой, тихо говорит:

— Всю жизнь я мечтал, что, может быть, на закате дней моих удастся мне поехать поклониться этой бессмертной красоте.

Он замолчал, и в классе стало тихо-тихо. И сумерки за окном сгустились, и ночь подошла ближе.

И вот через всю жизнь пронесла я это воспоминание: холодный зимний вечер, мутный сиреневый туман и этот старенький учитель, глядящий закрытыми глазами в жаркие видения своей мечты.

Кто-то вздохнул около моего плеча. Это моя соседка, моя подруга Мара. Я вижу ее розовую щеку, пушистые золотые кудряшки.

— Мара, — шепчу я. — Мара! Поедем в Испанию. Мы теперь уже не сможем жить без Испании.

Мара вздыхает и тихонько, под столом, жмет мне руку. Это значит, что мы будем вместе мечтать.

У нас всегда были общие мечты. То мы собирались поступить в цирковые акробатки, то пойти в монастырь (да не просто, а непременно сделаться святыми и исцелять больных), то организовать крестовый поход и освободить Гроб Господень от рук неверных, то ходить по дворам, крутить шарманку и петь, как Маруся отравилась, и нам будут бросать медяки, которые мы отдадим неимущим. Была еще мечта — выйти замуж за фокусника. Уж очень было бы весело с таким мужем. Нальешь ему чаю, а он из своей чашки вытащит живого зайца.

Придумывала эти увлечения большею частью я, а Мара только разделяла их и сочувствовала.

Все это захватывало нас ненадолго. Но мечта об Испании, вероятно, оттого, что зажглась она в нас в такой художественно нужной для нее обстановке, сильно и надолго поразила воображение. Мы повернулись к ней всем лицом нашей души, как цветы к солнцу. И жизнь помогла нам в этом отношении.

Как раз в это время у нас с особенным интересом занимались испанской литературой, театром, искусством, танцами. С огромным успехом шли пьесы испанского драматурга Лопе де Вега. Приезжие испанские танцоры завораживали своей, такой новой для нас, гордой красотой. Все наши белые пухлые Наташи и Маши щелкали кастаньетами и топали каблуками. Даже модный салонный танец был тогда «па д'Еспань».

Если говорить о психологии танца, то необходимо отметить редкое сочетание в испанском танце темперамента и благородства. Вся фигура кавалера, все его позы и жесты — гордые. Испанская женщина в танце горячая, но недоступная. Ни один народный танец не дает такого яркого и удивительного сочетания. Русская пляска — очень лихая и удалая, венгерская — бешеная, французская — унылая, немецкая — сладкая и тихая. Настоящий танец, как роман в ритмическом музыкальном движении, дала только Испания. И только она открывает нам красоту страстной и гордой души своего народа.

Русская литература много занималась Испанией. Профессор Жаков, по рождению зырянин, сын Крайнего Севера, читал в университете курс о Сервантесе. «Жизни человеческой мало, чтобы изучить этого замечательного писателя».

Наш известный поэт Федор Сологуб проводит в своих сочинениях идею, излучающуюся из русского восприятия души Дон-Кихота. «Возьму кусок жизни низкой и грубой и сотворю из нее легенду. Из Альдонсы, бабищи румяной и пошлой, создам Дульцинею».

Вспоминали и декламировали стихотворение Пушкина о «Рыцаре Бедном», о Дон-Кихоте. Перечитывали роман Достоевского «Идиот», героя которого прозвали Дон-Кихотом. Он немножко смешной и трогательный, с духом высокого христианского подвижника, и сохраняет в себе все черты Рыцаря печального образа.

Два бессмертных типа дала человечеству Испания — Дон-Жуана и Дон-Кихота. Эти два типа так вошли в жизнь,

что иногда стали как бы прилагательными для определения мужского характера. Все любители женщин называются у нас донжуанами. Все люди неподкупно честные, жертвующие во имя принципа собственными интересами, носят имя Дон-Кихота.

Русские женщины не особенно ценили донжуанов. Их вышучивали и высмеивали. Одна дама как-то рассказывала, что провожал ее домой известный в Петербурге донжуан, адвокат Т—в прижал ее руку к своему сердцу и говорит:

— Дорогая, скажите «да» — и этот дом будет вашим.

— Какой дом? — удивилась дама. — Ведь это же Зимний дворец.

— Все равно, — отвечал донжуан. — Для моего чувства нет преград.

К Дон-Кихоту русские сердца относились с нежностью. Ему прощалось все смешное и нелепое. В нем видели РЫЦАРЯ.

* * *

Наша с Марой мечта об Испании то меркла, то вспыхивала с новой силой. И вот, года три спустя после рассказа учителя, оказались мы с ней обе на юге Франции, где семья Мары проводила лето. И как-то, гуляя, увидели мы в окне магазина учебник испанского языка. Назывался он «Разговор с испанцем».

— Купим «Разговор»?

— Купим.

«Разговор» оказался очень поучительным.

«Кто гуляет в нашем саду?» — «В нашем саду гуляет старый профессор с коровой своего племянника». — «Сколько лет собаке вашего друга?» — «Собаке нашего друга тридцать лет, но палка брата вашего почтальона находится в комнате жены сына юного школьника».

Все это было очень трудно, но, очевидно, совершенно необходимо для первого общения с испанцем.

Изучение этого руководства (мы дошли до десятого урока) натолкнуло нас на мысль поехать, хоть не надолго, в Испанию.

Мать Мары ничего не имела против нашей затеи. У нее в Мадриде уже давно жил брат, старый женатый господин, у

которого мы могли бы остановиться. На лето он переезжает на дачу в какой-то маленький городок. Конечно, о том, чтобы мы болтались одни по отелям, не могло быть и речи.

Мы сначала протестовали, напирали на то, что нам уже по восемнадцати лет, и каждая из нас могла бы быть матерью семейства. Доводы наши не помогли. Оставалось или остановиться у дядюшки, или оставаться дома.

Послали телеграмму и в ожидании ответа принялись снова за «разговор с испанцем». Дошли уже до сослагательного наклонения: «Был ли бы счастлив кучер, если бы выкрасил крысу в голубой цвет».

О счастье кучера мы не узнали, потому что пришла ответная телеграмма. Короткая и без всякого восторга. Просто: «Пусть приезжают».

Мы сначала решили обидеться, но потом подумали, что выгоднее будет отнестись ко всему просто и мило. Старик, наверное, с причудами. Если бы не хотел нас видеть, так придумал бы какой-нибудь предлог. Телеграмма составлена неудачно, но в душе он, конечно, очень рад. Так и решили, что очень рад, и стали укладываться. Возбужденно и нервно болтали о бое быков, донжуанах, серенадах, о дворцах и музеях. Мара была легкомысленнее меня, поэтому кастаньеты и донжуаны занимали ее больше, чем дворцы и музеи. Меня они тоже занимали, но я ни за что бы в этом не призналась. В то время я выработала себе позу холодной и деловитой женщины, так называемой умницы. Поза была скучная и не совсем честная, но вызывала одобрение взрослых и уважение Мары с легким оттенком зависти.

Вечером, снабдив коробкой шоколада и строгими наставлениями, усадили нас в поезд.

Поездка предполагалась очень веселая, но ночь, проведенная в душном дамском отделении, сильно нас утомила. Вдобавок Мара схватила насморк, и въезжать с красным носом в Испанию, в страну солнечной мечты, казалось ей настоящей трагедией. Мы обе были в дурном настроении.

Станция, цель нашего путешествия, оказалась совсем маленьким захолустным вокзальчиком. По платформе толклись какие-то мужики с мешками и пилами и нервно ходил большими шагами прилично одетый молодой человек

мрачного вида. Он посмотрел на нас, сдвинул брови и стал протискиваться через толпу прямо к нам.

— Смотри, — сказала я Маре, — вон какой-то испанец идет к нам. Это не твой дядя?

— Молчи, — шепнула Мара. — Начинаются испанские романы. Веди себя сдержанно.

Испанец подошел и спросил:

— Мара Линова?

— Да, да! — закричали мы по-испански. «Да» — слово легкое, из первого «Разговора с испанцем».

— Здравствуйте, — отвечал он нам по-русски. — Я секретарь. Я вас сразу узнал.

— Почему же вы нас узнали? — кокетливо спросила Мара.

— Да ваш дядюшка сказал, что, как вылезут из вагона две растерянные индюшки, — это и будут мои племянницы.

Я очень обиделась.

— Я вовсе не племянница, — гордо сказала я. — И очень этому радуюсь. А, во-вторых, мы ничуть не растерялись. Мы привыкли путешествовать.

Мара посмотрела на меня удивленно — никогда мы с ней не путешествовали. Но, кажется, была довольна. Поставили нахала на место.

— Надеюсь, дядя здоров? — спросила она самым светским тоном.

— Дядя? Ваш дядя, конечно, болен. Впрочем, в нашем доме все всегда больны, так у нас полагается. И люди, и собаки.

— Что же с ним?

— Не знаю наверное. У собаки чесотка. Кажется, у дяди тоже. Он вчера уехал в Мадрид.

— Что же он там будет делать, раз у него чесотка?

— Не знаю. Будет чесаться.

Мы с Марой молча переглянулись.

Подошел шофер, подхватил наши чемоданы и понес их к выходу.

Сели в автомобиль. Я молчала. Мара сморкалась. Нос у нее был красный. Мы старались не смотреть друг на друга — так нам обеим было неловко за этого дурацкого секретаря. И неизвестно, что еще ждет нас впереди. Уж очень все складывалось беспокойно и невесело.

Ехали по узеньким тряским улицам очень недолго. Никакой Испании не чувствовалось.

У дяди оказался довольно большой дом с садом. Вошли в переднюю.

— Подождите здесь, сказал секретарь. Я пойду предупрежу вашу тетку.

Говорил он шепотом и как-то сразу утратил всю свою уверенность.

Мы стояли около наших чемоданов и, вероятно, действительно были похожи на двух растерянных индюшек.

Ждали довольно долго. Наконец, откуда-то из глубины вышла высокая пожилая дама с желтыми, взбитыми надо лбом, волосами. Первое, что я поняла — дама немодная и очень сердитая.

— Которая из вас? — строго спросила она.

— Я, — кротко отвечала Мара.

— Значит, вы не получили моего письма?

— Мы получили телеграмму от дяди, что мы можем приехать, — лепетала Мара.

— Да, но я послала вдогонку письмо, что лучше не надо. Приглашать гостей из Франции, где сейчас такая ужасная эпидемия гриппа и так легко занести ее к нам, было очень легкомысленно со стороны моего мужа.

Она вдруг остановилась и уставилась прямо на Мару.

— Отчего красный нос? — в ужасе воскликнула она. — Нос! Нос красный!

— У меня просто насморк.

— Насморк! — всплеснула руками тетка. — Вот оно то, чего я боялась. В постель, в постель, сейчас же в постель! Лиза! — закричала она, повернувшись к боковой двери. — Вы ждите здесь. Я сейчас распоряжусь, чтобы вас уложили.

Она быстро выбежала, сейчас же снова вернулась, схватила Мару за руку, вернее, за рукав, и потащила за собой. Я молча следовала за ней.

— Сейчас же раздеться и лечь, — скомандовала тетка. — Три дня на полной диете, полный покой, а там видно будет.

— А я? — робко спросила я.

— Вы можете пока еще не ложиться, но из комнаты вам выходить абсолютно запрещается. Вы, наверно, уже захва-

тили болезнь и совершенно ни к чему разносить ее по всему городу. Будете сидеть вместе. Вечером вызову доктора.

Она вышла, нюхая какой-то флакончик, который вынула из кармана. В комнате осталась горничная. Горничная стояла, сложив руки на животе, и смотрела на нас по очереди вопросительно.

Я вынула из сумочки испанский словарь и спросила ее, как ее зовут.

— Меня зовут Лиза, — отвечала она по-русски. — У нас весь дом русский. Если что нужно, позвоните. Кушать вам подадут сюда.

— Нам ровно ничего не нужно, — сказала Мара. — И пожалуйста, уходите.

Горничная ушла, а Мара села на постель и заплакала.

Так просидели мы в карантине три дня.

Приходил доктор, что-то спрашивал, но так как в его фразах не было ничего ни про племянника, ни про собаку, то мы ровно ничего не поняли. Он все-таки приложил свое мохнатое ухо к нашим спинам, посчитал пульс, потрогал гланды и ушел, погрозив нам пальцем. Мне кажется, он заподозрил, что мы притворяемся больными, чтобы для чего-то надуть тетку. Вид у него был какой-то лукавый.

Еду приносила сама Лиза. Она сказала, что, судя по газетам, за границей страшная эпидемия и тетка боится заразы.

Марин насморк давно прошел, но она ужасно нервничала и боялась, как бы я ее не бросила и не уехала одна домой.

— Вот тебе и Испания! — хныкали мы. — Вот тебе и тореадоры, и донжуаны, и бой быков, и дворцы, и музеи.

— Но ведь выпустит же нас эта ведьма в конце концов?

Кормили нас бульоном и рисовой кашей. От этого развилась в нас такая меланхолия, что мы забыли и о дворцах и о тореадорах. Мечтали только о быках, да и то о жареных.

Иногда дверь приоткрывалась и просовывалась голова тетки с носом, заткнутым ватой.

— Как температура? — спрашивала она.

— Нормальная.

— Это ничего не значит. Она может неожиданно подняться.

На второй день я сделала вылазку. Судя по голосам и хлопанью дверей, я поняла, что тетка ушла из дому. Тогда

тихонько, чуть дыша, я вылезла. Спустилась по лестнице. Увидела большую столовую, направо кабинет. У окна стоял наш знакомый секретарь.

— Э-э-э-? — удивился он.

— Скажите, — спросила я, — что все это значит? Может быть, эта дама сумасшедшая? Ведь мы обе совершенно здоровы.

— Я в это вмешиваться не могу, — сказал он. — И вообще, советую вам со мной не разговаривать. Она сейчас вернется и, если застанет нас вместе, то или посадит меня тоже в карантин, или заставит на вас жениться, чего я вовсе не желаю.

— Ничего не понимаю, — растерялась я.

— Она очень строгих правил насчет нравственности.

— Господи! Я сейчас уйду! Сейчас уйду! Скажите мне только — здесь бывает бой быков?

— Что-о? Идите на бойню. У нас быков бьют только там, если вас это интересует.

Значит, все кончено. Надо как-нибудь отсюда скорее вырваться. Ни музеев, ни дворцов здесь, конечно, тоже нет.

Вечером мы долго обсуждали наше положение. В отель переехать нельзя. Вообще должны жить у родственников или возвращаться.

— У тебя нет больше родственников в Испании? — спрашиваю я.

— Один испанец хотел жениться на моей кузине, да она ему отказала.

— Какая дура! Вот теперь мы могли бы остановиться у нее, а из-за ее глупости пропадаем.

На другой день тетка просунула голову в дверь и сказала, через вату в ноздре:

— Мара, я уже телеграфировала твоей маме, что вы завтра возвращаетесь домой.

Мы так растерялись, что только молча смотрели друг на друга. Дверь закрылась, но сейчас же снова открылась.

— Вам взяли билеты на пароход.

Всю ночь разрабатывали мы планы бегства. Бежать надо с пристани, сесть в поезд и покатить в Мадрид. Напишем домой, что тетка сумасшедшая и искусала нас. Но телеграмма уже послана. Выхода нет.

Уснули совсем расстроенные.

На другой день отправили нас на пристань. Провожал секретарь. Он сидел против нас и молчал. Вероятно, боялся, что его заставят на нас жениться. В автомобиле пахло какой-то дезинфекцией.

— Теткой пахнет, — шепнула я Маре.

Ехали довольно долго. Я даже не смотрела в окно. На Испанию я не сердилась. Она не виновата, что нам показали не Севилью, не Гренаду, не ту нашу мечту, которая столько времени волновала нас. Для нас, точно по заказу, выбрала судьба, вероятно, самый скучный уголок северной Испании, такой унылый, такой для нее нехарактерный. Мне было грустно. Я ведь не знала, какое чудо ждет нас, какой «литературный подарок» нам, обиженным, подарит эта чудесная страна, что мы увидим живыми, войдем в общение с теми двумя легендарными, о которых только слышали и читали.

Но об этом речь впереди.

Так, в мрачном молчании подъехали мы к пристани. И тут настроение сразу изменилось. Погода была чудная, яркая, самая «испанская», какую мы только могли себе представить. У пристани стоял небольшой и скверный пароходишка и дымил черным дымом. Но провожала его шумная и пестрая толпа. Секретарь сунул нам в руки наши билеты и скрылся, передав матросу наш багаж. Ему хотелось поскорее от нас отделаться.

Пароходик, грязный и какой-то бестолковый, оказался французским. Тем лучше, по крайней мере, мы могли объясняться, не прибегая к «Разговору с испанцем». Оказалось, что тетка мест в каюте для нас не купила, а свободных уже не было. Да и не нужно. Дали на чай матросу, и он сейчас же раздобыл для нас два кресла на палубе. Чего же лучше?

Мы чувствовали себя отлично. Старались не думать об Испании — когда-нибудь все равно поедем. Но сейчас, в этот жаркий летний день, забыв тетку и все наши неудачи, мы смотрели на красивый город, по-праздничному говорливый и оживленный, и мы были счастливы.

Было приятно, что никто нас не провожает, что не надо выслушивать все те же наставления и требования писать, не надо притворяться благоразумными и взрослыми. Сознание чудесной, радостной свободы веселило нас. И море,

самое синее из всех морей земных, тихо и ласково качало маленькие суетливые лодочки вокруг нашего парохода.

Какая пестрая толпа на пристани! Впереди провожающие и отъезжающие. Они обнимаются, целуются, похлопывают друг друга по плечу, говорят напряженно и быстро. Подальше те, которые уже усадили своих друзей на пароход. Эти смотрят к нам на палубу, помахивают платочками и нетерпеливо топчутся на месте. Уйти неловко, а ждать надоело. Еще дальше — просто толпа зевак и мальчишек, для которых отплытие каждого парохода — всегда праздник.

Мы с Марой смотрим, как на интересный спектакль.

Вот сердитый старик ссорится с носильщиком. Провожающее его многочисленное семейство очень взволновано и сконфужено. Семейству неловко перед окружающими, что старик так смешно бранится и даже плюется, но для поддержания престижа надо делать вид, что старик прав. Мальчишки из толпы зевак пролезли вперед и восторженно подпрыгивают — так им нравится хлесткая ругань старика.

Поближе к сходням стоит красивый смуглый молодой человек со смоляными, сросшимися бровями, очень нарядный: желтая шелковая рубашка, малиновый галстук, зеленый ремень перетягивает талию. Это уже настоящий испанец, совсем такой, каких мы видели на эстраде или в опере «Кармен». Его провожают три дамы. Одна из них все время плачет и что-то приговаривает, цепляясь за его рукав.

— Посмотри, — сказала Мара. — Видишь, вон Дон-Жуан и три жертвы. Каков красавец!

— А действительно хорош, — сказала я.

И вот, смотрим, пробирается к нему еще дама. У нее в руках пакет.

— Это она ему бутерброды, — смеется Мара.

И вот около него новая дама. Эта кокетливо дает ему розу. Он улыбается, прижимает розу к губам, а дама поднимается на пароход. А та, которая плакала, спешно сует ему в карман какое-то письмо.

— Посмотри, какой смешной, — говорит Мара.

— Кто? Где?

— Да вон тот длинный с мешком.

По сходням подымался человек, на других не похожий. Не то чтобы чрезмерно высокий, а именно длинный — так

несоответственно росту был он худ. Лицо измученное, бледное, щеки провалились, рот как-то страдальчески полуоткрыт. Маленькая жиденькая светлая бородка делала лицо еще длиннее. Глаза, большие и ясные, смотрели куда-то поверх толпы. Одет очень скромно и не по сезону тепло в какое-то мешковатое пальто, свисавшее у него с плеч. За спиной рюкзак. На голове старая мятая шляпа.

— Что это за птица? Ну совсем Дон-Кихот!

И вдруг этот странный человек оглянулся и, увидя, что за ним идет дама, решил галантно пропустить ее вперед. Для этого повернулся, задел рюкзаком сердитую старуху, поднимавшуюся перед ним, приподнял шляпу, покачнулся и чуть не слетел в воду через канат, заменявший перила. Сердитая старуха бранилась, он извинялся перед ней и чуть не сшиб своим мешком шляпу с той самой дамы, которой хотел уступить дорогу. Кругом смеялись. Мальчишки на пристани свистели и визжали от радости. И действительно, сцена была на редкость комическая. Мара смеялась до слез.

Но вот наш Дон-Кихот поднялся на палубу и показал матросу свой билет.

— Каюта номер девятый, — говорит матрос, отворачиваясь от пассажира, с которым только что спорил.

Пассажир этот, толстый и красный, опирался на костыль. У него одна нога деревянная. Дон-Кихот остановился и слушал спор.

— Вы обязаны дать мне каюту! — горячился безногий. — Я не успел взять. Вы же видите, что мне необходимо лежать. Вы бесчеловечны. Это вы обязаны понять.

— Мы поступаем по закону, — отвечал матрос, не поворачивая головы. — Кто заплатил за место, тот его и получил. Этак всякий полезет в каюту. Свободных мест нет, а своего места вам никто не уступит. Проходите, не задерживайте.

И тут выступил наш Дон-Кихот:

— Нет, вы не правы, — сказал он матросу. — Вы ошибаетесь, если думаете, что никто не уступит места больному человеку. Пожалуйста, друг мой.

И он, вежливо приподняв шляпу, отдал безногому свой билет.

Матрос презрительно фыркнул, а безногий даже не поблагодарил и, сердито что-то ворча насчет ловких малых, которые всегда пролезают прежде всех, заковылял прочь.

— Эй, вы! — закричал ему вслед матрос. — Деньги! Деньги-то не забудьте вернуть этому господину.

Но Дон-Кихот замахал на него руками.

— Тссс!... Не надо, друг мой, ставить людей в неловкое положение. Будьте спокойны, он непременно вернет мне деньги. Я в этом вполне уверен.

Дон-Кихот повернулся, смазав матроса по лицу своим мешком.

— Эй, вы! — закричал тот. — Снимите ваш мешок, а то вы всех пассажиров перекалечите.

И вот наш пароход, точно охрипший человек, вдруг захрипел, завыл, и через вой и хрип прорвался отчаянный вопль гудка. И еще раз, и еще раз. Около сходней появились два матроса. Пристань заволновалась. Отделились отъезжающие, быстро побежали вверх по сходням, какой-то жиденький оркестрик заиграл марш. Откуда он, этот оркестрик? С пристани? С нашего парохода? Матросы втянули сходни. Пароход задрожал мелкой нутряной дрожью, и пристань стала медленно поворачиваться.

— А-ах! Как красиво!

Дивная синяя красота неба и моря, музыка жиденькая, но такая веселая, и на носу парохода, как резная фигура, украшавшая старинные корабли, стоит наш Дон-Жуан, эффектно выгнув свой гибкий стан и откинув руку со шляпой тем роскошным жестом, каким приветствуют толпу тореадоры, или кланяются своей даме испанские кавалеры.

— Мара, милая, ведь это все-таки Испания!

Красавец сделал последний приветственный жест и, повернувшись к палубе, окинул взором новую арену своих побед. Взглянул на Мару, улыбнулся, сверкнули зубы, озарили молнией смуглое лицо. Дон-Жуан подошел к нам и, вежливо приподняв шляпу, попросил разрешения сесть рядом. Сел.

— Мара, берегись! Он тебя завоюет, — сказала я.

Мара смеется. Она очень хорошенькая. Достает из сумочки зеркало и проверяет свое оружие — брови, губы, белокурые завитки около ушей. Все в порядке, все на месте, можно смело идти в бой.

— Как ты думаешь, кто он? — спрашиваю я.

— Наверное, тореадор.

Но я человек трезвый.

— Уж непременно и тореадор! Не можешь ты без романтики. Я другого мнения. По-моему, он просто коммивояжер. Продает теплые набрюшники.

Мы смеемся. Нам все весело, все смешно.

Там, около грубы, сидит нахохлившаяся фигура Дон-Кихота. Он низко опустил свой длинный нос и, кажется, уснул. И так и не догадался снять свое неуклюжее пальто.

— Сеньора руссо? — спрашивает Дон-Жуан и играет глазами.

Мара неопределенно мотает головой.

— Испано? — спрашивает она, указывая на него.

Он ничего не отвечает, только улыбается, и прищуренные глаза его мерцают сквозь длинные игольчатые ресницы.

— Да, да, — говорю я. — Конечно, испанец. Дон-Жуан.

Он от души смеется, показывает рукой на удаляющийся берег и говорит, на ломаном французском:

— Они все меня так называли.

— Вам положили записку в карман. Что же вы не читаете?

Он вынимает письмо, выразительно смотрит на Мару и медленно рвет письмо на мелкие кусочки. Потом театральным жестом бросает кусочки за борт.

— Вот, — говорит он Маре. — Все кончено, потому что я встретил вас.

Мы все дальше уходим в море. Береговые чайки еще провожают нас, но их все меньше и меньше. Никто не бросает им хлеба. Они быстро поняли, что от нас толку мало, и поворачивают домой.

Люди, возвращающиеся с моря, гораздо приветливее. Они радуются чайкам, как первым вестницам с родного берега, и всегда бросают им черствые корки, от которых к тому же все равно надо отделаться...

Солнце сильно припекает.

Пышная брюнетка, наверное, настоящая южная испанка, развалилась в кресле и обмахивается веером. Удивительное дело, но южане гораздо хуже переносят жару, чем мы, люди севера. Помню, на Кавказе, приезжавшие по делам англичане в самую лютую жару ходили в крахмальных воротничках и не снимали пиджаков, тогда как местные жители расстегивали ворот рубашки, изнемогали и изнывали, как в паровой бане.

Пароходный служитель стал разносить на подносе лимонад со льдом. Наш Дон-Кихот приподнял голову. Сидевшая против него в кресле толстая старуха тоже оживилась и поманила к себе лимонадчика.

— Сколько стоит? — спросила она.

Тот что-то пробормотал.

— Что-о? — протянула старуха с негодованием.

Тот в ответ буркнул что-то не совсем вежливое и пошел дальше. В эту минуту Дон-Кихот вдруг вскочил и схватил его за плечо.

— Так не отвечают даме, — строго сказал он. — Сейчас же подайте даме стакан.

Лакей сердито сунул стакан старухе. Та заворочала глазами. Дон-Кихот приподнял шляпу и раскланялся.

— Деньги! — мрачно сказал лакей.

Дон-Кихот отскочил и, оттянув лакея в сторону, что-то назидательно внушил ему. Потом нашарил у себя в кармане кошелек и, долго отсчитывая, заплатил. Потом раскланялся перед старухой и сел на свое место, низко опустив голову.

Старуха молча сосала лимонад и крутила глазами. Она, по-видимому, была совсем дура и даже и объяснить себе не старалась милый жест Дон-Кихота. Во всяком случае, она его не поблагодарила.

— Она, вероятно, думает, что это от парохода полагается: на каждой палубе по Дон-Кихоту, — смеялась я.

— Он очень странный. Правда? — задумчиво сказала Мара.

— Чудак, — сказала я.

Дон-Кихот весь сгорбился и опустил свой длинный нос. Он был похож на больную птицу.

Скоро нас позвали обедать. Дон-Жуан куда-то исчез. Дон-Кихот продолжал спать.

Когда мы снова вышли на палубу, то увидели, что он сидит на полу на своем мешке, а на его стуле уселся какой-то господин.

— Вы понимаете, — говорил господин, — в каюте ужасная духота. Я плохо переношу духоту. Вот я немножко освежусь и тогда снова уступлю вам ваше место. Вы уходили, вот я его и занял.

— Да, я пошел купить только воды, — успокаивал его Дон-Кихот. Но это ничего не значит. Пожалуйста, оставайтесь.

— Я видела, — шептала мне Мара. — Он пил эту скверную воду из крана. Он глотал, и у него кадык шевелился. А для толстой дуры купил лимонад.

— Ужасно смешной, — сказала я.

Мы разыскали наши кресла, их никто не занял. Дон-Жуан был уже там.

Наступал вечер. Море переменило цвет. Оно стало как-то серьезнее, отдавая всю игру и яркость красок закатной заре. Янтари, кораллы, переливный жемчуг растворило солнце прощальными своими лучами. А там, с другой стороны, откуда шла на нас ночь, уже плыли синие и лиловые тени, расстилая темный ковер под ноги ее.

— Смотрите, — сказала Мара, — как красиво заходит солнце.

Дон-Жуан пригнулся к ней и чуть слышно пропел ласковым говорком по-испански. Потом перевел на французский:

Я не знаю, зашло ли солнце,
Потому что я вижу только тебя.

Но Мара не смотрела на него. Она смотрела в сторону Дон-Кихота.

Дон-Кихот вытащил из своего мешка завернутый в просаленную бумагу бутерброд, раскрыл его, понюхал середину, покачал головой и вытряс эту начинку в воду, за борт. Потом стал грызть хлеб. Погрыз немножко, потом снова завернул в бумагу и засунул в мешок.

— Бедный, — сказала Мара. — Должно быть, никто о нем не заботится.

— Я не знаю, зашло ли солнце, — снова пропел Дон-Жуан, — потому что я вижу только тебя.

— Как он мне надоел! — шепнула Мара.

— Куда вы едете? — спросил Дон-Жуан. — Я хочу проводить вас. Я сам еду в Париж, но я могу порвать контракт и поехать с вами.

— Какой у вас контракт? Вы артист?

Он улыбнулся и вдруг встал в позу. Изогнулся, поднял руку над головой, защелкал пальцами, словно кастаньета-

ми, и, тихо напевая что-то воркующе-нежное, повернулся несколько раз, покачивая своими узкими боками, не сводя глаз с Мары. А та все поглядывала в сторону Дон-Кихота.

— Браво! Браво, Фернандо! — закричал женский голос.

Я обернулась. Это была та дама, которая дала ему розу.

— Еще! Еще! — просила я.

— Браво, Фернандо! — закричал чей-то бас.

Очевидно, его знали. Теперь было ясно, что это профессиональный танцор. Он благодарно улыбнулся и, отбивая такт ногою, снова запел. Он пел недолго. Потом подошел к даме, давшей ему розу, и стал с ней разговаривать.

Я закрыла глаза и задремала. Я очень устала. Утром — от сумасшедшей тетки, потом езда в автомобиле, потом море, солнце, болтовня Дон-Жуана. Я не знаю, поет он еще или замолчал. Пароходная машина отбивает темп его пляски. Какой у него знойный голос! «Я не знаю, зашло ли солнце...» Море, пронизанное огнем заката, все в радостном пурпуре, и этот южный голос... Испания! Вот она, моя, моя, моя Испания! Ночь лимоном и лавром пахнет... — Откуда это? Я это не сама выдумала. — Через ночные черные листья виноградника мелькает огонек сигаретки. И стучит, стучит о камни деревянный каблучок... — Откуда это? Я это, кажется, где-то читала. — Вот оборванный аккорд гитары... Сейчас ее несет кто-то под плащом. Чуть-чуть подстроит ее, подтянет струны и найдет аккорд, найдет мелодию для этого горячего голоса, воркующего слова, которых мы не понимаем, а только чувствуем. Ах как она чудесна, моя Испания! Только бы не отошла она от меня. Нет. Вот опять зазвенела гитара. Она под моим балконом. Я перегнусь через перила и улыбнусь тому, который поет. Вот он закинул голову, и белые зубы его осветили смуглое лицо.

— Дворцы Испании, музеи, — говорит голос старого учителя. — На закате дней моих поклониться этой бессмертной красоте.

Да! Да! Я знаю... Альказар... Прадо... Гойя... Знаю. Но воздух Испании, который я сейчас вдохнула в этом звоне гитарном, в аромате непонятных слов, — этого учитель не знал. Может быть, все это приснилось мне. Ну, что ж. А ему и присниться не могло...

Я открываю глаза. Как жаль, что я проснулась.

— Мара, — говорю я. — Я сейчас была в Испании.

Но Мары нет около меня. Должно быть, я долго спала. За это время уже совсем стемнело. Палуба плохо освещена маленькими лампочками. Но где же Мара? Ни ее, ни Дон-Жуана нет. Ушли вместе. Нет. Вот я разглядела нашего Дон-Жуана. Он около красивой дамы, которая дала ему розу. Она кокетливо улыбается, откинув голову. Дон-Жуан сидит спиной ко мне. Он меня не видит. Когда я прохожу мимо, он нежно говорит своей даме:

«Все равно, я поеду туда, куда едете вы». Я хорошо поняла эту фразу, потому что он перевел нам ее на французский, когда говорил Маре. Но где же Мара?

Иду. Ищу.

Мара сидела на полу около нашего Дон-Кихота. Она слушала его, приоткрыв рот, и лицо у нее было восторженное и как бы похудевшее. Она повязала голову полосатым платочком и стала похожа на сестрицу Аленушку из старой русской сказки. Она нервно повернулась ко мне и сказала с досадой:

— Подожди! Не мешай!

Я, конечно, сразу обиделась.

Дон-Кихот стал тяжело подыматься из уважения ко мне. Мара схватила его за край пальто.

— Нет, нет, сидите! Она сейчас уйдет.

Напрасно она мной распоряжается. И не подумаю уходить.

Они говорили по-французски.

— Он совсем болен, — сказала она мне, и губы у нее задрожали. — И какой он чудесный! И я непременно хочу познакомить его с мамой.

Я села тоже на пол и обняла Мару за плечи.

— Очень хорошо, если он чудесный. Только совершенно ни к чему так волноваться, — сказала я покровительственно.

— Ах, ты не понимаешь... Он едет во Францию, чтобы поднять дух у одного нехорошего человека. Он его повезет в Лурд, и человек воскреснет.

— Вы понимаете, — заговорил Дон-Кихот мечтательно. — Этот человек, в сущности, очень хороший, но он этого не знает. Он думает, что он мне сделал много зла, ужасно много зла, но он не знает, что это даже очень хорошо.

— Ты слышишь? Ты слышишь? — шептала Мара и до боли сжимала мне руку.

— Почему же это хорошо, что он сделал вам зло? — спросила я.

— Я стал больше думать. Я был прежде счастлив и думал, что так и надо быть счастливым. А когда он у меня это счастье отнял, я понял, что свое счастье любить нельзя, а только чужое.

— Когда же вы будете в Лурде? — лепетала Мара. — Я тоже туда приеду. Можно? Вы позволите?

— А вы уверены, что вы этого нехорошего уговорите ехать в Лурд? — спросила я.

— Не знаю, — грустно сказал Дон-Кихот. — Но я должен сделать все, что только смогу. Если не поедет, я придумаю что-нибудь другое.

— А я уверена, что он ненавидит вас, — сказала я. — Люди всегда ненавидят тех, кому сделали зло.

Он покачал головой.

— Вы такая молодая, а душа у вас нездоровая, если вы можете думать такие плохие вещи. И главное, это все неверно.

— Помолчи, пожалуйста, — сердито прошептала мне Мара. — И не говори о том, чего ты не понимаешь. Слушай этого замечательного человека.

— Какое зло он вам сделал? — развязно спросила я. — Наверное, отнял у вас жену?

— Он не отнял, — помолчав, отвечал Дон-Кихот. — Он просто ей понравился, и она ушла к нему. Она бы не ушла, если бы я не предложил отдать ей мое состояние, и она была бы несчастна. Она любила этого человека, но он бы бросил ее, если бы она была без средств, потому что он хотел быть богатым. Было бы не по-рыцарски с моей стороны не помочь женщине, с которой мы были близки шесть лет. Конечно, это надо было сделать очень деликатно. Но через три года она его бросила для другого. Ее осуждать нельзя. Это такая фантастическая головка!

— Вы, значит, едете его утешать? Он совсем дурень, — сказала я Маре по-русски.

— Нет, не утешать, — спокойно отвечал Дон-Кихот. — На эту тему говорить с ним было бы неделикатно. Не по-рыцар-

ски. Я просто хочу поднять его мораль и, может быть, смогу помочь материально. Я сейчас небогат, по правде говоря, довольно беден, но у меня есть кое-какие возможности. Мне для себя ведь ничего не нужно, но для него смогу что-нибудь устроить. А главное — если бы удалось поднять его дух! Моя задача именно в этом.

Он был трогателен. И в том, что он нам, совершенно чужим девчонкам, так просто раскрывал самое заповедное своей души, было что-то детское, беззащитное и, вместе с тем высокое. Мне уже не хотелось подсмеиваться, и только назло Маре я пробормотала:

— Какое ребячество. Все равно из этой ерунды ничего не выйдет. Деньги ваши он, разумеется, возьмет, а потом над вами же будет смеяться.

И тут Мара вся затряслась, отбросила мою руку со своих плеч и, чуть не плача, закричала:

— Уходи прочь! Умоляю тебя, уходи! Оставь нас в покое. Уходи сейчас же! Я ненавижу тебя.

Я встала и сказала презрительно:

— Уйду, милая моя, и без твоей просьбы. Теперь втюрилась в Дон-Кихота. Поздравляю. Неужели ты не понимаешь, что меня от вас тошнит. Типичная «ам сляв». Дуреха несчастная.

Повернулась и ушла.

Светало. Стало холодно. Грустно заалел восток. Все было грустно. Пароход тихо покачивался, постукивал машиной, точно потерял дорогу и бродит по морю без смысла и без цели. Все кругом уныло дремали. Дон-Жуан спал, положив голову на колени дамы с розой. Я завернулась в плед и улеглась в своем кресле, протянув ноги на кресло Мары. Я знала, что она не придет.

Отчего я была такая грубая? Боже мой! Отчего не могла побыть с ними ласково? Нет, непременно надо было показать себя умницей. И как я нехорошо с ним говорила, с таким милым, простым, с таким чудесным человеком. Пойти бы поклониться, сказать: «Простите меня, я знаю, что я гадина».

Вспомнился чей-то афоризм: «Когда рыцарь сражается с ветряной мельницей, то побеждает всегда мельница. Но это не значит, что она права».

И вот теперь эта мельница лежит, завернувшись в плед, и дрожит, и хнычет, как побитый щенок.

А Марочка, бедная, как она вся затряслась! Боже мой, до чего все это невыносимо! «Ам сляв», — посмеялась я над ней. «Ам сляв». А сама-то я кто же?..

* * *

На пристани нас встретила веселая и нарядная Марина мама. Мара обняла ее и тихо плакала. А через толпу заплетающимися ногами пробирался к выходу Дон-Кихот. Он покачивался и толкал всех своим рюкзаком. Его бранили, над ним смеялись, но он ничего не замечал. Высоко подняв голову, длинный и нескладный, он смотрел куда-то вверх, и на шее у него был завязан смешным дамским бантиком Марин полосатый платочек.

Три жизни

Клиентка была недовольна. У нее на носу большие черные поры. Она пришла в «инститю де ботэ» именно для того, чтобы у нее нос стал белым и по возможности атласистым, но без блеска. На ощупь атласистым, а на вид бархатистым. А барышня трет его без толку, и он только распухает.

— Позовите сюда вашу хозяйку!

Хозяйка, мадам Кэтти Руби (для старых друзей — Катюша Рубова), высокая, стройная, с платиновыми волосами и нечеловеческими ресницами, подошла деловым шагом, взяла со столика лупу и, прищурив глаза, исследовала капризный клиенткин нос.

— Лосьон номер третий, — обратилась она к служащей барышне, трепетно, как ассистентка знаменитого профессора, ожидающей предписания. Барышня была тоже платиновой блондинкой, и ресницы у нее тоже были нечеловеческие, но все это, выдержанное в более блеклых, почтительных тонах, отмечало ее зависимое положение.

— Лосьон номер третий, — с приветливой улыбкой повторила Кэт Руби, обращаясь на этот раз к самой клиентке. — Это тот лосьон, который употребляю я сама.

— Ну, вы такая молодая, вы не пример, для вас все хорошо, — проворчала клиентка.

Кэт Руби загадочно улыбнулась.

— Шер мадам, — сказала она. — Может быть, я и молода, но я живу свою третью жизнь и была когда-то старой бабушкой.

— Вы сделали себе эстетическую операцию? — догадалась клиентка.

Кэт хотела что-то ответить, но ее спешно отозвали к толстухе, которую чересчур перепарили в парафиновой ванне.

— Что значит «третья жизнь»? — думала клиентка, смотря ей вслед.

* * *

Это было в самом начале революции.

Вернулись офицеры с фронта. Вернулся с ними и Гриша Рубов, Катюшин жених, и Вася Таневич, муж Катюшиной сестры Маруси.

Время было страшное и тревожное, и тем не менее молодость брала свое, и от опасностей и лишений жизнь казалась только интереснее и счастье острее.

Справили потихоньку Катюшину свадьбу. И вскоре после этого оба офицера ушли воевать с красными. Сестры остались в Москве.

Но старая жизнь все еще как будто не обрывала своей линии. Оставалась прежняя квартира, по которой бродила и ворчала прежняя старая нянюшка. Оставались еще уцелевшие платья, шубы, друзья, эстетические интересы.

— Ах как дивно играл Качалов!

— Ах, нужно пойти в оперу!

Милая прежняя жизнь еще не отпускала, она медленно гасла, оживляясь мгновенными вспышками, все еще обещая окрепнуть, оправиться, расцвести по-прежнему.

Потом стали уходить из дому красивые ненужные вещи — люстра, зеркала, бронзовые подсвечники, ковры. Ушли. Потом ушли сервизы, отцовская шуба. Да что долго

рассказывать — путь обычный. Когда ушли вещи, пришлось уйти самим.

Двинулись на юг.

Был у Катюши томный поклонник, танцевавший с ней на балах танго. У поклонника была на Кавказе дача.

— Поезжайте туда, — умолял он. — Там сейчас безопасно. Дача отличная. Как только смогу пробраться, приеду к вам туда. Не отказывайтесь. Ведь это для меня счастье!

Сестры с радостью согласились. Деваться все равно было некуда.

Маруся Катюшиного поклонника не любила.

— Почему, когда он говорит, мне всегда кажется, что он врет. Ведь вот, наверное, у него есть дача, он человек богатый, а все, кажется, что врет.

— Это тебе завидно, что он не за тобой ухаживает, — любезно объясняет Катюша.

Звали томного поклонника Володя Брик. Определенного занятия у него не было, но неопределенных было несколько. Он субсидировал разные артистические кабаре, режиссировал благотворительные спектакли и напечатал сборник стихов «Пожар в сумасшедшем доме», который, «к стыду всего цивилизованного мира», зарезала цензура за неприличие.

Он был недурен собой, элегантен, но почему-то отпускал длинные ногти какого-то темно-желтого цвета. Влюбленные актрисенки собирались даже писать ему анонимные письма: «Божественный, обстригите ногти».

Выражение лица у него было действительно такое, как будто он врет.

Но, к удивлению сестер, дача у него действительно оказалось.

— Не удалось соврать, — решила Маруся.

Жили вчетвером, с нянькой и Марусиным сыном, четырехлетним Петей.

Веселая Катюша не унывала, бегала по горам и пела французский романс Si tu m'aimais[1] и бержеретки.

Дошли вести о мужьях. Сначала хорошие. Здоровые, собираются навестить. Потом плохие. Разбиты, отступают.

---

[1] «Кабы ты меня любил» (*фр.*).

Время настало плохое. Все попрятались. Многие потихоньку скрылись. Нянька стала закрывать ставни, чтобы с дороги не видели, что на даче живут. И в это беспокойное время родила Катюша дочку Лялечку.

Появились печальные предвестники близкой грозы — пропали бабы-торговки, опустел базар. Стало голодно и неуютно. Надвигалась осень.

Получила Маруся с фронта весть. Ее муж опасно ранен. Написано было странно — слово «ранен» зачеркнуто и потом подчеркнуто волнистой линией — значит, верно. Верно, что ранен. Потом приписка другим почерком: «Будет доставлен немедленно».

Маруся бросилась бегать по городским лазаретам.

Раненых было множество. И все прибывали новые. Катюша помогала ей в розысках. Обе с утра уходили. Нянька забирала детей и шла сидеть к попадье, с которой завела дружбу.

Вот раз приходит Маруся домой и еще издали видит: стоит на крыльце длинный ящик. Подошли ближе — гроб. Сколочен из кривых досок и видно в щели защитную рубашку, лицо. Маруся упала на ступени и стала кричать. И долго так лежала и кричала, и проходили мимо люди и не смели к ней подойти.

Так нашла ее, вернувшись, нянька и позвала соседей, чтобы помогли ее поднять.

Потом оказалось, что тело Васи принесли солдаты. Дома никого не было, ждать они не могли и оставили на крыльце.

После того как увидала Катюша, как лежала ее сестра у гроба мужа и как кричала, почувствовала она — как будто обрываются все золотые нити прежней жизни и начинается жизнь вторая.

* * *

Получили письмо от Гриши Рубова. Он встретился с томным Катюшиным поклонником, с Володей Бриком, и тот уговорил его пробраться к нему на дачу, навестить Катюшу.

Время было очень опасное. За дачей следили темные люди. Соседи знали, что сюда принесли убитого офицера, слышали, как офицерша плакала.

Рубов и Брик пробрались с трудом, переодетые, грязные, бородатые, прогостили одну ночь, и ту просидели впотьмах, и снова ушли.

Через несколько дней после их посещения, как-то вечером Катюша, уже улегшаяся в постель, взяла покормить маленькую Ляльку. Нянюшка стояла тут же. Катюша ничего особенного не слышала, а нянька вдруг насторожилась, кинулась в другую комнату, где окно выходило на улицу, ахнула схватила с кресла шаль, завернула Катюшу.

— Пришли! Скорей в коридор, лезь в окно, беги к попадье, она спрячет.

Толкнула Катюшу в коридор, а в парадную дверь уже стучат прикладами, звонят, кричат.

Катюша, как была босая, в одной рубашке, только шаль не плечах, вылезла через окно, спрыгнула в кусты, ободрала ноги. Прислушалась. Слышит — галдят у крыльца, но больше не стучат, верно, нянька двери уже открыла.

Нагнулась Катюша, прокралась ползком к забору, перелезла и — бегом через дорогу, через овраг, на гору, к церкви, туда, где попов домик. Самого священника давно уже не было, и куда девался — неизвестно. В те времена о пропавших людях расспрашивать считалось неделикатным.

Сразу в дом, конечно, не вошла, а поскреблась у окошечка. Открылось окно, высунулась голова в платке.

— Матушка, вы?

— Никак Катерина Сергеевна? — шепотом спросила голова.

— Спасайте, матушка. К нам пришли, наверное, меня ищут.

Голова ахнула, захлопнула окно. Потом свет в доме погас, тихо-тихо приоткрылась дверь.

— Иди сюды!

Катюша шмыгнула в дом.

Рука поймала ее в темноте.

— Сюды, тихонько спускайся в погреб. Коли тебя дома не нашли, так обязательно сюда нагрянут. И чего тебя ко мне принесло? У меня уже четыре раза обыск был.

— Нянька послала.

— Эка старая дура. Ну, иди, иди, полезай в кадку.

Темно, хоть глаз выколи. Попадья чиркнула спичку. Увидела Катюша подвальчик, в нем дрова, бочки, ломаные колеса.

Погасла спичка. Толкает попадья Катюшу.

— Да лезь же скорей в кадку.

Нащупала Катюша края. Кадка высокая, пахнет рассолом. Перекинула ноги, влезла, скорчилась.

— Вот так, — говорит попадья и закрыла ее сверху рогожей.

— Сиди, не дыши.

Ушла.

Тихо стало. В ушах звенело. Рассолом пахло густо. Сначала это было ничего, потом стало тошно. Заболели колени, зазнобило. И вдруг подумалось: вот тебе и Si tu m'aimais.

И так сразу глупо показалось, так нелепо, что она, Катюша Рубова, которая так чудесно танцует танго, и вдруг босая, в одной рубашке сидит в кадке из-под огурцов. Даже засмеялась.

Что делалось наверху, она не слыхала. Как будто, хлопали двери. Потом заснула. А потом время пошло так странно, что уж ничего нельзя было разобрать. Кто-то зашептал над головой. Думала, что кажется, но шепот повторился:

— Вот, поешь. Пить не хочешь? Пока еще не приходили. Уже рассвело. Ночью Оська тебя поведет к зеленым. Вот юбка, закройся. Холодно?

Шепот стих и опять никого.

Нащупала теплую юбку, кусок хлеба с салом. И снова заснула.

Просыпалась несколько раз. Все кости ломило. Над головой слышались шаги, чуть-чуть гудели голоса.

Наконец, снова шепот:

— Ну, бедочка, вылезай. Ползи наверх. Дверь на улицу открыта. Как выйдешь за калитку, сразу поверни и иди вдоль забора. У мостика тебя Оська переймет. Там уже пойдешь за ним.

— А как же Лялька? — вспомнила Катюша. — Ведь у меня там ребенок остался.

— Да что уж там, авось нянька доглядит.

— А сестру не тронули?

— Нет. Ейный муж ведь убит. Это на тебя показано, что двух офицеров переодетых укрывала.

— Да ведь никто же не видел! — удивилась Катюша.

— Один из двух видел, — загадочно отвечала попадья. — Ну, иди, иди.

Катюша поцеловала ее.

— Прощайте, голубушка, спасибо за все.

Жутко было на улице. Накрапывал дождь. Больно было босым ногам, непривычным, еще помнящим медлительно-томные па танго.

Около мостика, где-то внизу, шевелилось темное. Шепнуло:

— Иди, иди, не бойтесь!

Мальчишка лет двенадцати вылез наверх.

— Иди. Я поведу. Я — Оська. Шли всю ночь. И все в гору.

Моросил дождик. Земля, глинистая, скользила под ногами. Ступишь шаг — съедешь на четверть.

Маленький Оська шел впереди. Иногда оборачивался, не то подбодрял Катюшу, не то понукал:

— Ну, ну! Ползи, что ли.

Очень был деловой и сердитый этот Оська.

— Ты что же, — спросила Катюша, — служишь у матушки или родня ей?

— Внучатый племянник. Ползи, ползи.

— А ты, Оська, верно дорогу знаешь?

Оська хмыкнул что-то, не поймешь, что.

Под утро Катюша совсем выбилась из сил. Понизилась прямо на осклизлую траву и заплакала.

Оська вытащил из-за пазухи кусочек хлеба и дал ей.

— Вот это бабушка для тебя дала.

Хлеб был сухой, пах козлятиной, верно, от Оськиной пазухи. Катюша пересилила себя, откусила кусочек. Отвращение пропало.

— Все-то не ешь, — остановил ее положительный Оська. — Еще далеко идти.

Поплакавши, встала, поплелась дальше.

Когда рассвело, разглядела Катюша своего вожака. Он был белобрысый, даже ресницы белые, как у теленка. Нос задран ноздрями кверху, рот большой, бледный, зубы щербатые. Одет рваненько, босой.

— Откуда ты, Оська, дорогу знаешь?

— А я от бабушки часто к зеленым хожу. Теперь сейчас до лесу доберемся, а там уж близко.

В лесу разрезала себе Катюша об сук ногу, стала хромать. Выломал ей Оська палку, пошла, как старуха, с клюкой.

По лесу идти еще труднее было. Крымский лес весь колючий, неласковый, всюду иглы, все запутано, перепутано лианами, на лианах шипы. Руки, ноги у Катюши в кровь ободраны. Ветхая юбочка, которую дала ей попадья, вся в клочьях. Остановится Катюша, поплачет и дальше идет. А Оська ничего. Только покрикивает:

— Ну-ну! Чего же?

Наконец, забелело что-то в кустах, — а уж дело было к вечеру, — запахло дымом.

Оська остановился и закричал басом, как деревенские мальчишки на лошадей кричат:

— Сво-э!

Свои значит.

Раздвинул кусты и вывел Катюшу на полянку, а на полянке и был зеленый лагерь.

Горел костер. Дым его и был то самое белое, что Катюша заметила меж кустами.

Несколько кривых низеньких палаток, шалаши, как на картинках из жизни индейцев. Тут же паслись три-четыре стреноженные лошади. Людей видно не было. Из-за шалаша вышел какой-то бородатый, волосатый, по обмоткам на ногах — солдат, по голове — поп. Взглянул на Оську, спросил:

— А газетку не прихватил? А Леврона еще нету.

Оська подошел к нему поближе.

— Я, — сказал, — ждать не могу. Вон привел эту. Бабушка наказала, чтобы здесь ее спрятать пока что. И, значит, накормить. А я ждать Леврона не могу, там хватятся.

Волосатый мотнул головой.

— Ладно. Я передам. Иди сюда, бабуся, — обратился он к Катюше. — Садись у костра, грейся. Скоро наши придут, будем варить чего-нибудь.

Катюша села, уткнулась головой в колени и заснула. А засыпая, подумала:

— Почему же он меня бабусей назвал? Ведь мне же только двадцать восемь лет.

Проснулась от гула голосов. Приоткрыла глаза, не поднимая головы. Видит — толпятся у костра люди. Не то мужики, не то солдаты, все грязные, все рваные.

Бабы ни одной не было.

Разговаривали вполголоса.

Вот кто-то тронул ее за плечо.

— Матушка прислала? Ну, что ж, ночуйте здесь, у костра, здесь теплее будет.

Катюша молчала. Все так странно, как во сне. Не к чему и говорить.

Потом кто-то, — верно, тот, что с ней разговаривал, — дал ей какую-то жестяную крышку. В крышке была налита бурда, вроде жиденькой каши.

— Хлеба сегодня нет.

Катюша глотнула бурды и снова опустила голову на колени.

— Вот, — думала, — верно, так и умру. Не надо об этом думать, надо думать о хорошем, о маленькой Ляльке.

Но о Ляльке думать было страшно.

О завтрашнем дне — совершенно невозможно.

Скоро придут белые. И муж, и влюбленный Брик сейчас же разыщут ее.

Вспомнилось последнее свидание, ночь в темном доме, без огня, шепоты, протянутые руки.

— Ты?

— Вы?

— Катерина Сергеевна! Ваши ручки! Вы не можете переодеться крестьянкой. Ваши ручки вас выдадут. У вас ручки маленькой принцессы.

Это извивается Володя Брик.

На рассвете оба ушли.

— Ах, — шепчет Брик. — Ах, если бы умереть за вас!

Рано утром лагерь зашевелился.

Кто-то потряс Катюшу за плечо.

— Тетенька, а тетенька! Мы до вечера все уйдем, а ты можешь здесь оставаться. Собирай в лесу валежник, поддерживай костер. Вот тебе. Больше ничего нет.

Большая заскорузлая лапа сунула ей четыре картофелины. Она молча взяла.

— И чего это я все молчу, как идиотка? — подумала она.

Утро было туманное.

— Надо уходить, пока туман, — сказал кто-то. — Можем слева спуститься, нас снизу и в подзорную трубу не увидать. Облако нашу гору отрезало вчистую.

Тихо гудели голоса.

— Сколько их тут? — думала Катюша.

Протягивались руки к костру, брали уголек, закурить трубку.

И долго еще сидела Катюша, в полудреме, в полубыли. А когда совсем проснулась, было светло, туман ушел, костер догорал, и кто-то, тыкая в него палкой, шевелил угли.

— Ага, бабка, проснулась.

Это был вчерашний полусолдат-полупоп.

Катюша поднялась, потянулась и почувствовала, что еле двигается, — так все у нее болит.

Спросила:

— Куда они все ушли?

— А кому куда надо, тот туда и пошел, — неохотно отвечал полупоп.

— А много их здесь? — опять спросила она.

— А вот коли не лень, встань ночью и посчитай. А я, между прочим, тебя ничего не спрашиваю. Вот и понимай.

— Что же мне понимать?

— А то, что про свое молчи, о чужом не спрашивай. Теперь поняла? Поди-ка лучше веток наломай, костер поддержать, — строго приказал он, повернулся и пошел. А уходя, проговорил вполголоса, но отчетливо и с большим чувством:

— Ну, что ни баба, то дура, что ни баба, то дура. И отчего это, Господи?

Весь день бродила Катюша голодная, холодная. Полупоп куда-то скрылся.

К вечеру, чтобы не попадаться никому на глаза, залезла Катюша сбоку под чужой шалаш. Побаивалась она все-таки этих зеленых.

Когда стемнело, загудели тихие голоса, стали люди собираться.

Точно в сказке — полезла красавица на печку и смотрит, как в избу входят молодцы-разбойнички.

С ее места хорошо был виден костер и силуэты вокруг него. Были люди вооруженные и явно военной выправки. Были и мужики, ходили косолапо, вразвалку. Разговор слышался простоватый.

— Оттентелева. Сюдою пройтить ближе, тудою легше.

— И чаво же это, туды-растуды!

— Черт твою двадцать.

И вдруг ясно и определенно тихий басок сказал по-французски: «Ça n'empeche pas...[1]»

Конца фразы она не слышала. Другой голос отвечал, трудно было разобрать что, но по звуку тоже по-французски.

— Галлюцинации, — решила Катюша.

Хотелось есть. У костра что-то варилось, черпали, накладывали в котелки.

— А где же наша старуха? — спросил кто-то.

Катюша высунула голову, поискала глазами. Любопытно было, что за старуха у них такая.

— Эвона она где!

И шаги направились прямо к ней.

— Иди, бабуся, получай свой паек, — добродушно сказал длинный парень, тощий и курносый, похожий на смерть в хаки.

«Да почему же они меня старухой считают?» — удивилась Катюша.

Она тяжело поднялась и, припадая на больную ногу, поплелась к костру.

Там дали ей в черепушке мутную жижицу, горячую до блаженства.

— И рукам тепло, и щекам тепло, и животу жарко.

Поела и поползла к себе, под чужой шалаш.

По дороге поглядывала исподтишка — кто бы это такой говорил по-французски? Но никого подходящего не нашла и решила, что ей показалось. Но верить не хотелось, что показалось. Как-то спокойнее было бы, если бы действительно здесь очутился барин, говорящий по-французски. И даже неизвестно, почему спокойнее. Может быть, он прохвост хуже всех.

И так прожила она больше недели и все только удивлялась, почему не умирает и почему не хворает. Уж очень было холодно.

И вот как-то вечером, когда все улеглись, остались у костра только двое. Один мозглявый мужичонка, раздевшись до пояса, грел у огня бурую свою спину с острыми, как щепки, лопатками и заботливо выбирал из снятой рубахи насекомых, приговаривая:

— Эх тех-тех, и и-эх тех-тех.

---

[1] Это не мешает... (*Фр.*)

Потом повернулся к соседу и сказал:

— Mais ça ne peut pas durer...[1]

А сосед был Катюшин знакомец, полупоп-полусолдат!

Утром вдруг поднялась в лагере суетня. Стали быстро складывать палатки, забрасывать костер землею.

— Эй, бабка! — окликнул ее кто-то.

Это был тот, который разговаривал с ней в первый вечер и дал ей есть.

— Эй, бабка! Мы уходим. Большевики близко. Уходите скорее.

— Куда же я денусь? — ахнула Катюша.

— Бегите к матушке. Она решит. Спускайтесь все вниз и вправо. Если и встретите их разъезд, они вряд ли вас тронут. Лупите скорее. Если вас тут найдут — беда.

Катюша побежала вниз.

Выбравшись из лесу, встретила трех конных солдат.

— Эй, бабуся, ты чего?

— Кони ушли. Коней ищу, — ответила она спокойно, сама удивляясь. Что за чертов маскарад! Ей двадцать восемь лет, и она для всех старая бабка. Вшивый мужик беседует с голодранцем на французском языке.

«Не удивлюсь, если Оська окажется камер-юнкером высочайшего двора. Растеряли мы все. И облик, и душу».

Вечером выждала, когда совсем стемнеет, стукнула к матушке.

Старуха открыла оконце.

— Господи, спаси и помилуй! Никак Сергеевна! Чего же ты пришла?

— Ушли зеленые.

— Мамочки мои! Что же я заведу? Ну, уж входи, лезь в кадку.

Но прежде кадки напоила ее старуха в кухне горячей водой — чаю не было. Дала кусочек хлеба.

— Завтра проведет тебя Оська через горы в Карсинск. Там тебя никто не знает, а здесь попадешься, здесь тебе шагу ступить нельзя.

— Одного не пойму я, матушка, — сказала Катюша, — кто мог наших выследить? Пришли поздно, ушли — еще темно было. Никто их не видел.

---

[1] Но это не может продолжаться долго... (*Фр.*).

— Как кто? Разве не знаешь? Такой с твоим мужем приятель приходил, он и выдал.

— Брик! — ахнула Катюша. — Быть не может!

— Он самый. Их обоих поймали, обещали свободу, если скажут, кто их укрыл. А не то расстрел. Муж-то твой успел бежать, ну, а Брик и выдал.

— Меня! Меня предал! Такой ценой свободу купил!

— Ничего не купил, — спокойно сказала матушка. — Расстреляли.

Научила матушка Катюшу, как придет в Корсинск, сразу направиться к тамошней матушке. Она свой человек и много народу спасла и укрыла. Она либо у себя спрячет, либо куда-нибудь пристроит. На нее надеяться можно вполне.

Хотелось Катюше хоть глазком взглянуть на свою девочку, но об этом и заикнуться не посмела. Одно матушка разрешила — послать с Оськой записочку, без подписи: «Жива, здорова». Сестра почерк узнает.

На дорогу дала матушка Катюше немного хлеба и чесноку.

— Нечего нос морщить. Без чесноку нипочем не дойдешь. В нем сила.

Платья никакого дать не могла, только тряпочку-повязочку на голову да парусиновые туфли.

Так и пошли они с Оськой снова по горам, по долам, по дремучим лесам.

Туфли в первый же день размякли, пришлось опять шлепать босиком. Ели только хлеб да чеснок.

— Удивительная штука этот чеснок, — говорила Катюша. — Гадость, жжет, воняет, тошнит, прямо голова кружится, а будто от него легче. Словно дурман.

Часто Катюша садилась прямо на дорогу и плакала. Оська деловито выжидал, точно она дело делала. Потом шли дальше.

Несколько дней все подымались. Раз вечером набрели на стоянку. Горел костер, грелись люди. Катюша испугалась, но Оська подошел смело.

— Свои, зеленые. Тут большевиков еще быть не должно.

Зеленые дали место у костра, накормили горячим. Потом еще несколько раз высоко на горах встречались эти «свои». Давали хлеба и чесноку.

— Ешь, бабуся, чеснок.

— В ем лекарство мышьяк, — объяснил какой-то ученый оборванец. — От его сила в мускулатуре и в грудях.

Шли они с Оськой долго, день за днем. Брела Катюша, как пьяная, качалась, закрыв глаза.

Потом стали спускаться. Думала, будет легче, а вышло еще труднее. Горы размякли, текли вниз оползнями, ноги скользили, приходилось цепляться за кусты, за камни, идти боком, нащупывая ногой, куда ступить.

Наконец после многих-многих дней пути, увидела горизонт широкий и синий — море. А внизу, под ногами, городок. Это и был Корсинск! Спускались к нему осторожно, прятались за камни.

Оська живо разыскал матушкин домишко. Дело здесь велось совсем недоверчиво. Матушка в дом к себе не пустила, а вышла для переговоров за калитку.

— Стало быть, матушка Агния Петровна вас посылает? А как же я вам поверю?

Тут выступил Оська.

— Так ведь я же Оська. Ну?

— Н-да. Это так, — согласилась матушка.

Она была высокая, сухая, взгляд острый, но какая-то словно бестолковая или уж очень напуганная. Подумала, поморгала.

— Ну, ладно. Идите.

Вошли в узенький коридорчик. Темно, тесно. Пахло кислым хлебом. Через щель запертой двери поглядел чей-то глаз, и дверь прихлопнули покрепче. Слышались приглушенные голоса.

— Я тебя, Оська, покормлю, — сказала матушка, — да и иди себе домой. А вы, тетенька, не знаю, как величать, поместитесь пока что на кухне, а там, Бог даст, пристрою вас куда-нибудь. Доить умеете?

— Не знаю, не пробовала, — испуганным шепотом отвечала Катюша. — Должно быть, умею. Даже наверное умею. Даже отлично умею.

Попадья покачала головой, вздохнула.

Поместила она Катюшу у себя на кухне с большой русской печкой. За этой самой печкой постелила на полу войлок. Это была для Катюши постель.

Домишка был маленький. Всего две комнаты и кухня.

В одной из комнат, крошечной, — только кровать, стол да шкаф — жила сама. В другой, побольше, жили какие-то старик со старухой. Спали они на полу, на шубах. Дверь к ним всегда была плотно заперта, но как-то раза два-три удалось Катюше случайно увидеть, что есть в комнате еще не то ломаная кровать, не то просто скамейка, а на ней лежал какой-то белокурый мальчик, большой, лет пятнадцати. Про стариков хозяйка от Катюши не скрывала.

— Мои жильцы, двое старых.

Про мальчика никогда ни словом не обмолвилась и, видимо, старалась, чтобы Катюша совсем не знала о его существовании.

Каждый день заходили к матушке разные оборванцы, в которых легко было распознать бывших офицеров.

Часто слышала Катюша, как спрашивали:

— Князь и княгиня дома?

И потом шепотом:

— А как «он»? Лучше ему?

Из этого она поняла, что старики — какой-то князь с женой, а мальчик — важная птица, а кто именно — так и не смогла узнать.

Офицеры относились к мальчику с большим почтением, приходили убирать комнату, мыть пол и чистить сапожки и иногда вызывали старика в коридорчик и шепотом расспрашивали о здоровье. И были очень озабочены.

— Пароход придет за ним через две недели. Необходимо, чтобы к этому времени он мог стоять на ногах.

— Кто же этот мальчик? — мучилась Катюша. — Уж не наследника ли они спасли? Князь и княгиня, старики, валяются на полу, а ему лучшее место. Или оттого, что больной? И почему офицеры так о нем почтительно расспрашивают? Ну и дела здесь делаются!

Странная вещь — о себе Катюша все это время как-то мало думала. Вся душа у нее сжалась, съежилась, потускнела, заснула. И когда плакала она по дороге, то не о судьбе своей, не о том, что потеряла мужа, ребенка, сестру, что предана на муку изменой близкого друга, — нет. Она плакала просто от голода, холода и усталости. Даже будущее было для нее както безразлично.

У матушки в кухне висело грязное мутное зеркальце. Катюша с любопытством взглянула в него. Взглянула и горько

засмеялась. Действительно, с облупленного стеклышка уныло глядело на нее изможденное бабье лицо, обветренное, в бурых пятнах, с голубовато-бледным ртом, оттянутым книзу двумя скорбными морщинками. Из-под грязной головной повязки выбивались прядка волос, светлых — можно принять за седые.

— Бабуся! Вот оно что. Бабуся. Ну, что ж — тем лучше.

Почему считала она, что хорошо в двадцать восемь лет быть старухой, она и сама не знала. Но чувствовала, что так спокойнее и больше подходит к ее душевному состоянию.

Матушка усердно искала для нее какого-нибудь места.

— Я вас не спрашиваю, кто вы такая, — сказала она Катюше. — Помещица или офицерша — раз матушка Агния за вас просит, я всегда готова помочь. Назовитесь каким-нибудь простым именем, ну, Агафьей, что ли.

— Хорошо, пусть буду Агафьей, — равнодушно согласилась Катюша.

— Руки только вот у вас очень уж неудобные.

— Неудобные? — удивилась Катюша.

— Ну, да. Выдают сразу. Вы их прячьте под платок, что ли. А то вот возьмите чугунок золой оттирать. Это вам живо ногти объест, да и кожа полопается, загрубеет. Ничего, Бог даст, живо руки испортятся.

После этого разговора пошла Катюша в кухню, посмотрела в зеркальце, кивнула головой.

— Здравствуй, бабка Агашка. Не унывай. Бог даст, будут у тебя скоро хамские лапищи.

Раз поздно вечером слышала она, как старый князь шептался с хозяйкой в коридоре. Подкралась к двери, подслушала. Князь был чем-то обеспокоен.

— Княгиня тоже видела, — шептал он.

— Ну, чего вы, право, — успокаивала его хозяйка. — Во-первых, она к вам в комнату никогда не заглядывала и даже ни о чем понятия не имеет. Во-вторых, она сама всякого боится. Ну где ей шпионить, в таком ли она положении?

— Вы понимаете, как все это опасно, — бубнил старик.

— Да она и уйдет скоро. Я ее на место определяю.

— Да кто она такая? На вид совсем простая баба. Чего же бабе прятаться. Не понимаю. Как ее фамилия?

— Фамилию я вам сказать не могу. Зовем ее просто Агафьей. Да вы не беспокойтесь.

Они еще что-то пошептали. Катюша отошла от двери.

— Значит, матушка меня на место определит. И то ладно. А старые дураки меня боятся. Вот до какой чести дожила.

Дня через два после этого разговора произошло событие. Ночью заговорили в коридоре взволнованные голоса, затопали ноги.

— Английская миноноска! Английская миноноска!

Слово это повторялось во всех падежах.

Люди входили, уходили.

— Да тише вы, ради бога! — предостерегал голос хозяйки.

Наконец, хлопнула входная дверь, скрипнула калитка и все смолкло.

Бросилась Катюша к окну. Увидела, как быстрым шагом уходили четверо. Один как будто недоросток. Ночь была темная, разглядеть было невозможно.

На другое утро, выйдя в коридор, увидела Катюша, что дверь к старикам открыта, старая княгиня подметает пол, а на ломаной кровати вместо мальчика сидит сам старый князь. Тут она поняла, что мальчика ночью увезли.

Вскоре после этого события привела хозяйка в кухню здоровенного бородатого мужика.

— Вот, — сказала, — Агафья, ты говорила, что умеешь доить. Ну, если и не очень умеешь, так научишься. Вот это козодой, у него козы. Будешь ему в хозяйстве помогать и за козами смотреть, молоко разносить, там уж он скажет, что и как.

— Та-ак-с, — сказал козодой и посмотрел на Катюшу ласково. — Ты, тетенька, раньше-то что работала?

— Да я больше так, вроде такого, то есть по хозяйству и шила.

— У меня надо за козами ходить. Доить-то умеешь или городская?

— Ну, кто ж не умеет доить? — сказала Катюша обиженным тоном. — Что я урод, что ли, что не смогу козу подоить?

— У меня четыре, — сказал козодой и снова посмотрел на нее ласково.

— Ну, чего долго думать, — решила матушка, — бери платок, Агаша, да и марш.

— А вещи ейные? Я бы заодно прихватил, — сказал козодой.

— А вещи я потом сама занесу, — отвечала матушка, легонько подталкивая Катюшу к выходу.

— Интересно, — подумала Катюша, — какие такие вещи она принесет.

Козодой жил за городом. У него был домишко — не свой, он нанимал. Было кое-какое хозяйство, но любимое дело — козы. Он продавал молоко и готовил сыр, такой острый и пахучий, что Катюша потом несколько лет не могла отделаться от впечатления того запаха. Во сне снился.

Доить оказалось и трудно и противно. Когда присела она в первый раз около толстой старой козы, козодой крякнул:

— Эх, ты, раззява, чего ж ты не с руки села?

Катюша растерялась и не сразу поняла, в чем дело. Обошла с другой стороны.

— Господи! — молилась она. — Хоть бы этот дурень ушел, я бы одна лучше наладилась.

Потянула отвратительную козью резинку. Молоко зажурчало, ударило струйкой.

— Бррр!

Коза повернула голову и посмотрела прямо на Катюшу. Посмотрела тупо, вопросительно.

— Ну, чего же ты смотришь? — вздыхала Катюша. — Не смотри. Сама знаю, что выгонит.

Но козодой не выгнал.

Он, напротив того, влюбился.

Жилось Катюше у козодоя недурно — спокойно и сытно.

Она стала поправляться, пополнела, зарумянилась. К работе привыкла скоро, да и козодой особенно ее не утеснял. Он был добродушный.

Звал он ее сначала бабкой, потом тетенькой, а под конец красавушкой. Так на этом и остановился.

Очень удивлялся на ее руки.

— Как же ты, — говорил, — красавушка, огороды копала? Пальчики у тебя тоненькие.

— А я больше по городскому делу работала. Шила, убирала.

Он качал головой.

— А мне все кажется, будто ты и не из простых.

— А то из каких же? Из сахарных?

А раз напевала она французскую бержеретку, обернулась, а он стоит, глазами хлопает.

— Это ты по-каковски?

— По-каковски? — спокойно переспросила Катюша, — Разве ты не понимаешь? Это я по-татарски пела. У нас там татарин жил, я от него и переняла.

— Ишь! — задумчиво сказал козодой. — Вот ко мне иногда татарин сапожник ходит. Так я у него спрошу.

Катюше это не особенно понравилось.

Прожила она у козодоя уже несколько месяцев, как вдруг он ей говорит:

— Давай, Агаша, повенчаемся. Будешь хозяйкой в доме, а мне тоже ведь жениться пора, уже восемь лет вдовею.

«Вот так штука, — подумала Катюша. — Придется отсюда уходить».

И стала она козодоя уговаривать:

— Ну какая я тебе жена! Я для тебя стара, тебе нужна баба молодая, работящая. А я, видишь сам, из портних, работать у тебя, как следует, никогда не навыкну. Вот приходила к матушке Маша, огородница, — вот это для тебя подходящая будет. Молодая, красивая, здоровая. А на мне жениться — только жизнь загубить.

— А когда я по тебе сохну, — сказал козодой и покрутил усы.

— А ты погоди. Вот я к тебе приведу Машу, так поймешь, по ком нужно сохнуть.

На другой день пошла к матушке узнавать насчет Маши.

У матушки нашла перемену. Старики уехали. Вместо них жила какая-то тоненькая барышня с пожилой дамой.

— Ах, вот хорошо, Агаша, что ты пришла, — встретила ее хозяйка. — Вымой у них окошко, я не могу — плечо ломит.

Катюша охотно согласилась, решила заодно прибрать все в комнате.

— Пол мыть не надо, — сказала дама. — Вчера один офицер вымыл. То есть один вообще... — поправилась она, поймав предостерегающий взгляд барышни.

«Опять здесь что-то творится», — подумала Катюша.

Барышня сидела на кровати, опустив голову и беспомощно уронив руки.

— Вот никогда, никогда не принимайте этой позы, — внушительно сказала дама. — Это страшно характерная поза. И кто «их» хоть раз видел, тот сразу вас узнает.

— Я не буду, не буду! — испуганно взметнулась барышня.

— Я уж много раз вам на это указывала, — с упреком сказала дама. — Вы простите меня, я ведь для вас, для вашей безопасности.

Она покосилась на Катюшу и сказала несколько слов вполголоса по-английски. Катюша не поняла.

Когда она убрала комнату, барышня остановила ее. Дама в это время вышла.

— Я бы хотела чем-нибудь отблагодарить вас, — сказала барышня. — Но у меня ничего нет. Вот могу вам дать на память...

Она порылась в тряпье, сложенном в ногах кровати, и вытащила беличью курточку.

— Она мне не нужна, я на днях уезжаю. Далеко. Там тепло. А вы ее непременно сохраните на память. Ее когда-то носил сам насл...

В это время вошла дама, и барышня осеклась.

— Я отдала эту курточку, — сказала она, виновато улыбаясь. — Мне ведь не нужно, а этой женщине очень пригодится.

— Если вам это угодно, — почтительно, но недовольно сказала дама.

Катюша вышла.

«Что она сказала? Она как будто сказала “наследник”. Если так, то как же она сюда попала?»

Она расспросила хозяйку о Маше, разыскала эту Машу, глупую румяную девку, и позвала ее к себе в гости с тайным умыслом сосватать козодоя.

Девке понравились козы и хозяйство, и она быстро выяснила, что не прочь все это себе привенчать. Сам козодой, по-видимому, тоже общего впечатления не испортил и, в смысле оценки, шел сразу после коз и сеновала.

Катюша всячески направляла воображение козодоя на Машу.

— Вот это баба! Вот это хозяйка! Вот это жена так жена. А что я? Такую и в люди показать совестно. Ничего толком не умею, руки как лапша. Не упускай, хозяин, своего счастья.

Козодой настроился.

А Катюша сбегала к матушке просить, чтобы нашла ей новое место.

Барышни больше не было. Уплыла на английском пароходе в те края, где беличьих курточек не носят.

Катюша набралась храбрости, спросила у матушки, кто была эта барышня.

Матушка поджала губы, подняла брови — удивляется, да и только.

— Не понимаю, про кого вы говорите?

— Ну, про ту, у которой я окно мыла и комнату убрала.

— Ровно ничего не помню, — недовольно отвечала матушка, повернулась и пошла прочь.

Но тут Катюшу задело это недоверие к ней.

— Матушка, а матушка! — крикнула она вслед. — А ведь эта самая барышня подарила мне ту самую меховую курточку и сказала, что ее надо беречь, как память кое о ком.

Матушка сердито обернулась.

— Над вами подшутят, а вы и всерьез. Зайдите дня через два, тут у одной купчихи искали работницу.

Сердечные дела козодоя быстро приняли надлежащий уклон. Назначили свадьбу через три недели. Козодой еще поглядывал на Катюшу и говорил, как бы в недоумении:

— Экая ты какая этакая. Н-ну, ну!

Очевидно, нравилась-то ему, в сущности, Катюша, но понять этого он не мог, так как она его убедила в необходимости любить именно толстую Марью.

Тем временем матушка устроила Катюшу в работницы у купчихи.

Купчиха была совсем простая, но почувствовала в Катюше былую барыню и любила повздыхать при ней о прежних временах. Шептала, трагически закатив глаза:

— Боюсь, Агафья, не стали бы они интеллигенцию бить. Мне-то еще помирать неохотно.

Служила она у купчихи довольно долго, как настоящая баба. Втянулась в работу, поправилась, пополнела, похорошела. Но вместе со здоровьем и молодостью, явилось у нее сознание своей загубленной жизни, воспоминание о муже, тоска по ребенку. Она пела бержеретки, потому что душа у нее проснулась, а проснувшись, вспомнила и затосковала.

Так служила она у купчихи. И ходил к этой купчихе немец, из бывших колонистов, по имени Юхан. То есть по-настоящему звали-то его Иоган, но Юхан было легче выговаривать.

Был он обыкновенный: белобрысый, белоглазый, пухлый, типичный колонист. Страдал тяжелой сентиментальностью.

Ему очень понравилась Катюша.

Он говорил ей:

— Вы не Агафья. Не верю. Вы другой человек, и вас надо отсюда увезти.

Катюша сначала не обращала внимания на его слова, потом как-то решила поговорить:

— Куда же можно меня увезти?

— За границу.

— А как?

— Выходите за меня замуж. Как жену смогу увезти.

— Да я же замужем.

— А кто это знает? Паспорт у вас есть?

— Нету.

— Так надо добыть.

И придумал Юхан такую штуку. Пусть Катюша идет на базар и там начнет вдруг кричать благим матом, что ее обокрали, что у нее вытащили сумку, в которой были деньги и все документы. И пусть голосит и бежит в милицию, и свидетели пойдут с нею. Пойдет сам Юхан, который, как будто совсем ее не знает, а только видел, как кто-то вырвал у нее из-под руки сумку. И еще пойдет Юханов приятель. А она пусть назовется Лукерьей Сапоговой, потому что такую Лукерью он знал, она померла, а у ней в деревне об этом неизвестно. Ей, значит, выдадут паспорт на это имя, я потом Юхан с ней повенчается в комиссариате, возьмет с собой за границу и там отпустит на свободу.

Не успели они еще привести этот план в исполнение, как пришла к купчихе сама матушка узнать, не приносили ли ей холста на продажу.

Катюше это показалось чего-то странным.

— Я пришла, — шепнула матушка, — сказать, что ваша сестра здесь с детьми. Вас ищет.

И увидела наконец Катюша свою Лялечку.

Катюша, войдя в дом, сказала сестре:

— Здравствуйте, я Лукерья.

— Здравствуй, Лукерья, — ответила Маруся. — Посмотри, какая у меня девочка Ляля.

Катюша смотрела и не понимала и не могла поверить, что эта кругленькая девочка, бегающая вперевалку, тепленькая, пахнущая супом и что-то весело болтающая, — та самая крошечная Лялька, которая сонно чмокала губами тогда, в последний вечер.

— Лялька, поцелуй Лукерью, — сказала Маруся. — Пойдем, Лукерья, в садик, поговорим немножко.

Разговор был короткий и очень страшный. Маруся хотела что-то сказать и не могла. Катюша глядела на нее и бледнела. Потом крикнула:

— Скажи прямо — он умер.

Маруся шепнула:

— Хуже.

И, помолчав, прибавила:

— Ушел «к ним».

Катюша тихонько простонала:

— А-а!

Помолчали.

— Значит — совсем? Бросил нас?

— Ну, конечно.

— Гад!

Больше они ничего не сказали друг другу.

* * *

Катюша часто бегала взглянуть на девочку.

Как-то раз укладывала она ее спать. И вдруг круглые упругие щечки раздвинулись, сморщился носик и лукаво-лукаво сощурились глазки. Девочка обняла Катюшу и зашептала ей в ухо:

— Я все знаю. Ты не Лукерья, ты мама.

Молодчина Юхан все проделал, как обещал. И все сошло, как по заказу, даже Катюшин визг и вопли на базаре. Потом стала Катюша Лукерья Швенн.

Когда новобрачные стояли уже на палубе парохода, к ним подошла попрощаться знакомая женщина с ребенком на руках. Новобрачная, которая с большим волнением жда-

ла эту женщину, сразу схватила ребенка на руки, а женщина сейчас же спустилась на пристань, громко прокричав:

— Я только куплю тебе яблоков на дорогу.

Ушла да так и не вернулась.

Таким образом новобрачные увезли этого ребенка с собой. Ну, конечно, не бросать же его в воду.

* * *

— Кэтти Руби? Кэтти уверяет, что живет третью жизнь?

— Говорят, что она выходит замуж за какого-то английского политика.

— Говорят, что ее дочь блестяще сдала экзамен и будет адвокатессой.

— Счастливая эта Кэтти. Такая молодая на вид. Вот что значит — прожить свою жизнь беззаботно.

Тетя Зета

Лене было всего пять лет, когда в первый раз увидела она тетю Зету, двоюродную сестру своей матери, эту роковую женщину своей судьбы.

И несмотря на то, что Лене было всего пять лет, эту первую встречу запомнила она на всю жизнь.

Было это утром, в какой-то, должно быть, праздничный день, потому что на ней было надето новое растопыристое платье, юбочку которого она приминала руками и все изворачивалась, чтобы посмотреть, как оно топырится сзади. Оно шуршало, трещало, верно, было накрахмаленное.

Платье это так заполнило всю Ленину душу, что она, незаметно для себя, забежала в гостиную, куда без зова ей приходить не полагалось. И вышло это совсем неудачно. В гостиной сидела незнакомая дама, очень высокая, плоская, в сером платье, застегнутом мелкими пуговками до самого горла. Дама удивленно подняла тонкие брови и, вытянув шею, медленно повернула голову, как потревоженный гусь.

— Почему ты так сюда являешься? — спросила она. — Разве тебе позволяют без спросу входить в гостиную?

Лена выпятила лоб и молчала. Она понимала, что лучше всего было бы повернуться и удрать. Но удрать она не могла. Вообще не могла шевельнуться.

Теперь, когда судьба ее известна, нам вполне понятно, почему она не могла шевельнуться. Здесь, в это самое мгновение, сцеплялись звенья всей ее жизни. Вот от этой точки и дальше, до самой смерти, звено за звеном, кольцо за кольцом, крепко, цепко, ни сбросить, ни разорвать, сбито, спаяно, скреплено. И стояла маленькая девочка Лена, не зная, не понимая, но странной силой заколдованная, стояла, не шевелясь.

— Уж если вошла, — продолжала сердитая дама, — так, по крайней мере, поздоровайся. Или тебя не научили, что с гостями надо здороваться? Чего же ты молчишь?

А Лена стояла, и не шевелилась, и смотрела на даму с тоской и отчаянием.

— Ты не умеешь здороваться? — продолжала дама. — Тогда изволь уйти вон из комнаты.

Лена сама радешенька была бы уйти, но чем больше говорила дама и чем дольше она сама стояла, тем невозможнее было сдвинуться с места.

Но тут вошла Ленина мама.

— Катиш, — обернулась к ней гостья, — как ты странно ее воспитываешь. Она влетела сюда, стоит и молчит. Какой нелепый ребенок. И какой у нее ужасный рот! Рот ее отца, который — ты сама должна это признать — никогда красотой не отличался. Она не умеет делать реверанса.

Мать покраснела и сказала Лене сердито:

— Сейчас же поздоровайся с тетей Зетой или уходи вон.

Но Лена не двигалась.

Тогда вышло нечто позорное.

Вызвали няньку, и та насильно потащила Лену из комнаты, и Лена упиралась, и цеплялась ногами за ножки стульев, и стулья ехали за ней с грохотом и треском. А в детской Лена повалилась на пол и орала: «А-а-а», страшная, синяя, с выпученными глазами, так что даже нянька не решилась ее отшлепать.

Теперь, когда мы знаем ее судьбу, мы находим, что эти вопли более всего и подходили к моменту. Именно так, понимая все значение встречи с тетей Зетой, она и должна была бы вопить.

* * *

Тетя Зета поселилась у них в доме. Гостила, что ли. Лена тогда этого еще не понимала.

Когда Лена выросла, она узнала, что тетя Зета была в то время молодой, очень красивой и тонкой дамой. За ней многие ухаживали, но без успеха. Она была вдовой крупного чиновника, но денег у нее не было, и она воспользовалась гостеприимством Лениной матери. Холодная, спокойная и злая, она заводила свои порядки, и все почему-то ее слушались и как будто даже боялись.

— Не болтай ногами, — говорили Лене. — Тетя рассердится. Не шуми, не стучи, не прыгай, делай реверансы, не соси палец, не пой, не ной, не трепли волосы, не клади локти на стол, не смейся — тетя рассердится. Смотри, как тетя прямо держится, как медленно говорит. Одевайся, как тетя, ешь, как тетя, ходи, как тетя. Если бы тетя видела, как ты сейчас безобразно сидишь!

Через сколько-то времени тетя Зета от них уехала, но призрак ее бродил по дому, мешал смеяться, вертелся, мешал громко говорить. Изредка тетя Зета появлялась, и каждый раз, видя ее, Лена застывала в тоске и ужасе и не могла ни поздороваться, ни уйти.

Тетя Зета посоветовала отдать Лену в институт. Лена, болезненно любившая свою мать, ни за что не хотела с ней расстаться и пришла в такое отчаяние, что захворала. Ее, все-таки, в институт отвезли, и там понемногу она отвыкла от матери, потеряла самую лучшую, милую радость — эту свою любовь.

Мать ее скоро умерла. Лена осталась одна на свете.

Как-то в приемный институтский день ей сказали, что ее пришла навестить тетка. Она так испугалась, что вся побледнела и затряслась. Потом кинулась приглаживать волосы мокрой щеткой. Она металась и не знала, как сладить со своим волнением. Закрыла глаза, перекрестилась и вошла в приемную. Но там сидела вовсе не тетя Зета, а какая-то незнакомая дама. Дама оказалась родной сестрой матери, недавно приехавшей из провинции.

— А я думала, что это тетя Зета, — задыхаясь, пробормотала Лена.

У нее билось сердце и звенело в ушах, точно она бегом влетела на пятый этаж.

— Я видела Зету, — сказала новая тетка. — Она почему-то говорила, что ты очень плохо воспитана и не знаешь английского языка.

Лена испугалась. Она действительно не знала английского языка. Но тут же поклялась себе, что английский язык изучит. Стала брать уроки.

Выйдя из института, поступила на службу.

— Тетя Зета, наверное, презирает меня, что я конторщица, — мучилась она.

По вечерам терзалась английскими переводами, которые ей не удавались. Одна из сослуживиц, хорошенькая, бойкая барышня, позвала ее на студенческую вечеринку. Лена густо покраснела и отказалась.

— Воображаю, что подумала бы тетя Зета о такой танцульке. Плясать с какими-то оболтусами.

Ей жилось очень скучно.

Она носила унылые серенькие платьица, застегнутые до горла на мелкие пуговки, причесывалась гладко, на пробор, что очень шло когда-то блестящим темным волосам тети Зеты и абсолютно не годилось для светлой пушистой головы Лены. Она держалась прямо, говорила медленно, с иронией, совершенно ей не удававшейся. Все, что было красиво у высокой гордой тети Зеты, у маленькой пухленькой Лены выходило очень комично.

Ее находили напыщенной и скучной.

Ей ужасно хотелось как-нибудь выдвинуться, прославиться, выйти замуж за богатого или знаменитого человека. И тогда можно будет спокойно встретиться с тетей Зетой.

Ей было уже тридцать лет, когда в нее неожиданно влюбился дантист, у которого она лечила зубы. Может быть, оттого, что перед сверлильной машиной ей некогда было разыгрывать из себя тетю Зету, и она была естественна и очень мила.

Дантист ей нравился. Он был маленький, худенький, очень добрый, веселый и ласковый. Она даже согласилась пойти с ним в синема, но весь вечер мучилась. Ей всюду мерещилась тетя Зета.

— С кем это я видела тебя в синема? — спросит она. — Такой маленький еврейчик. Как его фамилия?

Его фамилия была Зуськин...

Конечно, можно было бы сказать, что он из караимов — это, кажется, в Зетиных кругах считается аристократичнее. Но все равно под взглядом тети Зеты и от караима остался бы один пепел.

Лене было с ним хорошо и весело, и одинокая душа ее оттаивала, но она не посмела полюбить его. Ушла. Кинулась снова к английскому языку.

Потом явился Генри Корт, писатель, артист-любитель, красавец и почти граф, так как, по его словам, его предки при Петре Великом отказались от графского титула.

— Из гордости. Имя Корт стоило двадцати титулов.

Этот человек и был как раз тот, опираясь на руку которого, она смело могла бы предстать перед тетей Зетой.

Что этот писатель писал — она за полгода чрезвычайно близкого с ним знакомства так и не узнала. Вообще, ничего не узнала, кроме того, что он женат, развестись не может и не желает волновать жену своими романами, когда эти романы принимают «фатальную форму».

Лена не любила этого «почти графа», но горько оплакивала разбитую мечту. Хотела сохранить ребенка, но и этого не посмела. Все представлялось ей, что идет она по улице и встречает тетю Зету. Это был такой ужас, что она и во сне видела эту встречу и плакала с криком. Ребенка оставить было невозможно.

Кинулась снова к английскому, единственному ее прибежищу после всех катастроф.

Но и здесь уже чувствовалась безнадежность. Все равно, ничего не выйдет. Тети Зеты из нее не выйдет.

Почему она, эта тетя Зета, могла пройти тяжелую дорогу жизни так просто и гордо. А Лена все сбивалась с прямой линии, все мучилась, и ничто ей не удавалось. Как мог, например, понравиться ей такой ничтожный, миленький дантист? А по нему душа плакала, и он снился ей. Но иногда тут же появлялось и грозное видение тети Зеты. Тогда дантист скромно исчезал. Он даже сниться не смел в таком обществе.

Жизнь становилась все скучнее и тусклее. На английском языке был окончательно поставлен крест.

И вот как-то в автобусе окликнули ее.

— Елена Петровна! Вы?

Перед ней стоял Зуськин. Он постарел, пополнел. Десять лет прошло с тех пор, как они расстались.

Он сел на пустое место рядом.

— Ну, как вы живете? — спросил он.

— А вы? — вместо ответа спросила она.

— Ничего, слава богу. Дела идут отлично. Имею парочку деток. Молодое растет, старое стареет еще больше. Вот сегодня узнал о смерти своей старой пациентки. Замечательная была женщина — прямо черт. Влюбилась, извините за выражение, прямо в меня. Ей-богу. Лет шесть тому назад. Положим, я уже хорошо зарабатывал... Лет шесть тому назад. Она таки была старше меня лет на двадцать. Но на вид еще ничего себе. У нее долго был такой, некто Вурст — я ему мост ставил. Богатый человек. Ну, он с ней расстался. Хорошо, а я тут при чем? Мало того что два года не платила мне ни гроша, так еще позволила себе влюбиться в меня. И вдобавок самым законным образом, для брака. И такая важная дама. Вдова какого-то бывшего шишки, чуть что не княгиня. Теперь померла. Валушева. Не слыхали?

— Тетя Зета! — закричала Лена, и губы у нее посинели.

— Какая Зета? — удивился дантист. — Лизавета Ивановна Валушева.

— Тетя Зета! — повторяла Лена, как полоумная. — Тетя Зета! Так вот ты что! Так за что же я! Я-то за что же... Тетя Зета!

Дантист испуганно хлопал глазами.

— Ну, пусть будет Зета, — успокаивал он дрожавшую мелкой дробью Лену. — Пусть Зета. Разве я спорю? Ну? Вы уже меня убедили, хотя я ничего не понял, но пусть, пусть... И почему такое отчаяние? Ну, умерла старуха — чего тут оригинального? Все умрем.

Летом

Памяти Антоши Чехонте

Русский человек любит критиковать и мрачно философствовать.

Иностранец, тот, ежели не в духе, придерется к жене, выразит неудовольствие современными модами, ругнет порядки и в крайнем случае, если очень уж печень разыграется, осудит правительство, и то не очень пространно, а вскользь, не забирая глубоко, между двумя аперитивами и вполне в пределах благоразумия.

Русский человек не то. Русский человек даже в самом обычном своем настроении, если выдалась ему минутка свободная, особенно после принятия пищи, да подвернулась пара незаткнутых ушей — он и пошел. И сюжеты выбирает самые неуютные: загробную жизнь, мировое благо, вырождение человечества. А то метнет его в буддизм, о котором ни он сам, ни слушатель ничего не знают, и начнет наворачивать. И все мрачно, и все он не одобряет и ни во что не верит. Послушаешь — за все мироздание совестно станет, так все неладно скроено.

И все это, так я думаю, происходит оттого, что очень любят русские люди не любить. Очень им блаженно и сладко не любить. Иной и добрый человек, и мягкий, а скучно ему в его доброте и мягкости, и только и есть ему радости, когда можно невзлюбить кого-нибудь, — тут он расцветет, расправится и отойдет от нудности жития.

* * *

Это — вилла, в окрестностях Парижа, занятая русским пансиончиком.

Конечно, вилла, но была она «виллой в окрестностях Парижа» только до прошлого года, пока не оборудовала ее под пансион мадам Яроменко. С тех пор она стала не виллой, а дачей в окрестностях Тамбова. Потому что в каком жардене какой виллы услышите вы звонкие слова:

— Манька, где крынка? А-а? Под кадушкой?

Или приглушенный, осуждающий басок:

— Каждый день котлеты — это уж чересчур. Ну, сделай для разнообразия хоть сырники, что ли. За двадцать два франка можно требовать более внимания к столу.

* * *

После завтрака на маленькой терраске душно. Из кухонного окна доносится последнее замирание теплого лукового духа.

Гулять по дороге — жарко. Идти в лесок — лень. Сидеть на душной террасе — значит, сознательно располагать себя к мрачной философии и пересмотру мировых задач. Но что поделаешь.

Саблуков сидит под кадкой с лавром. Напротив него, под другой кадкой с другим лавром, сидит Петрусов. Оба долго слушают, как за закрытой ставней второго этажа ревет переписчицы ребенок.

— Счастливая пора! — говорит Петрусов и вздыхает.

— Это какая же? — иронически спрашивает Саблуков.

— Детство, миленький мой, детство. Неповторимое и невозвратное.

Саблуков фыркнул.

— Это детство-то счастливое? Очевидно, вас Володькин рев навел на эти сладкие мысли. Такой счастливец два часа ревет, точно с него шкуру дерут.

— Ну, знаете, горе этого возраста. Спать его укладывают, вот он и плачет.

— Да не все ли равно, от чего именно человек в отчаяние пришел. Кинулся бы на вас какой-нибудь верзила и насильно бы завалил, очень бы вы обрадовались? Нет, милый мой, скажу я вам — самая окаянная полоса жизни, это хваленое детство. Подзатыльники, тычки, щелчки, этого нельзя, того нельзя, ешь всякую дрянь, что получше — то вредно, говорить не смей, ногами не болтай, не кричи, не стучи. Каторга! И как они только все вниз головой да в воду не прыгают, удивляться надо.

— А ласка, а любовь, которыми они окружены? Ведь это потом всю жизнь вспоминаешь, — вставил Штрусов и снова вздохнул.

— Это что его по лицу грязными лапами треплют или маслят поцелуями кто ни попало? Вас бы так помяли, были бы вы довольны? Какая-нибудь старая бабка на вас бы беззубым ртом «тпрунюшка-тютюнюшка». Брр... жуть берет. А подрастут — учиться изволь. И какой только белиберды в них не заколачивают.

Чу, попалась птичка, стой!
Не уйдешь из сети.

Ну какому, скажите честно, положа руку на сердце, какому нормальному человеку пригодится в жизни такая «птичка стой»? Ну кому это нужно? А то еще какой-то господин изло-

жил стихами, как птенцы вылупились и улетели — и чего их все так на птиц тянет? — помните, наверное, и вы зубрили:

И целый-то день щебетуньи,
Как дети, вели разговор,
Далеко, далеко, далеко!

Черт знает что такое! Прямо срам! И кончается форменной ерундой.

Далеко, далеко, далеко!
О, если бы крылья и мне...

Почему вдруг крылья нормальному человеку? Нормальный человек, если хочет куда-нибудь съездить, покупает билет законным порядком. А тут — все время ничего не делает, у окошка торчит, «щепетуньи-лепетуньи», а как платить за билет — подавай ему крылья. Распущенность и бесстыдство!

— Ну, знаете, так тоже нельзя, — остановил его Петрусов. — Вы так совсем поэзию отрицаете. Стихи — вещь хорошая, особенно для молодежи. И в поэзии всегда поэт этак как-нибудь мечтает. Понимаете?

Дайте мне чертог высокий
И кругом зеленый сад.

— Как не помнить, ха-ха! — мрачно засмеялся Саблуков. —

Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград.

Отлично помню. Чтобы виноград зрел в тени. Ловко выдумал? Почему не как у людей, не на солнце? Нет, раз он поэт, так подавай ему все особенное. Ну, остальное понятно: и девицу, и собственных лошадей, и мраморные залы — кто от этого откажется? Но заключение, самый финал, очень странный. Поэт выражает желание проскакать разок по полю и что ему не надо счастья. Позвольте: дом есть — раз. Поле есть — два. Сад есть с виноградником, но в тени — три. Девица с лошадью — четыре. Чего же ему еще? От какого же он счастья отказывается? Ничего не понять, а ребенок зубри. А не знаешь, как этот франт хотел скакать, — не получишь аттестата зрелости.

Саблуков сердито помолчал и заговорил снова:

— И ведь не только отечественные стихи зубрили, нам и иностранные вдалбливали. Помните «Лесного царя»? Какая возмутительная штука! Я еще мальчишкой был, думал — что-то, мол, тут какое-то неладное! Подумайте сами: едет папаша на коне и везет сына под хладною мглой. Ладно. Под мглой, так под мглой — его дело. И вот за ними мчится старый черт — лесной царь. Бородища по ветру, брови седые. Пусть. И что же он, этот самый старый леший, говорит? Что он делает? Прельщает мальчишку.

Дитя, я пленился твоей красотой,—
Неволей иль волей, а будешь ты мой.

Ну, скажите откровенно, положа руку на сердце, — это нормально? Это прилично? Ну, я понимаю, там в сказках Мороз Красный Нос влюбился в девицу-красавицу, так ведь не в мальчишку же! А этот бородатый дядя, изволите ли видеть, «неволей иль волей, а будешь ты мой». А дети должны это учить наизусть. И глупо же до чего, послушайте только:

Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, перлы и радость сулит.

Это мальчишке перлы! Ну, на что мальчишке перлы! Ну, положа руку на сердце — ведь глупо? Мальчишке сулить надо коньки, велосипед, булку с колбасой. Вот что мальчишке сулить надо. А то вдруг «перлы»! Выдумают тоже.

— Это перевод, — сказал Петрусов. — В подлиннике, кажется, не так. В подлиннике, что-то насчет его муттер, что у нее золотое платье.

— Еще того пуще! Ну какое дело мальчишке, какие у старой ведьмы туалеты? Сам-то лесной царь — дядя не молоденький, а мамаше, наверное, лет под сто. Тьфу! По-э-ти-ческая фантазия! Ты мне красоту покажи, а не то что! Сулит мальчишке старую лешачиху. А папенька скачет и ничего не слышит.

— Это намек, что родители всегда обо всем узнают последние и не знают, что у них за спиной делается.

Саблуков нахмурил брови и понизил голос.

— Нет, миленький мой, здесь похуже. Здесь хотели дискредитировать идею. Какую? Идею царя. Вот, мол, какими делами цари занимаются. Живут в перлах и безобразничают. Большевизм, дорогой мой. Большевистская пропаганда.

А вся эта «хладная мгла», которая мчится! Это все соус, чтобы не сразу в глаза бросалось. Большевизм, друг мой!

— Эка куда хватили! — недоверчиво сказал Петрусов.

— Да, да, да! Нечего «эка». Тут уж не «эка». И все у нас так. Помню, актрисы на концертах декламировали:

И день и ночь ее воспоминанье гложет,
Как злой палач, как милый властелин.

— Я еще тогда обратил внимание. «Позвольте, — говорю распорядителям, — какой же это милый властелин, который гложет»? Это, говорят, у Апухтина, а мы ни при чем. Ни при чем! Не надо допускать. А вы тоже скажете «эка»?! Вот и погубили Россию. И радуйтесь.

— Ну, это вы знаете, уж...

— Ничего не знаю и знать не хочу, — оборвал Саблуков. — И вообще на эти темы с вами говорить не желаю. У меня еще есть идеалы в душе.

Саблуков встал.

Гулять по дороге жарко. Идти в лесок лень.

Он снова опустился на место. Посопел и сказал мрачно:

— А не думаете ли вы, положа руку на сердце, что вся Европа летит к черту?

«Началось!» — подумал Петрусов.

Но гулять по дороге было жарко, а идти в лесок было лень, поэтому он вздохнул и ответил кротко:

— Разве?

И закрыл глаза.

Семейная поездка

Долго спорили, когда лучше выехать — с утренним поездом или с вечерним.

Бабушка считала, что с утренним.

— По крайней мере, хоть в окошко смотреть можно.

Клавдия стояла за вечерний.

— Заснешь, и не так долго время тянется.

Строкотов своего мнения не имел. Хотя, может быть, и имел, но никогда не высказывал, потому что никто его мнения не спрашивал. Так что ограничивался он тем, что тихонько поддакивал то бабушке, то Клавдии.

Готовились к путешествию долго. Бабушка распустила вязаную кофту и связала для Петуши свитерок. Потом распустила шерстяные чулки и связала Петуше трусики. Потом распустила теплые перчатки и связала ему носочки.

— По крайней мере, ребенок одет как куколка.

Петуша, веснушчатый и гунявый отпрыск семейства Строкотовых, был похож на своего запуганного безнадежного отца, но похож только внешне. Нравом же в корне отличался. Насколько отец был скромен и старался стушеваться, настолько Петуша выпирал на поверхность. Он был зол, капризен, ничем не доволен. От отца унаследовал только веснушки, рыжесть и вечный насморк: зимой — обыкновенный, простудный, летом — сугубый, сенной.

Мать семейства, Клавдия, некрасивая, тощая, на коротких толстых ногах, в качестве страдалицы и жертвы пилила мужа с утра до вечера. Старуха, для водворения спокойствия, заступалась за зятя умиротворяющими словами:

— Ну чего ты от дурака хочешь?

Клавдия, мечтавшая в юности танцевать в балете, считала, что погубила себя, выйдя за Строкотова. Чтобы хоть чем-нибудь скрасить свою жертвенную жизнь, стала называть себя Кэт. Произносилось это имя в их семье не через оборотное «э», а мягко, по-русски, «Кет».

Природа, породившая всю эту семейку, выражаясь языком современности, имела определенное задание. Муж предназначался на роль барана, Кет — швейки, старой девки, старуха — мирной сплетницы и кофейницы. Судьба же, как бездарный режиссер, всем подсунула роли не по амплуа, подняла занавес, сыграла ритурнель и пустила машину в ход.

Строкотов выбивался из сил, исполняя злодея-губителя; Кет явно проваливала роль укротительницы змей, а старуха выступала каким-то королем Лиром, но без Корделии.

Дуй, ветер, дуй,
Пока не лопнут щеки!

И вот tout ce joli monde[1] двинулись на дачу.

Дача была нанята с воплем отчаяния, с задатком, рассрочками, Кет рыдала и ругала Строкотова, загубившего ее жизнь целиком и губившего ее еще по мелочам. Строкотов лез в плакар вешаться и смял тещино манто. Теща урезонивала Кет.

— Не терзай дурака, ответишь, если что, перед полицией.

Потом напекли пирожков и поехали.

* * *

День выдался на редкость жаркий.

Строкотов, волочивший багажную корзину и вагонные чемоданы, изнемог до того, что даже (невиданно, неслыханно) стал огрызаться. Это выходило у него так нелепо и даже жутко, как если бы морская свинка под ножом вивисектора вдруг повернула морду и сказала с негодованием:

— Чего же это ты, сволочь, мне брюхо пропорол?

Железнодорожники любят в жаркую погоду прокалить, как следует, состав поезда на солнце, чтобы к моменту отъезда от вагона несло каленым утюгом.

Петуша в окно смотреть не пожелал, а сразу же принялся за пирожки. Старуха уныло вспоминала, какие вещи забыли и что именно пожрет моль.

Несчастному Строкотову мгновенно влетел уголек в глаз. Ему всегда влетал уголек в глаз, и все немногочисленные выезды из Парижа были отмечены этим несчастьем. Он моргал, выворачивал себе веко, тер глаз кулаком к носу, тер платком, против носа — ничего не помогало.

Кет злилась и шипела:

— Почему с другими этого не бывает? Колумб всю Америку открыл, и ничего ему в глаз не влетело. Васко да Гама, да и мало ли их было, и никто, никогда, ничего! А наш осел прямо ловит всякую дрянь глазами.

— Оставь, Кет, — урезонивала старуха. — Ну чего ты от него хочешь? Точно, не понимаешь, что это за человек. Береги свои нервы.

От возни с глазом Строкотову стало еще жарче.

---

[1] Вся эта милая компания (*фр.*).

— Умираю, пить, — стонал он. — Отчего мы не захватили воды?

— Не захватили оттого, что ты ни о чем не подумаешь, — отвечала жена и продолжала развивать свою мысль долго, уныло и злобно.

— Разве ты способен о чем-нибудь подумать? Абсолютно не способен. Никогда ни о чем. Не было еще случая, чтобы ты о чем-нибудь подумал.

— Спроси у него, целы ли деньги, — сказала старуха дочери, не желая, в силу необычайного презрения, обращаться прямо к зятю.

— Целы, маман, целы, — успокоил ее Строкотов. — Сто франков в бумажнике. Но я, все равно, умираю, а воды нет.

В вагоне становилось все жарче. Видя страдания мужа, Кет вдруг прониклась жалостью, но по странной своей душевной организации не к Строкотову, а к собственной матери.

— Мамочка, ты вся вспотела, тебя легко может продуть. Виктор, потрудись закрыть окно. Мамочка простудится. Тебе, наверное, безразлично, если женщина, которая столь-ким тебе пожертвовала, схватит воспаление легких. А мне не все равно. Закрой окно!

Старуха, собиравшаяся, было, протестовать против закрытого окна, потому что ей самой было нестерпимо жарко, увидела, как зятю мучительно не хочется послушаться, и мгновенно решила принести себя в жертву, лишь бы ему было тошно.

— Спасибо, Кет, что бережешь свою мамочку. Дрожащими руками Строкотов захлопнул окно, со стоном опустился на свое место и закрыл глаза. И видно было, как у него на шее надулись жилы.

Старуха пытливо скосила на него глаз.

«Выдержит или не выдержит?»

Решила, что выдержит.

Дуй, ветер, дуй,
Пока не лопнут щеки!

Поезд замедлил ход.

Страдалец открыл глаза.

— Я выйду и куплю бутылку «Виши», — сказал он, ни на кого не глядя.

И было в его тоне что-то такое, что ни мать, ни дочь не нашли сразу подходящей реплики. Поезд остановился, и Строкотов, стараясь не глядеть на своих дам, чтобы они его не остановили, бросился на платформу. Но так как ему никогда ни в чем не везло, то шаретка с сэндвичами и питьем оказалась в другом конце поезда. Он делал отчаянные жесты, призывая ее к себе, но она обслуживала других пассажиров, и пришлось самому бежать к ней.

«Виши» нашлось.

— Комбьен?[1]

— Труа фран[2].

Он порылся во всех карманах. Но мелочи у него никогда не было, и порылся он просто так, на авось. Пришлось лезть в бумажник и доставать заветную стофранковку.

Парень, толкавший шаретку, взял бумажку, долго ее разглаживал, справился еще раз у Строкотова, нет ли у него трех франков, раскрыл какую-то коробочку, пошевелил в ней пальцем, подал подошедшему покупателю сэндвич, дал ему сдачи и снова стал шарить, держа все время в руке проклятую стофранковку. Дрожащий от нетерпения Строкотов взглянул с ненавистью на этого втершегося покупателя и увидел, как тот вдруг припустил ходу и рысью помчался к поезду. Строкотов оглянулся. Поезд двигался.

Сердце ударило. В глазах потемнело. Прижав к груди холодную пузатую бутылку, Строкотов кинулся к поезду, уцепился и вскочил в последний вагон.

— Сдачу получил? — дружно, в голос, закричали дамы, наблюдавшие в окно за всей этой сценой.

— Где там, — уныло ответил он и наивно, желая переменить разговор, деловито спросил:

— Пробочник не забыли?

У дам от бешенства так перехватило горло, что они даже задохнулись. Говорить не могли.

— Где? — вдруг очнулась Кет. — Где сто франков? Господи! Да что же это за мука! Ни один беглый каторжник не позволит себе такого хамства.

---

[1] Сколько? (От *фр.* combien.)

[2] Три франка (от *фр.* trois franc).

Она так дико кричала, что даже ко всему привычный Петуша, с любопытством наблюдавший занятную сценку, вдруг испугался и заревел.

Старуха, хотевшая было тоже вставить свое слово, долго ждала паузы, но, не дождавшись, обиделась на дочь.

— Нельзя так кричать! Французы слушают. Нехорошо.

— Наплевать мне на ваших французов, — огрызнулась дочь. — Этот кретин оставил нас без гроша денег, а вам все равно. Вам лишь бы перед французами фигурять. Напрасно стараетесь! Все равно, кроме «саль этранжэ», ничего от них не дождетесь.

Услышав неприятные и вполне понятные французские слова, сидевший у другого окна француз принял их на свой счет, раздул ноздри, задышал, засопел и, видимо, стал мысленно составлять какую-то фразу.

— Перестань, Кет, — строго остановила старуха. — Лезет на скандал.

Но Кет не слушала и не слышала.

— «Виши» захотелось. Отчего же? Разве нам денег жалко? Сто франков так сто франков. А жена пусть голая ходит, лишь бы ему «Виши» было.

И вдруг Строкотов вскочил, страшный, черный, волосы дыбом.

— К черту! — заорал он. — Все к черту! Не хо-чу-у-у!

И взмахнув над головой, как индеец томагавком, пузатой бутылкой, он швырнул ее в окно.

— Держите меня! — захрипела Кет. — Держите меня! Теперь я, наверное, его убью.

— Молчи! — истерически крикнула старуха и вдруг, ко всеобщему удивлению, задрала ногу и стала сдирать с нее башмак. Содрала, сунула руку в чулок и, дощупавшись до следа, вытянула из-под пятки сложенную газетную бумажку. Все молча, замерев, смотрели на нее со страхом и удивлением, как глядят на фокусника, достающего из пустой шляпы живую курицу.

Старуха развернула бумажку и вынула крепко спрессованную стофранковку.

— На! Подавись, — спокойно сказала она, протягивая деньги дочери.

Та взяла, аккуратно спрятала их в свою руку, поджала губы.

— А теперь потрудись объяснить, откуда у тебя эти деньги, — сказала она.

Старуха молчала.

— Накопила? Из хозяйственных? И это мать! И это та, которая должна быть примером самоотвер... Что такое?

Поезд остановился.

— Приехали, — крикнул Строкотов, — вылезайте скорее! Остановка всего три минуты. Живо! Кет! Твоя картонка! Маман, не забудьте сверточек.

— Как скоро доехали! — оживилась старуха.

— Удивительно! — подхватила Кет. — Я даже не заметила. Петуша, дай мамочке ручку. Виктор, тащи же корзину. Вечно что-нибудь прозевает. В общем, чудесно доехали.

Научное

Она приходила часто и сидела подолгу, и было это далеко не весело.

Входила всегда со словами:

— Простите, дорогие, что долго не была. Все некогда. К тому зайди, к другому зайди, а концы в Париже большие, никак ко всем не поспеть.

— Голубчик, Марина Петровна, — не без хитрости успокаивает ее Вертунова. — Голубчик, да разве мы с вами визитами считаемся? Конечно, видеть вас — большая радость, но я ни за что не хочу, чтобы вы создавали себе обязанность нас навещать.

Уж, кажется, ясно.

Но Марина Петровна не из тех, которые ловят намеки на лету.

Она усаживалась поудобнее и вынимала из бумажного мешка работу.

После этого хозяйская дочь вдруг вспоминала, что должна бежать куда-то очень далеко по какому-то неотложному делу. Хозяйский сын решал, что пора, наконец, серьезно приналечь на науки, и запирался в своей комнате. Бедная Вертунова одна, беззащитная, с остервенением принималась за хозяйственные дела: мыла посуду, пересчитывала в шкафах белье, кипятила, варила, чистила, изредка подавая через коридор реплики, не всегда впопад.

— Чудесная погода. Но как будто стало хмуриться, — тянула Марина Петровна.

— Кому? — ревела из кухни Вертунова.

— Видела я сегодня в трамвае барышню. Удивительно живое выражение лица.

— Сколько? — ревела Вертунова.

Если же случался в доме гость, и Вертуновым неудобно было удрать, Марина Петровна усаживалась у двери и завладевала положением. Как опытный передовой олень, прокладывала она тропу собеседования, остальные, как испуганное стадо, прыгали за ней, не поспевая и обрываясь.

Вид у Марины Петровны всегда очень значительный. Жиденькие седые волосы, аккуратно загофрированные, оставляли просветы хорошо промытой, блестящей кожи. Косенькие глазки смотрят строго, зубы во рту пощелкивают. Шея коротенькая и подперта воротничком с брошечкой; брошечка сама по себе достойна внимания: кругленькая, золотая, вся в каких-то загоговочках и закорючках. Зачем ее такую придумали и зачем пустили по белу свету, дав ей совсем не подходящее для нее значение — украшать! Много есть странного в земном нашем существовании.

Грудь у Марины Петровны куриная, ножки такие коротенькие, что, садясь на стул, ей приходилось подпрыгивать.

И вот при наличности всего вышеописанного чувствует она себя всегда и везде вожаком идей и передовым оленем.

Разговаривая, она тыкает крючком свое вязанье, точно подчеркивает этим движением свои слова, ввязывает их в бурую тягучую полосу.

— Жизнь в Париже требует ужасного напряжения, — говорила она. — Всюду спеши, всюду поспей. Вот смотрите, вот, например, вчера — у меня вырезка из газеты — половина девятого — объединение поэтов, неловко же не пойти. В восемь «Сравнительная физиология рас» — ладно. А в девять лекция «О местном самоуправлении». Пойду туда — значит, пропущу, тоже в девять, другую лекцию — «Военный потенциал». А Зурикины звали в восемь чай пить. Ну, вот и делай как знаешь. Решила хватить немножко потенциалу, да и махнуть к Зурикиным.

— А что же это за потенциал? — состроив любопытствующую рожу, спросил сын Вертуновой.

— Как вам сказать... Это в двух словах не расскажешь. Тем более что я до конца остаться не смогла. Но, во всяком случае, кое-что для себя вынесла. Да, не без пользы.

Но в последнее время Марина Петровна перестала разбрасываться и сосредоточилась. Ее потрясли новые открытия в области физиологии, зоологии, медицины и хирургии. Всякая метафизика потеряла для нее интерес.

— Конечно, йоги, — объявила она, — это, как говорится, имеет за собою долю подкладки, и я немало побегала на разные этакие лекции. Очень даже в свое время увлекалась. Бывало, по целым часам упражнялась — носом воздух втягиваю, а через рот выпускаю. Прямо до сердцебиения. Очень полезно. А потом еще так — ложилась и дышала. И как дыхну, так носками шевельну. Все — как указано. Рис, конечно, ела. Но особых результатов не получила. Был тут еще один учитель в замечательных пикейных штанах. Встанет на эстраду и прыгает. И мы за ним. Было нас там шестнадцать старух и две девочки. «Прыгнем, — кричит, — до самого солнца»и «прощайте своих врагов и ешьте творог». Ну, там одна старуха так растряслась, что пришлось ей печенку оперировать. Я и ушла. Но очень был интересный этот господин. То есть тогда казался интересным. А теперь меня влечет к себе только научное. Боже мой, какие открытия! Ну, взять, например, муравья. Ну чего только у них нет! И дети, и гувернантки, и скотоводство, и ванна, и презрение к бедным, и война, и беспроволочный телеграф. Да, да, опыты делаем. Унесут муравья куда-нибудь подальше и сделают ему какую-нибудь неприятность. А другие ученые наблюдают за муравейником. И что бы вы думали? Моментально в муравейнике начинается беспокойство. А как они могли узнать? По беспроволочному телеграфу. Вот у кого учиться-то надо.

Тут следовала длинная пауза, унизительная для слушателей.

— А какие чудеса в медицине! — начинала снова Марина Петровна. — Приехал в Париж профессор, а у профессора палочка. Сунет профессор палочку больному в нос, пощекочет — и кончено. И все у больного пропало. Ну, буквально все как есть.

— То есть, что же такое пропадает? — спрашивает недоверчивый слушатель. — Что пропадает? Деньги, что ли?

Марина Петровна казнила его молчанием.

— А теперь вот взять опять малокровие, — продолжала она. — Ведь как его раньше лечили — железо да железо. А на кой прах больному человеку это самое железо? Разве кто этим вопросом мучился? А теперь не то. Теперь возьмут лошадь и утомят ее до полной анемии. Ну, ей, конечно, умирать не хочется, она и начинает в себе вырабатывать всякие штуки, чтобы противоборствовать. А ученые давай из нее эти штуки вытягивать. Вытянут, в бутылочки засмолят, так это вам не железо. Тут, если денег не жалеть, можно себе сорок лошадиных сил скопить.

— Как Испано Суиза! — вставляет завистливый слушатель.

— А теперь, говорят, такую штуку придумали, ввиду кризиса и всяких неприятностей. Возьмут лошадь и начнут ее огорчать. Ну, у той, конечно, печень разыграется, желчь разольется, оно и понятно. Лошадь ведь тоже человек, от худого обращения ей тоже не сладко. И вот, опять-таки, начнет в ней вырабатываться равнодушие. Чем больше ее огорчают, тем больше у нее равнодушие, и все нипочем. Стоит и улыбается. И вот тогда ученые живо скоро начинают из нее вытягивать эти самые равнодушные соки и живо скоро в шприц — и пациенту под кожу, в нервную систему. Ну, понимаете сами, раз лошадь выдержала, то человеку уж совсем пустяки. Такому человеку ничего не страшно. Его можно прямо при всех с грязью смешать, и ни одна фибра у него не дрогнет. Сделайте ваше одолжение.

— И откуда вы таких чудес понабрались? — удивляются слушатели.

— Ходите на лекции, следите за наукой, — холодно отвечает Марина Петровна. — Конечно, если будете только сидеть да хлопать ушами, вы многого не вынесете. Надо вникнуть, понять, подумать, усвоить. Вот теперь, например, столько говорят о китайском лечении при помощи уколов. Вы, конечно, ничего не знаете, а, между прочим, это средство не новое, и уже много лет все ахают и удивляются. Отчего Китай не вымирает? Оттого, что у них медицина на правильном пути. И ведь такая простая вещь. Если человек болен, надо только знать, куда его уколоть. Удачно попаде-

те, он сразу и выздоровеет. Вот, например, болит у человека зуб. Его, оказывается, надо немедленно уколоть в левую пятку — и боль как рукой снимает. А почему? А потому, что зубы тесно связаны с пятками и живут, так сказать, общей жизнью. Но кто бы это подумал? А между тем, это так.

— А почему же, если пятку уколоть, то зубу легче станет? — спрашивает бестолковый слушатель. — Почему не наоборот? Почему не хуже?

— Ну как же вы не понимаете такого пустяка? Вы меня даже удивляете. Впрочем, все это от непривычки научно мыслить. Неужели вам не ясно, что если вы будете причинять болевое ощущение в каком-нибудь месте животного организма, то этим самым облегчаете состояние связанного с ним, так сказать, симпатизирующего ему органа.

— А по-моему, из симпатии-то он должен еще пуще разболеться.

Марина Петровна презрительно пожимает плечами:

— Полное отсутствие научного метода мышления. И почему вы не стараетесь развиться? Вот мне недавно рассказывали про новое средство для восстановления сил. Такие гранюльки глотать с водой. Знаете, как они добываются? Это, милые мои, целый роман. Берут курицу в тот момент, когда она несет яйцо. Понимаете? В самый напряженный и яркий момент ее жизни. И в этот самый момент, из этого самого цыпленка что-то тянут.

— Из какого цыпленка?

— Ах, боже мой, да из того, которого она несет.

— Так ведь она не цыпленка, а яйцо.

Марина Петровна удивилась:

— Вы так думаете? Значит, мне не так передали. Постойте. Тянут, очевидно, из петуха. Курица несется, клохчет, петух чувствует инстинктом свою вину в ее страданиях и свою гордость от подсознательного сознания создания мироздания. Конечно, в небольшом масштабе. Это самый напряженный момент в жизни петуха как такового. Удивительная вещь! Я вам говорю — целый роман.

— Ну и что же, помогает?

— Нет, абсолютно не помогает. Но это ведь и не важно. Важны новые принципы, новые пути, новые начала. Нельзя ко всему относиться с утилитарным подходом. Стыдно!

И сердито ткнув крючком, она ввязала конец своей фразы в длинную, тягучую, бурую полосу.

Вот вам! Чувствуйте!

Воля

Вольно, мальчик, на воле!
На воле, мальчик, на своей!

Новгородская песня.

— Вот и лето настало.

— Вот и весна. Май. Весна.

Ничего здесь не разберешь. Весна? Лето? Жара, духота, потом — дождь, снежок, печки топят. Опять духота, жара.

У нас было не так. У нас — наша северная весна была событие.

Менялось небо, воздух, земля, деревья.

Все тайные силы, тайные соки, накопленные за зиму, рвались наружу.

Ревели животные, рычали звери, воздух шумел крыльями. Высоко, под самыми облаками, треугольником, как взлетевшее над землею сердце, неслись журавли. Река звенела льдинами. Ручьи по оврагам журчали и булькали. Вся земля дрожала в свете, в звоне, в шорохах, шепотах, вскриках.

И ночи не приносили покоя, не закрывали глаз мирной тьмой. День тускнел, розовел, но не уходил.

И мотались люди, бледные, томные, блуждали, прислушивались, словно поэты, ищущие рифму к уже возникшему образу.

Трудно становилось жить обычною жизнью.

Что делать? Влюбляться? Писать стихи о любви и смерти?

Мало. Всего мало. Слишком сильная наша весна. И манит она всеми своими шепотами, шорохами, звоном, светом — на простор, на волю. На вольную волю.

Воля — это совсем не то, что свобода.

Свобода — liberté, законное состояние гражданина, не нарушившего закона, управляющего страной.

«Свобода» переводится на все языки и всеми народами понимается.

«Воля» — непереводима.

При словах «свободный человек» — что вам представляется? Представляется следующее. Идет по улице господин, сдвинул шляпу слегка на затылок, в зубах папироска, руки в карманах. Проходя мимо часовщика, взглянул на часы, кивнул головой — время еще есть — и пошел куда-нибудь в парк, на городской вал. Побродил, выплюнул папироску, посвистел и спустился вниз, в ресторанчик.

При словах «человек на воле» — что представляется?

Безграничный горизонт. Идет некто без пути, без дороги, шагает, под ноги не смотрит. Без шапки. Ветер треплет ему волосы, сдувает на глаза — на глаза, потому что для таких он всегда попутный. Летит мимо птица, широко развела крылья, и он, человек этот, машет ей обеими руками, кричит ей вслед дико, вольно и смеется.

Свобода законна.

Воля ни с чем не считается.

Свобода есть гражданское состояние человека.

Воля — чувство.

* * *

Мы, русские, дети старой России, рождались с этим чувством воли.

Крестьянские дети, дети богатых буржуазных семей и интеллигентной среды, независимо от жизни и воспитания, понимали и чувствовали призыв воли.

На этот голос откликались тысячи бродяг, каких ни в какой другой стране не увидишь. И не потому не увидишь, что, мол, в других странах порядок строже и жизнь обеспеченнее, так что нет ни возможности, ни смысла бросить родное гнездо. У нас к бродягам тоже относились строго, арестовывали, приговаривали к наказанию, водворяли на место жительства. И не всем, покинувшим свой дом, жилось в этом доме плохо. Так что причина лежит не здесь.

В чем же она?

Любовь к путешествиям, что ли?

Купите такому бродяге билет, отправьте его с деньгами и комфортом в чудесное русское место, на Кавказ, в Крым, так он выпрыгнет из вагона где-нибудь в Курске, деньги пропьет и пойдет пешком в Архангельск. Зачем?

— Да там, говорят, деготь дешево продают.

— А на что тебе деготь?

— Да так, к слову пришлось.

Дело не в дегте, а в том, что надо идти. Идти куда глаза глядят.

Вот она, цель русской души.

Куда глаза глядят.

Как в сказке — пойди туда, не знаю куда.

И ходят-ходят по всей России, по дорогам, по тропочкам, прямо по целине, вдоль, поперек, старые, молодые.

Поймают такого, вернут на родину — он опять уйдет. Их у нас на севере называли спиридоны-повороты.

Шагает такой спиридон-поворот по дороге, на голове самая неожиданная шляпа ермолка, скуфейка, панама без верха, одна тулья, шапокляк. Все, что угодно, вплоть до бабьей косынки. Ноги босые, в опорках, за спиной котомка или узел, на поясе, сбоку, жестяной чайник.

Идет, словно его наняли, а и сам не знает, куда и зачем.

И какого только народа нет среди них. И беглые монахи, и купеческие сынки, и поповичи.

Помню, жил в Новгородской губернии старый исправник. Было у него, как полагается в сказках, три сына. Дальше уже не совсем, как в сказке: не «старший умный был детина». Все трое были так себе, самыми обыкновенными мальчишками и учились в кадетском корпусе. Старший — веселый, здоровый малый — кончил училище, был произведен в офицеры, приехал на побывку домой, и все заметили, что он стал задумываться. Задумывался недолго. Как-то утром нашли в его комнате мундир с сапогами, а самого его не нашли. Куда ушел, в чем ушел — ничего неизвестно.

Через несколько месяцев вернулся. Не совсем. Только заглянул, и в таком виде, что лучше бы и не заглядывал,— пьяный, рваный, веселый и даже восторженный.

Отец был в отчаянии. Делал все, что мог. Лишал родительского благословения, проклинал, плакал и деньги предлагал, даже запил — ничто не помогло.

На все убеждения нес в ответ какую-то околесицу про то, что птицы на рассвете Богу молятся, и что папоротник понимать надо.

С тем и ушел.

А через два года точно таким же порядком ушел и второй сын.

Когда же третьему исполнилось шестнадцать лет, отец не стал ждать, чтобы он начал задумываться, а кликнул трех городовых и приказал мальчишку выпороть. Средство это — как ни странно — хорошо подействовало на потерпевшего. Он благополучно кончил курс и даже поступил на службу. А может быть, он и не собирался задумываться, и героическая мера была тут не причем. Впрочем, я его потеряла из виду и не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба.

* * *

До последнего дня были в России странники. Ходили по монастырям, и не всегда вело их религиозное чувство. Все дело было в том, чтобы идти. Их тянет, как тянет весной перелетных птиц. Тяга. Непонятная сила. Мы, русские, не так оторваны от природы, как европейцы, культура лежит на нас легким слоем, и природе пробиться через этот слой проще и легче. Весной, когда голоса проснувшейся земли звучат громче и зовут звонче на волю, — голоса эти уводят. Как дудочка средневекового заклинателя уводила из города мышей.

Я помню, как мой двоюродный брат, пятнадцатилетний кадет, тихий мальчик, послушный нехороший ученик, два раза убегал из корпуса, пробирался далеко в северные леса и, когда его разыскивали и возвращали домой, он сам не мог объяснить своего поступка. И каждый раз это было ранней весной.

— Почему ты ушел? — спрашивали мы.

Он застенчиво улыбался:

— Сам не знаю. Так. Потянуло.

Потом, будучи уже взрослым, он вспоминал об этой полосе своей жизни с каким-то умиленным удивлением. Он не мог объяснить, и сам не понимал, что за сила тянула его и уводила.

Он говорил, что ясно представлял себе отчаяние матери и жалел ее до слез, и представлял себе, какой скандал произвело его бегство в корпусе. Но все это было как в тумане. Та, настоящая жизнь, была как сон. А эта, «чудесная», стала жизнью

реальной. И даже странно было, как мог столько лет — целых пятнадцать! — жить так неестественно, тяжело и скучно.

Но думал он мало, больше чувствовал. Чувствовал волю.

— Бредешь без дороги по глухому лесу. Только сосны да небо — один в целом свете. И вдруг заорешь диким голосом изо всех сил, изойдешь в этом крике такой первобытной радостью, что потом долго только дрожишь и смеешься.

И еще рассказывал:

— Удалось видеть, как медведь наслаждался музыкой. Лежал медведь на спине около большущего дерева, сломанного бурей. Дерево было старое, расщепилось и торчало в разломе лучинами. Вот медведь вытянет передние лапы, дернет за эти лучины, они загудят, затрещат, защелкают, и медведь заурчит, занежится, ему, значит, эта музыка нравится. Опять дернет — и наслаждается. Никогда я этой картины не забуду. А ночь северная, белая ночь. На севере она, между прочим, не такая бледная, как, например, в Петербурге. На севере она розовая, потому что там заря никогда не сходит с неба. Вечерняя догорает, и тут же рядом, прежде чем она потухнет, загорается рассветная. От нее в лесу розовый дым, и в этом розовом дыму — представляете себе картину: медведь музицирует, а из кустов на него смотрит мальчишка и чуть не плачет — а может быть, и плачет — от любви и восторга. Ну, разве это забудешь!

Мальчика этого, между прочим, разыскали с большим трудом, уже на севере Олонецкой губернии. Поймали его совершенно случайно, хотя всюду по полиции были разосланы его приметы. А вышло так: проходил мальчик через деревню и зашел на постоялый двор. Ночь провел в лесу, было холодно, шел дождь, он продрог и захотел поесть горячего. Спросил щей.

— Каких тебе щей?

Отвечает:

— Мясных.

Хозяин удивился:

— Каких таких мясных? Седни пятница. Что за человек в пятницу скоромятину жрет? Послать за урядником.

Пришел урядник, спросил паспорт. Паспорта, конечно, не оказалось. Мальчишку арестовали, стали допрашивать, он разревелся и признался. Тут и вольной воле конец.

* * *

Теперь часто слышишь:

— Эх, побывать бы в России. Хоть денек. Пойти бы в лес — он ведь тот же остался. Поплутать там, подышать на вольной волюшке.

И я тоже вспоминаю. Всегда весной. Вспоминаю белую ночь. Самое глухое время — часа два. Светло, розовеет небо.

Стою на террасе. Там, внизу, за цветником, река. Слышно, как звякает глухой колокольчик и покрикивает мальчишка-погонщик. Это тянут бичевой баржу-беляну далеко, к Волге.

Усталые, бессонные глаза щурятся от розового света, и томно замирает сердце.

А там, за рекой, кто-то, захлебываясь от восторга, орет во все горло дикую, бестолковую, счастливую песню.

Жил мальчик на воле,
На воле мальчик на своей!
И кажну мелку пташку
На лету мальчик стрелял,
И кажну красную девицу
Навстречу мальчик целовал.

И потом припев, истошный, надрывно радостный, с каким-то прямо собачьим визгом, потому что уж слишком из души:

Вольно, мальчик, на воле,
На воле, мальчик, на своей!

И я, сама не зная как, поднимаю руки и машу заре и дикой песне, и смеюсь, и кричу:

— Воль-но-о-о-о!

Собаки

Жили они все четверо в загородном домике, красиво и уютно.

Были у них слуги, садик, цветы в комнатах.

За домик, садик, слуг и цветы платила Мэри. Остальные трое ничего не платили, но властвовали. Не платили, пото-

му что денег у них не было и не могло быть. Они, эти трое, были — собаки.

Самый старший — Султан. Неопределенной породы, лиловой масти, морда седая. Любил изображать из себя бешеного пса, который за хозяйское добро удавится. Но темперамента хватало у него минуты на две — не больше. Он плясал на задних лапах, задыхался, хрипел и вообще давал понять прохожим, что, не будь забора, от них бы рваной жилки не осталось. Но не успеет прохожий и за угол завернуть, как бешеный пес вдруг поворачивался и обиженной трусцой бежал в свою закуту, где и укладывался поудобнее.

А ну, мол, вас. Покою собаке не дают. Лайте сами, коли это уж так необходимо. Подумаешь, тоже!

Это пес старый. Новомодным выдумкам не обучен. Новомодные выдумки идут против собачьей природы и вразрез инстинкту. Природа говорит, что, когда господа кушают, — встань у стола и смотри. Зрелище это, вообще, само по себе приятное, все в нем понятно и интересно. А допускаемые в этом деле господами ошибки порою даже очень забавны. Например, отношение хозяина к куриным костям – прямо идиотское. Он преспокойно позволяет слуге подхватить их из-под носа и унести в кухню. Он, хозяин, который лает на слугу из-за всякой ерунды, в таком важном деле покорно и без борьбы уступает. Прямо, и смешно и досадно. Или вот еще, подадут на стол большущий кусок мяса, а он отковырнет маленький кусочек и треплет его по тарелке железными крючками. Ну так и хочется гавкнуть ему: «Пиль!» Хапай все. Будь, черт тебя подери, естественным.

В старину благородная собака всегда допускалась к столу, когда хозяин питался. Он бросал ей куски, которые она ловила на лету и, проглотив, обнюхивала пол, чтобы это туговатое на догадку существо поняло, что пес не прочь получить еще кусочек и даже удивляется, что не находит его на полу.

Вот как вела себя в старину благородная собака.

Теперь выдумали воспитывать собаку так, чтобы она не обращала ни малейшего внимания на питающегося хозяина. Она делает вид, что ей это совершенно безразлично. Она даже отворачивается и рассматривает картины на стене. Что же она при этом думает? Может быть, думает:

«Эге! Тоже не любишь, чтобы тебе мешали лакать твою тюрю. Все мы таковы».

А тот пес, который, бывало, получал подачки, тот, конечно, проникался уважением к величию человеческого духа.

«Вот, — думал он, — ни один зверь не отдаст другому своего куска. Только человек на это способен».

Султан был пес старой школы и думал о человеке хорошо. По той же причине, то есть потому, что был стар и много на своем веку перевидал, ко многому относился, что называется, критически. Попросту — не одобрял. Так старые, зажившиеся в доме слуги — камердинеры, няньки, — ворчат на господ. Любят, но не совсем одобряют.

Султан привык вздыхать, положив голову на вытянутые лапы. Если его окликнут, он не сразу побежит на зов. Ему лень. Он знает, что его просто потреплют по спине и делу конец. Нет, чтобы угостить чем-нибудь, — на это не рассчитывай. Он из вежливости постукает хвостом по полу и на всякий случай подождет. Ведь, если надумали что-нибудь дельное — бросить косточку или пряничек, — так позовут и еще раз, а без толку с места скакать — только дурака валять.

Султан много спит и, просыпаясь, зевает с визгом.

* * *

Второй собачий экземпляр — старуха Кики. Это такса самых благородных немецких кровей. Фигурой похожа на крокодила. Мордой, длинной, украшенной крупными бородавками, напоминает старую высокопоставленную девицу, что-нибудь вроде двоюродной тетки отставного принца. Она бегает впритруску, стуча когтями. Она всегда серьезна и всегда уверена, что делает именно то, что нужно. Если бы она могла по-человечьи крутить лапами, она вязала бы что-нибудь очень некрасивое и непременно в пользу бедных.

Если она гуляет по двору и заметит, что мимо забора по дороге идет человек или, что еще оскорбительнее для собачьего достоинства, осмеливается бежать собака, такса Кики отворачивается и делает вид, что это ее не касается. Она благородная комнатная собака, а не цепной пес. Сторожить — не ее обязанность. Ее саму должны сторожить и волноваться, как бы ее не украли.

Старое сердце Султана совершенно не может вынести вида собаки, бегущей мимо его забора. Это такая наглость, которую снести совершенно невозможно. Хоть ему и лень, но все-таки несколько едких замечаний он должен отпустить по адресу этого незнакомого моветона.

Таксе все это совершенно безразлично.

Самого Султана она тоже почти не замечает.

* * *

Третий экземпляр — щенок Тремп.

Он не родственник ни Султану, ни таксе. Он сам по себе. Он волчьей породы. Он молод, силен, счастлив и удивлен. Он удивлен потому, что еще постигает земной мир, и каждый день приносит ему что-нибудь удивительное и новое. И во всем — радость.

Вот самое для него обидное — хозяева пошли гулять, а его с собой не взяли. Он лает, скулит, визжит, бежит вдоль забора, бросается на забор. Уж, кажется, искреннее огорчение. Но в это огорчение входят слагаемыми ловкие, удачные прыжки, громкий, всегда приятный для горла, молодой лай, сознание своей удали и еще сознание, что, проводив господ, можно будет немедленно приняться за разные щенячьи дела — грызть запрещенное молодое деревце, копать яму под курятником, залезть с головой и даже с передними лапами в ведро с кухонными отбросами — все это вместе взятое, несмотря на обиду, дает в сумме радость.

А если его берут гулять, то это уже не просто радость — это бурный экстаз. Обнять весь мир раскинутыми лапами и, если мир не сразу оттолкнет, — широко облизать его языком.

Вот лошадь везет воз. Конечно, нужно облаять ее, чтобы знала свое место и не болталась бы по дороге, когда почтенная собака гуляет с господами. Но вместе с тем хорошо тут же простить эту лошадь, попрыгать около нее и подружиться с ней. Вот бежит по шоссе трамвай. Два вагончика. Окна светятся. Что за чудесный зверь? Бежит, трещит, звенит. Что же это за зверь? Бежит по дороге, а не собака и не лошадь... Минута раздумья и бешеный порыв — обнять этого невиданного зверя, бежать рядом с ним и лаять от радости бытия.

Он ничего не боится. Он смел и силен. Только раз в его короткой жизни вышел конфуз — он струсил. Положим, он тогда был еще очень молод.

Дело было летом. Его пустили побегать по двору. Собственно говоря, бегать ему не хотелось. Слишком много интересного находилось тут же, под самым его носом. Прежде всего — тряпка, чудесная коричневая шерстяная тряпка, которую можно было рвать зубами, таскать, трепать, лаять на нее. Потом нашлась пробка — штука, которую разгрызть невозможно, и при этом ужасно невкусная, может быть, даже злая. Ее следует хорошенько облаять и постараться вызвать на ссору. Может быть, тогда выяснится, что это за штука, и можно ли с нею дружить.

Но тут поднял Тремп голову и увидел нечто странное. Прямо против него стояло крошечное существо, вроде комка желтого пуха на тоненьких спичках. Носик у существа торчал вперед, не как у собак и лошадей, а скорее, как у хозяйки, только был очень тоненький и острый. Глазки у существа были как бисеринки и смотрели прямо на Тремпа.

Тремп уставился на него, и вдруг существо тоненько-тоненько запищало.

Этого Тремп никак не ожидал. Он попятился. А существо, все продолжая пищать, передвинуло свои спичечки — пошло прямо на Тремпа. И тут дрогнуло смелое собачье сердце — Тремп взвизгнул и пустился бежать.

Долго потом дразнили его, что испугался цыпленка. Но он был слишком молод, чтобы понимать бестолковый человеческий лай.

Человек на всю жизнь остался для него загадкой.

Вот, например, входит в дом гость, для хозяев неприятный. Тремп это чувствует, ловит, понимает. Он лает. А хозяева, вместо того чтобы залаять вместе с ним, усаживают неприятного гостя за стол и позволяют ему съесть их колбасу. А ведь собаку они же учат, что к хорошим надо ласкаться, а на дурных рычать и в дом их не пускать. Ну как тут быть?

Тремп вечно лезет не туда, куда надо. Но ведь, если не лезть, так никогда ничего и не узнаешь.

Вот пришла недавно к хозяйке чужая дама. Ни хорошая, ни дурная — никаких знаков для собаки от нее не было. Принесла с собой коробку. Вынула из коробки бутылочки, баночки, тряпочки, палочки. Ничего обнюхать не позволи-

ла, а взяла хозяйкину лапу и стала ей когти тереть. Тремп хотел заступиться, зарычал. А хозяйка, вместо того чтобы поблагодарить, стала гнать его вон. Тремп отошел, но, конечно, из комнаты не ушел. Не ушел, потому что не знал, что будет дальше, и чем все это кончится. Если бы эта чужая щекотала хозяйке за ухом — все было бы понятно. Это делается для удовольствия. Но тереть когти... Что после этого бывает? Может быть, после этого дают собакам жареной телятины? Ничего неизвестно. Лучше подождать.

* * *

— Я считаю, что собака умнее среднего человека, — говорит Мэри и честно смотрит мне прямо в глаза.

— Мери, дорогая, как же ты, в таком случае, решается делать замечания старой Кики?

— А что? Я не понимаю.

— Ведь ты же средний человек, Мэри, значит, Кики умнее тебя. Вот никогда бы не подумала!

Мэри краснеет.

— Тремп! Иси! — зовет она. — Посмотри только на эту морду. Сколько ума, сколько великодушия! Как всякий поступок у него полон смысла!

— Ай! — кричу я. — Отзови его скорее, он грызет мне чулки.

— Тремп! Ах, проклятая собака! Я не понимаю, что с ним. Никогда этого не бывало.

— А отчего у тебя вся мебель в клочьях?

— Ну, это было прежде. Теперь он никогда ничего...

— Да убери ты его ради бога. С него блохи прыгают. Как ты не боишься?

— Ну что ты говоришь! Наоборот. С меня на него. Тремп, пойди сюда, милая собака. Ты никогда ничего не грызешь, ты умный, ты замечательный пес. Они не верят, что ты не грызешь!

— Нет, Мэри, я уверена, что это ты сама изгрызла все кресла.

* * *

Утром просыпаюсь от тихого треска. Открываю глаза. Посреди комнаты Тремп раздирает мою туфлю.

Дверь полуоткрыта, и в щель просунуты две морды. Сверху лохматая, подслеповатая — старого Султана, пониже, длинная, благовоспитанная и жеманная — королевской тетки с бородавками — таксы Кики.

Обе морды слегка осклаблены улыбкой и смотрят с умилением, как молодой дурак, не знающий приличий и условностей, расправляется с чужой собственностью.

— А ведь и мы были когда-то такими же юными энтузиастами! — говорят умиленные морды. — Эх, молодость-глупость!..

Восток и север

Три сказки

Бледный принц

У самой границы Южного Киндара, за горой Каратау, лежала страна Тамбеллик. Может быть, когда-нибудь звали эту страну иначе, но к тому времени, о котором мы говорим, известна она была под названием Тамбеллик, что значит — «лень». И называли ее так недаром: таких лентяев, как тамбеллийцы, в целом свете днем с огнем не найдешь. Прямо ужас! Рваные, грязные, всегда голодные, целые дни валялись они на припеке либо болтались по базарной площади, где, между прочим, и товару-то никакого не было, только лавчонки с бараньими головами, кофейни да лотки синих бобов, которыми они все питались изо дня в день.

А когда наступали холода, ползли они со всех сторон к городским баням. Оттуда выбрасывали банщики горячую золу. Вот лентяи и ложились прямо на землю, к ней поближе, чтобы погреться. Так и валялись по целым дням.

Раз один так близко улегся, что затлелось на нем платье, а откатиться подальше лень. Он и стал кричать: «Ой, горю, горю!» А другой говорит: «Пожалуйста, кричи — горю с товарищем! Ты уж, все равно, кричишь, а мне лень».

Единственной радостью тамбеллийцев были петушиные бои. Тут они и лень забывали — целые дни сидели на

корточках, дразнили своих петухов, раззадоривали в них злобу и удаль.

Правил этой ленивой страной в те поры молодой принц Кибирь-Лале. Имя это, красивое и пышное, означает Гордый Тюльпан. Но каков был этот гордый тюльпан, никто из тамбеллийцев понятия не имел, потому что никогда принц из дворца не выходил, а народу во дворце делать нечего. Знали только, что днем принц спит, а ночью гуляет по саду. А так как были тамбеллийцы, вроде русских, ленивы и не любопытны, то ничего и не разузнавали.

И вот как-то раз, в базарный день, принес кто-то на бой здоровенного петуха, такого злющего, что в разгаре драки клюнул он одного из зрителей прямо в глаз, перелетел через круг и подрал по площади — и летит, и бежит, а весь базар с места сорвался — всех понесло петуха ловить.

Залетел петух прямо в дворцовые ворота, и все за ним. Там ведь у лентяев-то этих — ни стражи, ничего. Влетел петух во двор, прямо к фонтану, и сел.

Смотрят тамбеллийцы — лежит у фонтана мальчик, бледный-бледный. Одежда на нем грязная парчовая, жемчуга на ней ободрались, на ниточках болтаются. На чалме у мальчика алмазная звезда, а в руке синий тюльпан.

Поднял голову мальчик, взглянул, удивился. Удивился и хлопнул в ладоши. Прибежал на зов визирь Памбук, старый, сонный. Цыкнул на народ:

— Вы чего тут делаете? Зачем принца беспокоите?

Поняли тамбеллийцы, что мальчик этот и есть Кибирь-Лале, повалились на колени, бородами пыль метут.

А принц на них удивляется.

— Отчего, Памбук, они такие безобразные? Отчего такие рваные?

— Они, — говорит Памбук, — очень бедные, и помочь им некому.

Побледнел принц еще больше.

— Я, — говорит, — им помогу. Я помогу, потому что это мой народ, и я должен его любить. Отдай им, Памбук, всю мою казну. Есть у меня казна?

— Нет казны, — отвечает Памбук.

Заплакал принц.

— Ну, так я им душу отдам. Пусть придут завтра утром, а ты приготовь сундук и поставь его в сад, и чтоб никто до утра в сад входить не смел.

Ну, конечно, Памбук удивился, но перечить не стал, только пошел у забора подслушивать. Слышал, как принц плакал и пел, и соловей ему отвечал. А больше ничего.

Прибежали утром тамбеллийцы — галдят, кричат, так и лезут. Вышел принц. Сам бледный, и тюльпан синий в руке.

— Памбук, — говорит принц, — прикажи принести сундук.

Пошел Памбук, думал — один поднимет. Ан, смотрит, сундук за ночь тяжелый стал. Кликнул помощь. Потащили девять человек, еле сдвинули.

— Откройте, — говорит Кибирь-Лале, — здесь мои песни и слезы. Все вам.

Открыли сундук и ахнули. Полон сундук алмазов.

Загорланили, загомонили, скорее верблюдов нанимать, корабли фрахтовать, везти сокровища за границу. А пока везут, пускай принц еще наплачет. Одним сундуком всю страну не оденешь и не накормишь.

Плакал и пел Кибирь-Лале семь ночей. И соловей ему отвечал. На восьмую ночь улетел соловей, ничего не ответил, и сам принц уснул, и был к утру сундук пустой.

Засуетились тамбеллийцы, забегали, загалдели.

— Пропадать нам, что ли.

Послали за границу, за лекарем. Приехал лекарь, велел дворец весь вычистить, а принца крепко говядиной кормить и молоком поить.

Стал принц есть, стал пить, сначала через силу, потом и сам заинтересовался, так и бежит в столовую. Народ даже забеспокоился.

— Этакая прорва. Так ведь и запасов не хватит.

И все спрашивают:

— Не запел ли? Не заплакал ли?

— Нет, не поет и не плачет.

— Я, — говорит, — теперь что-то утешился. Мне бы жениться самая пора.

Взволновались тамбеллийцы ужасно. Пробовали революцию делать и такой декрет сочинили, чтобы каждый гра-

жданин обязан был по три часа в сутки плакать и петь, и соловей обязан ему отвечать. А алмазы все поровну.

Пока галдели да судили, прослышали об их непорядках соседи, кезканджики завистливые. Пришли и завладели.

Принца Кибирь-Лале посадили в тюрьму. Он скоро умер, и тюльпан в его руке стал черным.

Мантия короля Аликана

Была когда-то на свете роскошная царская мантия. Покрывала она плечи самого короля Аликана. Сначала, значит, плечи, а потом, как захворал Аликан, стал он в нее ноги кутать. А когда умер король Аликан, начала королева оделять слуг королевскими обносками. И досталась мантия второму помощнику третьего виночерпия. Понес он ее домой и отдал жене. А жена переделала мантию на покрышку салопа. Носила, носила, подарила кумовой племяннице. А та, поносивши, отдала внучке. Внучка куски выбрала на кофту. Носила, носила, своей внучке подарила. Та немножко потрепала, отдала кухаркиной дочке. Кухаркина дочка — своей внучке. Та повертела — видит, дрянь, лохмотья линючие. Отдала нищему. Нищий из нее торбу смастерил, да потом, как удалось ему на базаре настоящий холщовый мешок стянуть, он эту дареную-то рвань и совсем бросил. Подобрал рвань старьевщик. Долго валялась она у него в темном углу вместе с другой рухлядью. И вот пришел в лавку ученый человек. Порылся в хламе, стал рвань рассматривать, в лупу разглядывать.

— Откуда, — говорит, — у вас это?

Отвечает старьевщик:

— На улице нашел.

Заплатил ученый старьевщику несколько грошей, понес рвань к себе, все лампы зажег, всю ночь в лупу рассматривал, кислотой оттирал. А утром заблестели на рвани золотые ниточки, и прочел он затканный знак: «Мантия короля Аликана».

Висит теперь этот кусочек старой тряпки в европейском музее под стеклом, под замком, и отдельный сторож к нему приставлен, чтобы не украли и в Америку не продали.

Изучают профессора по этой тряпке аликанов быт и культуру. Каждая ниточка в ней, в этой тряпке, важна и

драгоценна. Поэты о ней стихи пишут. И кто на нее ни посмотрит, всякий разное видит. Одному кажется, что заткана она огнями, другому — будто лилиями, а третий ясно видит змею и дракона. И все правы, потому что каждый видит то, что может, и каждому хочется понять и узнать тайное.

Ученый, нашедший эту чудесную реликвию, прославился, а старьевщик, узнав, что продешевил товар, с горя повесился. Так ему и надо. Должен был знать, что у людей высокого происхождения есть знак, и пусть самый последний нищий бросит такую вещь за ненадобностью, цена ей, незнаемая и скрытая, — вечна.

Баба-Яга

Сказки рассказывают: «Баба-Яга, костяная нога, в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает».

Учитель словесности говорил: «Баба-Яга — богиня вьюг и метелей».

В детских книжках изображалась Баба-Яга худой, дикой старухой с зелеными злыми глазами, изо рта клык торчит, волосы седые космами. Страшная, костлявая — у-у-у, и детей ест.

Слово «богиня» вызывало представление о красоте — Венера, Диана. Мы видели их статуи, образцы совершенства. Мы слышали выражение «хороша, как богиня». И вдруг эта лютая ведьма, злющая, уродливая старуха — наша богиня. Было это нелепо и смешно.

Да, по правде говоря, кто из наших древних богов был красив? Лель, бог весны. Но он какой-то непопулярный и в народной памяти не сохранился.

Сохранились, приобретя ругательное значение, домовой, леший да Баба-Яга.

Домовой — суровое чудище, хоть и охранял домашний быт, но похож был на старого крепостника-помещика, буянил, шумел, дурил на конюшне — лошадей мучил, щипал девок до синяков. Справедливый был, но жуткий и самодур. Захочу — полюблю, а не захочу — со свету сживу.

Леший — о нем и упоминать страшно. Ухал в лесу, пугал, заводил в непроходимую чащу, запутывал, ни одного доброго дела за ним не числилось. Злющий был. Ему бы

только запутать, сбить с пути, погубить человека и следы бурьяном заплести.

Хороша была только русалка. Но только ее одну и видели люди, потому что заманивала она на погибель красотой и нежностью. Она душу брала жалостью. Сидит на дереве женщина маленькая – она, собственно, и не женщина, потому что у нее с половины тела рыбий хвост. Поэтому сидит она низко над водой и хвост этот в водоросли прячет. Сидит маленькая, нежная, робкая и горько-горько плачет. Просто бы сидела или манила — иной бы и не подошел. А если плачет — как тут не подойти. Жалко ведь. Жалостью и потянет. Эта богиня очень была опасная.

Но Баба-Яга самая из них лютая, самая и интересная. И самая она русская. У других народов таких богинь не было.

Жила Баба-Яга на опушке леса в избушке на курьих ножках, без окон, без дверей. Дверь, как потом всегда выяснялось, все-таки была, но повернута к лесу, так что проныра добрый молодец, вызнавший откуда-то заклинание, говорил: «Избушка, избушка, повернись ко мне лицом, к лесу задом». И избушка поворачивалась.

Жила Баба-Яга одна. С нею только кот. Полного одиночества даже Яга вынести не могла. Держала кота за мурлыкание, за мягкую шерстку, за тепло и котовий уют. Людей Яга ненавидела и никогда их не искала. Они сами шли к ней выпытывать разные мудрые тайны и всегда Ягу надували. В каждом человечьем приближении чувствовала она обман и обиду.

«Русским духом пахнет — жди беды».

Придет такой добрый молодец, наврет, наобещает, все, что ему нужно выпытает, обманет и удерет. Ни благодарности, ни честной расплаты не жди.

И каждый раз, как услышит она заклинание и повернется избушка на своих курьих ножках, ждет Яга беды неминучей. И каждый раз верит она сдуру в человеческую душу:

— Быть не может, чтобы уж все так.

Вот приходит бедная девочка-сиротка. Мачеха выгнала ее, мачеха на верную смерть послала. Знает Яга — человечий щенок, хоть и маленький, хоть и бедненький, а уж лукавый, с хитрецой, с гребешком, с полотенчиком и с куском сальца. Даст сальца коту — он и изменит. Тот самый мурлыка-кот,

тепленький, мягонький, Ягиный льстец и ласкатель, — он тоже изменник. И ворота скрипучие изменят, если их маслицем подмажут. Всюду измена. Ску-у-учно Яге.

Сидит злая, клык точит.

— Съесть бы их всех. Да хитрые, не дадутся. Придут, Ягиной мудрости поклонятся, наврут, надуют и всегда-то, всегда унесут ноги.

Кот-изменник, ворота нечестные выпустили хитрую девчонку-заморыша. Бросилась Яга в погоню. А девчонка кинула наземь гребешок — и вырос дремучий лес. Стала Яга грызть деревья, пробилась через чащу. А девчонка кинула полотенце — и потекла по долине широкая река. Стала Яга пить, реку выпивать, а девчонка уж далеко, не поймаешь. И все Ягины тайны, что выпытала, унесла, подлая, с собой.

И вот сидит Яга в своей избушке на курьих ножках. Уперлась в лес носом. Ску-у-у-учно. Скорей бы зима.

Весна — первое тревожное начало. Природа веселится, звери и люди любятся, нарожают хитрых детенышей — беда. Потом лето, жара. Шипит лес, кипит в горячем воздухе. Сделал свое дело. Разбросал семена, раздул по ветру. Доволен. Дурак лес. Старый дурак. Любит жизнь, бессмертие земли.

Настанет осень. Выпадет первый снежок. Повеселеет Яга.

И вот наконец зима.

Задуют ветры, Стрибога внуки — это свои, свирепые, злющие. Заметет пурга дороги, закрутит вьюга хрустальную пыль, запоет, завоет метель. Пора!

Садится Яга в ступу, пестом погоняет. Застучала ступа по кочкам, скачет, отскакивает, взмывает, взлетает в снежном вихре. Волосы у Яги разметаны ледяными прядями, острые костяные колени торчат. Страшная, могучая, вольная, летит вьюжной песней над землей.

Кто видел ее? Как видят Валькирию рыцари, умирающие на поле сражения, так видят Ягу замерзающие, уже закрытыми глазами.

Выскочит Яга из ступы, запоет, запляшет, ухватит гибкую молодую березку и крутит, и вертит, и гнет, и ломает, только стон кругом идет да разлетается снежная пыль серебряным дымом. Кинется на соломенное чучело, которым завертывают на зиму розовые кусты. Обхватит и запляшет, разгульная, пьяная, треплет его, валит.

— Пусти меня, — молит чучело, — не мучь! Я тебя не хочу! У меня в груди роза.

Завоет Яга, заплачет, закружится, бешеная, злая. И снова рыщет по полям, по долам — кого бы замучить.

Вот путник. Вылез из саней, ищет дорогу. Ага! Закружила его, повалила в сугроб, замела ему глаза снегом.

Куда он ехал? К какой-нибудь Машеньке, миленькой, тепленькой, веселенькой. На что она ему? Он теперь белый-белый, ресницы, брови седые, из-под шапки заледенели белые кудри. Как чудесно, как вольно поет метель! Завораживает... Машенька? Что она! Пестрая тряпка на заборе. Можно ли ее вспомнить? Зеленые хрустальные глаза глядят ему в душу — так страшно и радостно, и поет, и смеется душа. И никогда ведь, никогда в жизни не знала она такого восторга.

Баба-Яга! Старая, страшная! Людоедка проклятая! Ах какая же ты чудесная, певучая, хрустальноокая! БО-ГИ-НЯ. Бери меня в твою смерть — она лучше жизни.

Стихла метель. Темно, тепло в избушке на курьих ножках. В углу стоит метла, перемигивается со ступой. Сонно мурлычет неверный кот, выгибает спину, притворяется.

На печи лежит Баба-Яга. С ледяных волос капает вода на пол. Торчит из-под тряпок костяная нога.

Ску-у-учно.

Маленькие рассказы

Встречаются в жизни маленькие быстрые впечатления — картинки, сценки, типы, разговоры.

По писательской привычке думается: вот это стоит запомнить. Когда-нибудь пригодится, как деталь, как мелочь в большой вещи, когда, по закону ассоциации, всплывает в памяти впечатление. Но не всегда такие впечатления пригодятся. И вот подумалось мне, что, может быть, они имеют некое право на самостоятельное существование. Может быть, можно отдать их другим душам так же просто, как приняла их моя душа.

1

Отчаяние

Я сегодня вплела в свою косу
Первый раз серебристую прядь.

Анна Ахматова

Утро. На лакированном столике в хрустальном бокале стоит вчерашняя роза.

Она вчерашняя, но еще свежая, только низко опустила голову. Два зеленых листика вытянулись на стебле у самого цветка, словно широко раскинутые руки.

Что-то странное в этой розе. Эта опущенная голова, эти раскинутые руки, точно она нагнулась и внимательно рассматривает что-то на столе. Что-то там удивило и испугало ее.

Да. На столе, у самого бокала, лежал розовый лепесток. Первый лепесток, опавший от ее пышного, роскошного и радостного существа. Начало смерти.

Сколько невыразимой грусти в этой странной картинке. Откуда она? Кто ее придумал? Кто так художественно скомпоновал?

Случай.

Случай, зачем ты показал мне это прекрасное, это нечеловеческое отчаяние?

Ну что я могу!

2

Красота

Это было давно. В Петербурге. Я ехала в трамвае. Рядом со мной сидел какой-то мальчик лет семи. Это был простой мальчик, плохонько одетый. Был на нем застиранный, вылинялый ситцевый костюмчик в полоску — синюю и белую. На коленках были наштукованы большие заплаты — из того же матерьяла, только нового. Очевидно, лоскутки были припрятаны вот именно на такой случай. Продерутся рукава либо штанишки, вот и будет чем залатать. Было, конечно, пребезобразно, ну, да ведь на мальчишку не напастись.

Мальчик долго рассматривал эти яркие заплатки, гладил их рукой, наклонял голову набок, наконец, вытянул ноги, чтобы виднее было, и застыл в созерцании. И вдруг неожиданно обернулся ко мне и сдавленным от восторга голосом сказал:

— Как красиво!

Сказал и тотчас испугался. Заговорил с чужой барыней. Что же это? Ведь заговори с ним на улице такая, он бы от страха стрекача дал. А тут сам.

Но я поняла, что он не владел собой, что красота этих заплат так охватила его душу, так переполнила ее восторгом, что он не мог не поделиться этим восторгом все равно с кем. Этот возглас, это «как красиво» перелилось через край. Не может человеческая душа выдержать такого могучего подъема и не воскликнуть и не поискать скорее-скорее отклика, поддержки. Это — как стон от боли, который сам в себе бессознательно ищет помощи.

И я помогла.

— Да, это ужасно красиво, — серьезно и спокойно сказала я.

3

Демонстрация

Войска входили в город. В Париж.

Ничего торжественного не было. Ехали вереницей камионы и на них солдаты. Но так как эти солдаты были враги, немцы, то и грохот камионов казался особенно громко-гремучим грохотом.

По тротуарам шли две старушонки в черных платьях, похожие друг на друга. Только одна была повыше и шагала пошире, а ноги у обеих были одинаковые, старушечьи, вроде кочерги, без икры, без подъема, без каблуков, и пальцы заворачивались кверху. И, конечно, в черных чулках.

Шли они по своим мирным делам, поворачивали головы с опаской — боялись автомобиля. Хоть и пусто на улице, а вдруг выскочит. Высокая старуха была как будто значительнее маленькой. Она говорила, а маленькая только поддакивала головой.

И вот загрохотали камионы. Прохожие остановились, смотрят. Девчонки подталкивают друг друга локтями, хихикают: «Des beaux gars, les vaches!»[1]

Старушонки остановились, растерянно потоптались на месте и вдруг скоро-скоро побежали к большой пустой стене. Повернулись к ней лицом и распустили зонтики. Большие, черные, дешевые, ластиковые зонтики закрыли их. Видны только ножки-кочережки. И так и застыли. Только тот зонтик, что пониже, чуть-чуть дрожал. А тот, что выше, не шелохнулся. А войска проезжали мимо и входили в город.

У маленькой старушонки, наверное, колотилось сердце. Ведь это была демонстрация. Как хотите, а это была непредусмотренная властями демонстрация. Ведь маленькая старушка чувствовала, что она совершает героический поступок. Ведь злые немцы — кто знает, как отнесутся к их развернутым зонтикам? «Ага, — скажут, — они не хотят нас видеть, так выколем же им глаза». Зонтик дрожит, но она не закроет его. Та, большая, стоит недвижно, она рождена героиней, рождена вот для этого момента, когда она идет одна против целой Германии и ведет за собой сестру. И сестра с ней. Пусть дрожит ее зонтик — она достоит до конца.

Чудесная демонстрация!

Я счастлива, что видела ее.

4

Мистерия

На полустанке поезд останавливался всего на две минуты. И уже, наверное, одна минута успела пройти, когда я увидела нашего сумасшедшего художника. Он, какой-то растерянный, топтался на платформе. Одновременно увидел и он меня и кинулся к моему окну.

— Скорее, скорее, выходите! — умоляюще крикнул он.

— Не могу, я еду к знакомым на дачу.

— Ах какой все это вздор! Непременно выходите. Скорее, скорее! Боже мой. Это страшно важно.

Я ничего не понимала, но его волнение удивило меня. Все равно, подумала, поеду со следующим поездом.

---

[1] Красивы парни, свиньи! (*Фр.*)

— Это такое чудо, — задыхался он, — вот увидите. Вот в этом лесочке.

— Да в чем же дело?

— Не спрашивайте. Это нельзя рассказать. Все равно, не поймете. А если увидите, может быть, и поймете. Господи! Должны же люди понимать! Это здесь, в лесу. Идем.

Он был бледный. Впрочем, он и всегда был бледный. Некрасивый, вроде белой обезьяны. Нос сплюснутый, сам большой, костистый. Картины рисовал странные. Называл их музыкой будущего. Помню, была у него «Черная Мадонна» — одноглазая, без рта и вся лилового цвета.

— Почему же она называется черной, когда она лиловая?

— Потому что чернокожие должны представлять себе Мадонну лиловой.

Он как-то рисовал мой портрет. Взял свой альбом, стал водить по листу пальцем, мысленно набрасывая мой профиль. Оторвал лист, бросил, стал мысленно набрасывать на другом. Оторвал, бросил. Потом третий, четвертый.

— Отчего вы не набрасываете на том же самом листе?

Он удивился моей бестолковости.

— Как же я могу? Я же вижу то, что я набросал. Получился бы один рисунок на другом.

Мне надоело сидеть. Я ушла. Вернулась. Он смотрел на пустое место в кресле, где я прежде сидела, и продолжал свои наброски.

— А ведь я уходила, — сказала я.

— Это ничего. Я же продолжаю вас видеть. Из портрета вышла музыка будущего.

И вот этот самый художник, взволнованный, с дрожащими губами, тащит меня в лес смотреть на какое-то чудо.

Мы пошли по тропинке, вышли на маленькую круглую полянку и остановились.

— Смотрите, — шепнул он. — Видите? Господи! Да неужели и вы не умеете видеть?

Я повернулась, посмотрела, ничего не увидела.

— Смотрите, — шептал он. — Сосны встали кругом. Старые сосны, седые, мудрые. А в середине, в самом центре, — маленькая стройная зеленая елочка. А сосны ровным кругом стоят, стерегут. Что же это за елочка? Почему ей такой почет и поклонение? Кто поставил ее в средину

круга? Одну. Кому-то известна судьба ее. Ведь то пречистое древо, легендарные частички которого берегутся в храмах и ладанках, тоже было чьей-то волей посеяно, посажено, неведомо охраняемо. Что мы знаем? Какому искуплению, какой правде распятой послужит и это странное чудесное древо. Разве вы не...

Он вдруг остановился. Я обернулась к нему, у него глаза были совсем безумные.

— Смотри же, смотри! — закричал он. — Молчи, о, молчи, глупая! Смотри! Го-о-осподи!

Я взглянула на елочку.

Прямые лучи полуденного солнца жарко звенели над ней. И что-то отделилось от ее вершины, что-то заблестело малой бледной блесточкой, засверкало, засияло и стало подниматься в свете все выше, выше.

— Пчела? Шмель?

— Это ее молитва. Ее слава к небу подымается, — шептал художник. — Мистерия! Мистерия!

Он опустился на колени и сложил руки. И все стало как в храме.

Мудрые старые сосны, стоящие ритуальным кругом, и как раз в центре эта ровная зеленая елочка, острым конусом вся устремленная вверх, и над ней, прямой линией подымающаяся к небу в золотом воздухе полдня, неведомая живая светящаяся точка.

— Тихое древо! — шептал сумасшедший. — Тихое древо! Покрой мя твоею благодатью.

5

Проблеск

«Не говори: отчего это прежние дни были лучше теперешних? — Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом».

Так говорит Экклезиаст, гл. 7, 10.

Конечно, он прав. Не против соломоновской мудрости восставать нам.

Времена сейчас, наверное, не хуже библейских, только сами мы не те. Утонченные столькими веками цивилизации,

не так просто воспринимаем мы ужасы жизни. За это время много изменился наш душевный быт. За это время приходил к нам Христос.

Наши дни нехорошие, больные и злобные, а чтобы говорить о них, нужно быть или проповедником, или человеком, которого столкнули с шестого этажа, и он в последнем ужасе, перепутав все слова, орет на лету благим матом: «Да здравствует жизнь!»

На страницах наших газет — смертная казнь, смертная казнь, смертная казнь. Это стало нашим бытом. Так жить нехорошо.

Мы точно в стране кошмарных снов, где в воздухе точно сгустился

Неотзвучавший плач,
Где каждый десятый жертва,
И каждый двадцатый палач.

И каким удивительным и благословенным чудом мелькнули в газетах неожиданные страницы о розысках затерявшихся в снегах пассажиров упавшего авиона.

Всего двенадцать человек было их. И сотни людей отправились, рискуя жизнью, спасать их. И много тысяч следили с волнением за этой экспедицией. Повеяло чем-то прежним, почти забытым. Человеческая жизнь еще имеет цену. Оказывается, что мы, привыкшие к вестям о гибели целых армий, целых городов, еще можем волноваться судьбою двенадцати безвестных пассажиров.

Но это светлое впечатление быстро потускнело, словно сбежала легкая пена со страницы газеты, и снова отчетливо и ясно: «Смертная казнь, смертная казнь, смертная казнь».

Но ничего. Все проходит, и это пройдет. Может быть, потом осудят нас и нашу эпоху, а может быть — кто знает? — вздохнут и скажут: «А все-таки, им, счастливцам, жилось лучше, чем нам».

Отойдем от Экклезиаста. Закроем на несколько минут глаза и вспомним.

Вспомним милое, простое, забавное. Хорошо? Пусть наивно и просто отдохнет душа на этих незатейливых картинках со страниц старой истрепанной забытой книжки.

6

Нищий

Имение наше, в котором прошло мое детство, было Волынской губернии, богатой, черноземной. Крестьян бедных там совсем не бывало. А уж нищих и подавно.

Вот это-то последнее, казалось бы, очень счастливое обстоятельство, чрезвычайно огорчало богомольных старух. Деревенские к этому привыкли, а вот наши старые слуги — нянюшка, ключница, старшая горничная и судомойка — часто роптали, что, мол, как так — в церковь идешь, а на паперти ни одного нищего, и некому копеечку подать. Ну, как старухе душу спасти без милостыньки. Как-то неладно выходило. Вспоминалось, как в Москве задушевным говорком просили: «Подайте, милостивцы». Перекреститься, подать три копейки — оно и не жалко, а душе на пользу.

Однако и для этих скорбных старух в волынской глуши приходило утешение. Приходило оно раз в год, первого октября, в Покров. Это был храмовой праздник нашего села, и в этот день, раз в году, появлялся нищий. Такого нищего нигде, нигде и никогда, мы не видывали ни до этого, ни после. Особенный был нищий.

Приезжал он в крытой бричке на паре сытых лошадок, правил кучеренок. Одет нищий был тепло и даже со вкусом — какой-то цветной платочек закутывал его шею.

Человек он был еще не старый, лет, может быть, пятидесяти, широкий, крепкий, с аккуратной бородкой, деловитый и озабоченный. У него было что-то с ногами — не то паралич, не то просто ревматизм, — словом, что-то мешало ему ходить и работать.

Старухи наши домашние и разные деревенские бабки обступали бричку, умиленно крестились на нищего, причитающими голосами называли его болезным и несчастненьким и тащили ему целые ковриги хлеба, горлачи со сметаной, ощипанных кур, куски сала, надрезанные из благочестия крестом, всякие сверточки и ленточки, холсты и подушки.

Нищий все принимал деловито, хлопотливо утыкивая добро в свою бричку, и ругал кучёренка за неповоротливость.

Уложившись, снимал шапку, крестился и смотрел, не идет ли еще кто, не несет ли еще чего.

— Эй! Швидше, ворона! Чи до вечора тебе чекать!

И, прикрикнув на кучеренка, отъезжал до будущего года.

И на будущий год старухи готовились к Покрову. Шили нищему рубаху, собирали перья на подушку.

И вот как-то раз, все было уже заготовлено и вдруг почти накануне праздника объявил дьячок ужасную новость. Нищий женился и больше не будет ездить.

Все так и ахнули. Как же теперь?

— Ну, ездил бы с женой.

— Посадил бы жену дома. Пусть ребят досматривает. Нельзя же так.

Думали даже на нищего кому-то жаловаться, да только не знали, кому. Да и как, тоже не знали. На то ли, что женился — так ведь он имел право. На то ли, чего ездить перестал, так тоже такого закона нет, чтобы непременно езди.

Так все и осталось. Покачали головами, да и забыли.

На доброе у человека память коротка.

7

Гордость

А эта картинка уж из Новгородской губернии. С родного севера.

Ходили к нам работать на огороде две бабы из соседней деревни Острачи. Федосья Ерохина и Авдотья Макаренко. Бабы эти друг на дружку похожи не были. Ерохина худая, длинная, нос большой, щербатый, уродлива — дальше некуда, дальше уж прямо черт. Характером мрачная.

Макаренко — пухлая, курносая и все не то улыбается, не то щерится, как злая кошка.

И было в этих несхожих личностях что-то непонятно общее, какая-то, смешно сказать, надменность.

Ерохина, разговаривая, поворачивалась в профиль. Макаренко задирала нос и дерзко «лепортовала».

В общем — ничего не скажешь, бабы гордые и цену себе знали.

И чем же это они гордились? Обе бедные, несостоятельные, на поденку не ходили. Обе некрасивые, у обеих мужья пьяницы, ребята голые. В чем тут дело?

Насчет гордости — у меня, между прочим, уже были кое-какие наблюдения и удивительные находки. Помню — один захудалый чиновник с радостной гордостью рассказывал про своего двоюродного брата, такого богатого и знатного, что его, захудалого чиновника, и на порог к себе не пускал.

Вот чем гордился. И ведь как гордился! Прямо захлебывался. А уж куда бы, казалось, обиднее, если тебя за твою ничтожность родственники в шею гонят.

Гордость двух новгородских баб, однако, выяснилась. И была она у них диаметрально противоположная.

— Мы, Макаренки, — задрав нос, рассказывала как-то Авдотья, — мы все злющие, потому что мы из хохлов. Хохлы все злющие. Мы не тутошние. Мы даже на тутошних не похожи вовсе. Мы злющие.

Вот оно что. Гордость в том, что они нетутошние и как подтверждение нетутошности — злющие. А Ерохина сказала:

— Мы самые здешние, спокон веку тут. Еще когда только три избы стояло, так уж мы тут жили. И деревню-то по нашему имени называют. Вот как!

— Как так по вашему имени? Ведь тебе-то имя Ерохина!

— Ну, да. Ерохины мы.

— А деревню зовут Острачи. Так как же?

Она недоуменно раскрыла рот.

— А? Разве не похоже?

Воспоминания

Автор считает нужным предупредить, что в «Воспоминаниях» этих не найдет читатель ни прославленных героических фигур описываемой эпохи с их глубокой значимости фразами, ни разоблачений той или иной политической линии, ни каких-либо «освещений и умозаключений». Он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей. И найдет он почти исключительно простых, неисторических людей, показавшихся забавными или интересными, и приключения, показавшиеся занятными, и если приходится автору говорить о себе, то это не потому, что он считает свою персону для читателя интересной, а только потому, что сам участвовал в описываемых приключениях и сам переживал впечатления и от людей, и от событий, и если вынуть из повести этот стержень, эту живую душу, то будет повесть мертва.

Автор

1

Москва. Осень. Холод.

Мое петербургское житье-бытье ликвидировано. «Русское слово» закрыто. Перспектив никаких.

Впрочем, есть одна перспектива. Является она каждый день в виде косоглазого одессита-антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу устраивать мои литературные выступления.

Убеждал мрачно.

— Сегодня ели булку? Ну так завтра уже не будете. Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу, я вам плачу шестьдесят процентов с валового сбора, в «Лондонской» гостинице лучший номер заказан по телеграфу, на берегу моря, солнце светит, вы читаете рассказ-другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину, вы себе сыты и сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне — меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. Ей-богу, едем! Лучший номер в «Международной» гостинице.

— Вы говорили в «Лондонской»?

— Ну в «Лондонской». Плоха вам «Международная»?

Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину.

— Этот псевдоним Гуськин — какой-то странный.

— Чем странный? — отвечали люди опытные — Не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры.

Сомнения пресек Аверченко. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним. Тоже на гастроли. Решили выехать вместе. Аверченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи.

— Ну вот видите! — ликовал Гуськин. — Теперь только похлопочите о выезде, а там все пойдет как хлеб с маслом.

Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить почему. Идиосинкразия. А тут еще псевдоним Гуськин с процентами, которые он называет «порценты». Но кругом говорили: «Счастливая — вы едете!», «Счастливая — в Киеве пирожные с кремом». И даже просто: «Счастливая... с кремом!»

Все складывалось так, что надо было ехать. И все кругом хлопотали о выезде, а если не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, то хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи.

— У моего кума был дом в Полтаве.

— А моя фамилия, собственно говоря, не Нефедин, а Нехведин, от Хведько, малороссийского корня.

— Люблю цыбулю с салом!

— Попова уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Кокины, Пупины, Фики, Шпруки. Все уже там.

Гуськин развил деятельность.

— Завтра в три часа приведу вам самого страшного комиссара с самой пограничной станции. Зверь. Только что раздел всю «Летучую мышь». Все отобрал.

— Ну уж если они мышей раздевают, так где уж нам проскочить!

— Вот я приведу его знакомиться. Вы с ним полюбезничайте, попросите, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр.

Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведающем делами театральными. Там очень томная дама в прическе Клео де Мерод, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли.

Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди долгие, долгие часы. Наконец солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась и вышел «сам». Кто он был — не знаю. Но был он, как говорилось, «весь в пулеметах».

— Вы такая-то?

— Да, — призналась. (Все равно теперь уже не отречешься.)

— Писательница?

Молча киваю головой. Чувствую, что все кончено, иначе чего же он выскочил.

— Так вот потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так. Проставьте число и год.

Пишу дрожащей рукой. Забыла число. Потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал.

— Та-ак! — мрачно сказал «сам». Сдвинул брови. Прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал вбок в интимной улыбке: — Это мне... захотелось для автографа!

— Очень лестно!

Пропуск дан.

Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный. Не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие. Он был носоногий. Огромный нос, к которому прикреплены две ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение. На ногах сапоги желтые, шнурованные, выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, ахиллесова пята. Она в этих сапогах, и змей стал готовить свое жало.

— Мне говорили, что вы любите искусство... — начинаю я издалека и... вдруг сразу наивно и женственно, словно не совладав с порывом, сама себя перебила: — Ах какие у вас чудные сапоги!

Нос покраснел и слегка разбухает.

— Мм... искусство... я люблю театры, хотя редко приходилось...

— Поразительные сапоги! В них прямо что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек!

— Нет, почему же... — слабо защищается комиссар. — Положим, я с детства любил красоту и героизм... служение народу...

«Героизм и служение» — слова в моем деле опасные. Из-за служения раздели «Летучую мышь». Надо скорее базироваться на красоте.

— Ах, нет, нет, не отрицайте! Я чувствую в вас глубоко художественную натуру. Вы любите искусство, вы покровительствуете проникновению его в народные толщи. Да —

в толщи, и в гущи, и в чащи. У вас замечательные сапоги. Такие сапоги носил Торквато Тассо... и то не наверное. Вы гениальны!

Последнее слово решило все. Два вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудия производства.

Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная двумя авторами — Лоло и мною.

Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что «искусство действительно имеет за собой» и что я могу провезти все, что мне нужно, — он будет «молчать, как рыба об лед».

Больше я комиссара не видала.

Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно.

Из Петербурга приехала Каза-Роза, бывшая певица «Старинного театра». В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность: она знала, что у кого есть и кому что нужно.

Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила:

— В Криво-Арбатском переулке, на углу, в Суровской лавке осталось еще полтора аршина батиста. Вам непременно нужно его купить.

— Да мне не нужно.

— Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уже нигде ничего не останется.

В другой раз прибежала запыхавшаяся.

— Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье!

— ?

— Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу в москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уже никогда не представится.

Лицо серьезное, почти трагическое.

Ужасно не люблю слова «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась.

Покорилась Каза-Розе, купила роскошный лоскут с семью гвоздями.

Странные были эти последние дни.

По черным ночным улицам, где прохожих душили и грабили, бегали мы слушать оперетку «Сильва» или в обшарпанных кафе, набитых публикой в рваных, пахнущих мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их «эротический вечер»!

Всем хотелось быть «на людях»...

Одним, дома, было жутко.

Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге.

Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он. В Киеве? Или там, откуда не вернется?

Жили как в сказке о Змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать двенадцать девиц и двенадцать добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучших детей их. А вот тогда, в Москве, думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платьишко. Везде может жить человек, и я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом.

Так и мы. Покупали какие-то «последние лоскутья», слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканно-эротические стихи, скверные, хорошие — не все ли равно, — только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащат на лед.

Из Петербурга пришла весточка: известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В чека заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными со штыка-

ми. И вдруг — о, радостное чудо! — после первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбке.

— Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно аполитичен.

Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже «в ударном порядке развлечения».

В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц. Переменить климат.

А Гуськин все развивал деятельность. Больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру к Аверченке.

— Понимаете, какой ужас, — потрясая руками, рассказывал он. — Прибегал сегодня в десять утра к Аверченке, а он спит как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает!

— Да ведь мы же только через пять дней едем.

— А поезд уходит в девять. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь? Он будет спать, а мы будем ждать? Новое дело!

Бегал. Волновался. Торопился. Хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гуськин-псевдоним, не знаю, где вы...

2

Намеченный отъезд постоянно откладывался.

То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежда наша и упование — комиссар Нос-в-сапогах еще не успел вернуться на свою станцию.

Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен. Другой сундук, в котором были сложены (последнее мое увлечение) старинные русские шали, поставлен был в квартире Лоло.

— А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности и все эти вещи конфискуют?

Я попросила в случае опасности заявить, что сундук пролетарского происхождения, принадлежит бывшей кухарке

Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением — положила сверху портрет Ленина с надписью: «Душеньке Феничке в знак приятнейших воспоминаний. Любящий Вова».

Впоследствии оказалось, что и это не помогло.

Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре. Выплывали из тумана люди, кружились и гасли в тумане, и выплывали новые. Так с берега в весенние сумерки, если смотришь на ледоход, видишь — плывет-кружится не то воз с соломой, не то хата, а на другой льдине будто волк и обугленные головешки. Покружится, повернется, и унесет его течением навсегда. Так и не разберешь, что это, собственно говоря, было.

Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса.

Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо: мой портрет работы художника Плейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица...

Неожиданно прибило к нашему берегу Л. Яворскую. Пришла, элегантная как всегда, говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно — никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно «мосье Соболев». Льдина повернулась, и они уплыли в тумане...

Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какие-то пьесы в театрике на окраине и тоже исчезла.

Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком, помог ей в деле и, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего

разрешения, привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видела за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные: детские стихи из хрестоматии и уверения, что до встречи с нами он жил только умом (с ударением на «у»), а теперь зажил сердцем.

Целые дни он ловил бандитов. Устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал деловые профессионально-воровские чемоданчики, с которыми громилы идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколону. Одеколон удивил меня.

— Странно, какие вдруг культурные потребности, какая изысканность да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога?

Дело объяснилось просто: одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать.

Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы «те самые», и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан.

Иногда ночью звонил телефон. Это ангел-хранитель, переставший жить умом (с ударением на «у»), спрашивал, все ли у нас благополучно.

Перепуганные звонком, успокаивались и декламировали:

Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.

Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда, проводил на вокзал и охранил наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов.

У всех нас, отъезжающих, было много печали — и общей всем нам, и у каждого своей, отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как кости и череп на фуражке «гусаров смерти». Но никто не говорил об этой печали.

Помню нежный силуэт молодой арфистки, которую потом, месяца через три, предали и расстреляли. Помню свою печаль о молодом друге Лёне Каннегиссере. За несколько дней до убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве.

— Почему же не у меня?

— Я тогда и объясню почему. Условились пообедать у общих знакомых.

— Я не хочу наводить на вашу квартиру тех, которые за мной следят, — объяснил Каннегиссер, когда мы встретились.

Я тогда сочла слова мальчишеской позой. В те времена многие из нашей молодежи принимали таинственный вид и говорили загадочные фразы.

Я поблагодарила и ни о чем не расспрашивала.

Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший.

Ах, как часто вспоминаем мы потом, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И потом мы всегда знаем, что надо было сделать тогда, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп. И это отнюдь не эгоизм и не равнодушие, потому что иногда легче было бы остановиться, чем пройти мимо. Так, по плану трагического романа «Жизнь Каннегиссера» великому автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо. Как во сне — вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу...

Вот так и мы, писатели, по выражению одного из современных французских литераторов, «подражатели Бога» в Его творческой работе, мы создаем миры и людей и определяем их судьбы, порой несправедливые и жестокие. Почему поступаем так, а не иначе — не знаем. И иначе поступить не можем.

Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко:

— Можно у вас спросить? Вы не рассердитесь?

— Можно. Не рассержусь.

— Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели ну хоть приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коммивояжер остался в дураках. Ведь ему же это неприятно. Зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Почему?

— Не знаю... Не могу... Это не от меня зависит...

Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали, и такая она была трогательная, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мною обиженных и в рассказах, и в пьесах и вознагражу всех.

— Чудесно! — сказала актриса. — Вот это будет рай!

И она поцеловала меня.

— Но боюсь одного, — остановила я ее. — Боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам...

Ну вот — утром едем на вокзал.

Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченке, от Аверченки к его импресарио, от импресарио к артистам, лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны и в семь часов утра влетел ко мне запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь. Взглянул и безнадежно махнул рукой.

— Ну конечно. Новое дело. Опоздали на вокзал!

— Быть не может! Который же час?

— Семь часов, десятый. Поезд в десять. Все кончено.

Гуськину дали кусок сахару, и он понемногу успокоился, грызя это попугайное угощение.

Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль.

Чудесное осеннее утро. Незабываемое. Голубое, с золотыми куполами — там, наверху. Внизу — серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных... Высокий старик в бобровой

шапке несет узелок в бабьем кумачовом платочке... Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый лорнет... Очередь у молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги...

«Прощай, Москва, милая. Ненадолго. Всего на месяц. Через месяц вернусь. Через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя».

— Когда идешь по канату, — рассказывал мне один акробат, — никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот. Нужно верить, что все удастся, и непременно напевать.

Веселый мотив из «Сильвы» со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах:

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка,
Любовь из всех мужчин
Наделала слепых...

Какая лошадь сочинила это либретто?..

У дверей вокзала ждет Гуськин и гигант-комиссар, переставший жить умом (с ударением на «у»).

«Москва, милая, прощай. Через месяц увидимся».

С тех пор прошло десять лет...

3

Началось наше путешествие довольно гладко.

Ехали в вагоне второго класса, каждый на своем месте, не под скамейкой и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается.

Антрепренер мой, псевдоним Гуськин, волновался, почему поезд долго не отходит, а когда отошел, стал уверять, что отошел преждевременно.

— И это недобрый знак! Еще увидите, что будет.

Вид у Гуськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует дней десять и вдобавок при самых зверских условиях: башмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки.

И что совсем уж странно — щеки покрылись щетиной, будто он дня четыре отпускает бороду.

Кроме нашей группы сидели в том же отделении три дамы. Разговоры велись то вполголоса, а то и совсем шепотом на тему, близкую переживаемому моменту: как кто словчился перевезти за границу бриллианты и деньги.

— Слыхали? Прокины все свое состояние перевезли. Накрутили на бабушку.

— А почему же бабушку не осматривали?

— Ох и что вы! Она такая неприятная. Ну кто же решится!..

— А Коркины как ловко придумали. И всё экспромтом! Мадам Коркина, уже обшаренная, стоит в стороне, и вдруг — ах, ах! — нога у нее подвернулась. Не может шага сделать. А муж, еще не обшаренный, говорит красноармейцу: «Передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подопрется». Тот передал. А палка-то у них долбленая и набита бриллиантами. Ловко?

— У Булкиных чайник с двойным дном.

— Фаничка провезла большущий бриллиант, так вы не поверите — в собственном носу.

— Ну, ей хорошо, когда у нее нос на пятьдесят карат. Не всякому такое счастье.

Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фук спрятала очень хитро бриллиант в яйцо. Сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. Пойди-ка найди. Положила яйцо в корзинку с провизией и спокойно сидит, улыбается. Входят в вагон красноармейцы. Осматривают багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же на глазах мадам Фук слопал. Несчастная женщина так дальше и не поехала. Вылезла на станции, три дня ходила за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала.

— Ну и что же?

— Э, где там! Так ни с чем и домой вернулась.

Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов.

— До того эти шпионы нахитрились! Подумайте только: стали у себя на спине зарисовывать планы крепостей, а по-

том сверху закрашивать. Ну, военная разведка тоже не глупая — живо догадалась. Стали всем подозрительным субъектам спины мыть. Конечно, случались досадные ошибки. У нас в Гродно поймали одного господина. На вид — прямо подозрительный брюнет. А как вымыли его, оказался блондин и честнейший малый. Разведка очень извинялась...

Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно, но не проехали мы и трех часов, как вдруг поезд остановился и велели всем высаживаться. Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе часа два и влезли в другой поезд, весь третьеклассный, набитый до отказа. Против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились.

— Едут, — сказала про нас рябая с бородавкой. — Едут, а чего едут и зачем едут, и сами не знают.

— Что с цепи сорвавши, — согласилась с ней другая в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос.

Больше всего раздражала их китайская собачка пекинес, крошечный шелковый комочек, которую везла на руках старшая из наших актрис.

— Ишь, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет.

— Оставила бы дома. Людям сесть некуды, а она собачищу везет!

— Она же вам не мешает, — дрожащим голосом вступилась актриса за свою «собачищу». — Все равно бы я вас к себе на колени не посадила.

— Небось мы собак с собой не возим, — не унимались бабы.

— Ее одну дома оставлять нельзя. Она нежная. За ней ухода больше, чем за ребенком.

— Чаво-о?

— Ой, да что же это? — вдруг окончательно взбеленилась рябая и даже с места вскочила. — Эй! Послушайте-ка, что тут говорят-то. Вон энта в шляпке говорит, что наши дети хуже собак! Да неужто мы это сносить должны?

— Кто-о? Мы-ы? Мы собаки, а она нет? — зароптали злобные голоса.

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы дикий визг не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на пло-

щадке. Все сорвались с мест, кинулись узнавать. Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам, как там поймали вора и собрались его «под вагон спущать», да тот на ходу спрыгнул.

— Жуткие типики, — сказал Аверченко. — Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом.

Думаю. Вот сегодня вечером зажгутся в театре огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать:

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка,
Любовь из всех мужчин
Наделала слепых...

И зачем я только вспомнила! Опять привязался этот идиотский куплет! Как болезнь!

Кругом бабы весело гутарят, как бы хорошо было вора под колеса спустить и что он теперь не иначе как с проломленной головой лежит.

— Самосудом их всех надо! Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею да в воду!

— У нас в деревне подо льдом проволакивали на веревке из одной проруби да в другую...

— Жгут их тоже много...

О, интересно, что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроения.

Любовь-злодейка,
Любовь-индейка...

— Какой ужас! — говорю я Аверченке.

— Тише... — останавливает он.

— Я не про них. У меня своя пытка. Не могу от «Сильвы» отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили (может быть, это поможет). Воображаю, как моя рябая визави суетилась бы! Она хозяйственная. Раздувала бы щепочки... А что бы говорил Гуськин? Он бы кричал: «Позвольте, но у нас контракт! Вы мешаете ей выполнить договор и разоряете меня как антрепренера! Пусть она сначала заплатит мне неустойку!»

«Индейка и злодейка» понемногу стали отходить, глохнуть, гаснуть.

Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами, загромыхали сапожищи солдат, мешки, кули, корзины закрыли свет Божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гуськина: он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось?

Страшный, белый, задыхается.

— Вылезайте скорее! Маршрут меняется. По той дороге проехать нельзя. Потом объясню.

Нельзя так нельзя. Вылезаем. Я замешкалась и выхожу последняя. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит:

— Любовь-злодейка, любовь-индейка. Пожалуйте полтинник!

— Что-о?

— Полтинник! Любовь-злодейка, любовь-индейка.

Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. Не могли, видно, мои слабые силы перенести этой смеси: оперетку «Сильва» с народным гневом.

Ищу дружеской поддержки. Ищу глазами нашу группу. Аверченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую мальчишке полтинник. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь...

— Признавайтесь сейчас же! — говорю Аверченке.

Он сконфуженно смеется.

— Пока, — говорит, — вы в вагоне возились, я этого мальчишку научил: хочешь, спрашиваю, деньги заработать? Так вот, сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке. Ты подойди к ней и скажи: «Любовь-злодейка, любовь-индейка». Она за это всегда всем по полтиннику дает. Мальчишка оказался смышленый.

Гуськин, хлопотавший у багажного вагона с нашими сундуками, подошел, обливаясь зеленым потом ужаса.

— Новое дело! — трагическим шепотом сказал он. — Этот бандит расстрелялся!

— Какой бандит?

— Да ваш комиссар. Чего вы не понимаете? Ну? Расстреляли его за грабежи, за взятки. Через ту границу ехать нель-

зя. Там теперь не только оберут, а еще и зарежут. Попробуем проехать через другую.

Через другую так через другую. Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону.

Приехали на пограничную станцию вечером. Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет? Скоро ли выпустят отсюда и как поедем дальше?

Гуськин с Аверченкиным «псевдонимом» ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения, строго наказав нам стоять и ждать. Ауспиции были тревожны.

Платформа была пустая. Изредка появлялась какая-то темная фигура, не то сторож, не то баба в шинели, смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин. Не один. С ним четверо.

Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду: маленький, худой, черный, кривоносый человечек в студенческой фуражке и в огромной великолепной бобровой шубе, которая стлалась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно, только что содранная с чьих-то плеч.

Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом, подтянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул:

— Вы Тэффи? Вы Аверченко? Браво, браво и браво! Перед вами комиссар искусств этого местечка. Запросы огромные. Вы, наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями, ряд спектаклей, во время которых исполнители — местный пролетариат — под вашим руководством разыграют ваши пьесы.

Актриса с собачкой, тихо ахнув, осела на платформу. Я оглянулась кругом. Сумерки. Маленький вокзальчик с палисадничком. Дальше убогие местечковые домишки, заколоченная лавчонка, грязь, голая верба, ворона и этот Робеспьер.

— Мы бы, конечно, с удовольствием, — спокойно отвечает Аверченко, — но, к сожалению, у нас снят киевский театр для наших вечеров, и мы должны очень спешить.

— Ничего подобного! — воскликнул Робеспьер и вдруг понизил голос: — Вас никогда не пропустят через границу, если я об вас не попрошу специально. А почему я буду просить? Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетариата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили ваш багаж!..

Тут неожиданно выскочил Гуськин и захлопотал:

— Господин комиссар. Ну, конечно же, они соглашаются. Я хотя теряю на этой задержке огромный капитал, но я сам берусь их уговорить, хотя я сразу понял, что они уже рады служить нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер. Но какой вечер! Такой вечер, что вы мне оближете все пальчики. Вот как! Завтра вечер, послезавтра утром в путь. Ну, вы уже согласны, Ну, вы уже довольны. Но где бы нам переночевать наших гостей?

— Стойте здесь. Мы сейчас все устроим, — воскликнул Робеспьер и побежал, заметая следы бобрами. Три фигуры, очевидно, его свита, последовали за ним.

— Попали! В самое гнездо! Каждый день расстрелы. Три дня тому назад сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают. Надо выкручиваться.

— Пожалуй, придется ехать назад в Москву.

— Тсс!.. — шелестел Гуськин. — Они вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили? Так они вас не пустят! — с жутким ударением на «не» сказал он и замолчал.

Вернулся Аверченкин антрепренер. Шел, прижимаясь к стенке, и оглядывался, втягивая голову в плечи.

— Где же вы были?

— Сделал маленькую разведку. Беда... Некуда сунуться. Местечко битком набито народом.

С удивлением оглядываюсь. Так не вяжутся эти слова с пустотой этих улиц, с тишиной и синими сумерками, не прорезанными лучом фонаря.

— Где же все эти люди? И почему они здесь сидят?

— Почему! По две-три недели сидят. Не выпускают их отсюда ни туда, ни сюда. Что здесь делается! Не могу говорить!.. Тсс!..

По платформе широкой птицей летел на бобрах наш Робеспьер. За ним свита.

— Помещение для вас найдено. Две комнаты. Сейчас оттуда выселяют. Сколько их там набито... с детьми... такой рев подняли! Но у меня ордер. Я реквизирую на нужды пролетариата.

И снова левой рукой подтянул штаны, а правую вдохновенно простер вперед и вверх, как бы обозначая путь к дальним звездам.

— Знаете что, — сказала я, — это нам совсем не подходит. Вы их, пожалуйста, не выселяйте. Мы туда пойти не можем.

— Да, — подтвердил Аверченко. — Там у них дети, понимаете, это не годится.

Гуськин вдруг весело развел руками.

— Да, они у нас такие, хе-хе! Ничего не поделаешь! Да вы уж не беспокойтесь, мы где-нибудь притулимся. Они уж такие...

Приглашал публику веселым жестом удивляться, какие, мол, мы чудаки, но сам, конечно, душою был с нами.

Робеспьер растерялся. И тут неожиданно выдвинулся какой-то субъект, до сих пор скромно прятавшийся за спиной свиты.

— Я м-могу пре-предложить по-по-э-э... ку-ку...

— Что?

— Ку-комнаты.

Кто такой? Впрочем, не все ли равно.

Повели нас куда-то за вокзал в домик казенного типа. Заика оказался мужем дочери бывшего железнодорожника. Робеспьер торжествовал.

— Ну вот, ночлег я вам обеспечил. Устраивайтесь, а я вечерком загляну.

Заика мычал, кланялся.

Устроились.

Мне с актрисами дали отдельную комнату. Аверченку взял к себе заика, «псевдонимов» упрятали в какую-то кладовку.

Дом был тихий. По комнатам бродила пожилая женщина, такая бледная, такая измученная, что казалось, будто ходит она с закрытыми глазами. Кто-то еще шевелился на кухне, но в комнату не показывался: кажется, жена заики.

Напоили нас чаем.

— Можно бы ве-э-э-тчины... — шепнул заика. — Пока светло...

— Нет, уже стемнело, — прошелестела в ответ старуха и закрыла глаза.

— Мм-а-ммаша. А если без фонаря, а только спички...

— Иди, если не боишься.

Заика поежился и остался. Что все это значит? Почему у них ветчину едят только днем? Спросить неловко. Вообще, спрашивать ни о чем нельзя. Самого простого вопроса хозяева пугаются и уклоняются от ответа. А когда одна из актрис спросила старуху, здесь ли ее муж, та в ужасе подняла дрожащую руку, тихо погрозила ей пальцем и долго, молча всматривалась в черное окно.

Мы совсем притихли и сжались. Выручал один Гуськин. Он громко отдувался и громко говорил удивительные вещи:

— А у вас, я вижу, шел дождь. На улице мокро. Когда идет дождь, так уж всегда на улице мокро. Когда в Одессе идет, так и в Одессе мокро. Так и не бывает, чтобы в Одессе шел дождь, а в Николаеве было мокро. Ха-ха! Уж где идет дождь, так там и мокро. А когда нет дождя, так не дай Бог как сухо. Ну а кто любит дождь, я вас спрашиваю? Никто не любит, ей-богу. Ну чего я буду врать. Хе!

Гуськин был гениален. Оживлен и прост. И когда распахнулась дверь и влетел Робеспьер, сопровождаемый свитой, усиленной до шести человек, он нашел уютную компанию, собравшуюся вокруг чайного стола послушать занятного рассказчика.

— Великолепно, — воскликнул Робеспьер. Подтянул левой рукой штаны и, не снимая шубы, сел за стол. Свита разместилась тоже.

— Великолепно. Начало в восемь. Барак декорирован еловыми шишками. Вместимость — полтораста человек. Утром расклеиваем плакаты. А сейчас побеседуем об искусстве. Кто главнее — режиссер или хор?

Мы растерялись, но не все. Молоденькая наша актриса, как полковая лошадь, услышавшая звуки трубы, сорвалась и понесла — кругами, прыжками, поворотами. Замелькал Мейерхольд с «треугольниками соотношения сил», Евреинов с

«театром для себя», commedia dell'arte, актеротворчество, «долой рампу», соборное действо и тра-та-ра-ра-та-ра-та.

Робеспьер был упоен.

— Это как раз то, что нам нужно! Вы останетесь у нас и прочтете несколько лекций об искусстве. Это решено.

Бедная девочка побледнела и растерянно смотрела на нас.

— У меня контракт... я через месяц могу... я вернусь... я клянусь...

Но теперь уже понесся Робеспьер. У него был свой репертуар: пьеса на заумном языке. Широкое развитие жеста. Публика сама сочиняет пьесы и тут же их разыгрывает. Актеры изображают публику, для чего нужен больший талант, чем для обычной рутинной актерской игры.

Все шло гладко. Нарушала мирную картину культурного уюта только маленькая собачка. Робеспьер производил на нее явно зловещее впечатление. Крошечная, как шерстяная рукавица, она рычала на него с яростью тигра, щерила бисерные зубки и вдруг, закинув голову, завыла, как простой цепной барбос. И Робеспьер, несшийся на крыльях искусства в неведомые просторы, вдруг почему-то страшно испугался и осекся на полуслове.

Актриса унесла собачку.

На минутку все притихли. И тогда где-то недалеко от дома по направлению к железнодорожной насыпи послышался какой-то словно нечеловеческий, словно козлиный вопль, столько в нем было животного ужаса и отчаяния. Затем три сухих ровных выстрела, отчетливых и деловитых.

— Вы слышали? — спросила я. — Что это такое может быть?

Но никто не ответил мне. По-видимому, никто не слышал.

Бледная хозяйка сидела не шевелясь, закрыв глаза. Хозяин, все время молчавший, судорожно тряс челюстью, точно и думал заикаясь. Робеспьер с жаром заговорил о завтрашнем вечере, заговорил значительно громче, чем раньше. Из этого я поняла, что он что-то слышал...

Свита все время молча курила и в разговор не вмешивалась. Один из свиты, курносый парень в бурой драной гимнастерке, вынул золотой массивный портсигар с литым вензелем. Протянулась чья-то заскорузлая лапа с обломанными

ногтями; на лапе тускло блеснул чудесный рубин-кабошон, глубоко потопленный в массивную оправу старинного перстня. Странные наши гости!..

Молоденькая актриса задумчиво обошла вокруг стола и встала у стены. Я почувствовала, что она зовет меня глазами, но не встала. Она смотрела на спину Робеспьера, нервно дергая губами...

— Оленушка, — сказала я. — Пора нам спать. Завтра с утра будем репетировать.

Распрощались общим поклоном и пошли к себе. Тихая хозяйка пошла за нами со свечкой.

— Свет погасите, — шепнула она. — Разденьтесь уж как-нибудь впотьмах... А штору ради бога не спускайте.

Мы стали спешно устраиваться. Она задула свечку.

— Так помните про штору. Ради бога...

Ушла.

Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса Оленушка.

— У него на этой чудесной шубе на спине дырка... — шепчет она, — и что-то темное вокруг... что-то страшное.

— Спите, Оленушка. Все мы устали и нервничаем.

Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит.

И на рассвете Оленушка говорит во сне жутким громким голосом:

— Я знаю, отчего она воет. У него шуба прострелена и кровь запеклась.

У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это и не видя знала...

Утром проснулись поздно. Холодный серый день. Дождь. За окном сараи, амбары, подальше насыпь. Пусто. Ни души.

Хозяйка принесла нам чаю, хлеба, ветчины.

И шепотом:

— Зять достал ее на рассвете. Она спрятана в сарае. Ночью, если пойти с фонарем, — донесут. А днем тоже увидят. Придут обыскивать. У нас каждый день обыски.

Сегодня она словоохотливее. Но лицо «молчит». Лицо каменное, точно боится она рассказать лицом больше, чем хочет.

В дверь стучит Гуськин.

— Вы скоро? Здешняя... молодежь уже два раза прибегала.

Хозяйка уходит. Я приоткрываю дверь, подзываю Гуськина:

— Гуськин, скажите, все благополучно? Выпустят нас отсюда? — шепотом спрашиваю я.

— Улыбайтесь, ради бога улыбайтесь, — шепчет Гуськин, растягивая рот в зверской улыбке, как L'homme qui rit[1].

— Улыбайтесь, когда разговариваете, может, кто, не дай бог, подсматривает. Обещали выпустить и дать охрану. Здесь начинается зона Сорок верст. Там грабят.

— Кто же грабит?

— Ха! Кто? Они же и грабят. Ну а если будут провожатые из самого главного пекла, так они таки побоятся. Одно скажу: мы должны отсюда завтра уехать. Иначе, ей-богу, я буду очень удивлен, если когда-нибудь увижу свою мамашу.

Мысль была сложная, но явно неутешительная.

— Сегодня весь день сидите дома. Выходить не надо. Устали и репетируют. Все репетируют, и все устали.

— А вы не знаете, где сам хозяин?

— Точно не знаю. Или он расстрелян, или он бежал, или он здесь под полом сидит. А то чего они так боятся? Весь день, всю ночь двери и окна открыты. Отчего не смеют закрыть? Почему показывают, что ничего не прячут? Но чего нам с вами об этом думать? И чего об этом рассуждать? Что, нам за это заплатят? Дадут почетное гражданство? У них тут были дела, такие дела, которые пусть у нас не будут. Этот заикаться стал отчего? Три недели заикается. Так мы не хотим заикаться, мы лучше себе уедем с сундучками и с охраной.

В столовой двинули стулом.

— Скорей репетировать! — громко закричал Гуськин, отскочив от двери. — Вставайте скорее! Ей-богу, одиннадцать часов, а они спят как из ведра!

Мы с Оленушкой под предлогом усталости просидели весь день у себя... Аверченко, антрепренер и актриса с собачкой приняли на себя беседу с вдохновенными «культуртрегерами». Ходили даже с ними гулять.

---

[1] Человек, который смеется (*фр.*).

— Любопытная история, — рассказывал, вернувшись, Аверченко. — Видите тот разбитый сарай? Рассказывают, что месяца два тому назад здесь большевикам пришлось плохо и какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спешно удирать. Он вскочил на паровоз и велел железнодорожнику везти себя. А тот взял да и пустил машину полным ходом в стену депо. Большевик заживо сварился.

— А тот?

— Того не нашли.

— Может быть... это и есть наш хозяин?..

4

Бесконечно тянулся день, сумеречный, мокрый.

Мы забились в нашу «дамскую» комнату, туда же пришел и Аверченко. Точно по уговору, никто не говорил о том, что в настоящий момент больше всего волновало... Вспоминали о последних московских днях, об оставленной компании этих последних дней. Ни о настоящем, ни о будущем ни слова.

Как-то поживает «высокий (ростом) покровитель»? Все ли еще живет сердцем или снова зажил у́мом, с ударением на «у»?..

Я вспомнила, как накануне отъезда зашла попрощаться к одной бывшей баронессе. Застала я бывшую баронессу за очень нетитулованным занятием: она мыла пол. Длинная, желтая, с благородно-лошадиным лицом, сидела она на корточках и, прижав к глазам бирюзовый лорнет, с отвращением разглядывала половицы. В другой руке деликатно, двумя пальчиками, держала мокрый обрывок кружева и брызгала этим кружевом на пол.

— А вытирать я буду потом, когда мой валансьен высохнет...

Вспоминали хлеб последних московских дней, двух сортов: из опилок, рассыпавшийся, как песок, и из глины — горький, зеленоватый, всегда сырой...

Аверченко взглянул на часы:

— Ну вот, скоро и вечер. Уж пять часов.

— Кажется, кто-то стукнул в окно, — насторожилась Оленушка.

Под окном Гуськин.

— Госпожа Тэффи! Господин Аверченко! — громко кричит он. — Вы должны непременно немножко пройтись. Ей-богу, к вечеру нужно иметь свежую голову для звука голоса.

— Да ведь дождь идет!

— Дождь маленький, непременно нужно. Это я вам говорю.

— Он, может быть, хочет что-нибудь сказать, — шепчу я Аверченке. — Выйдите вперед и узнайте, один ли он. Если Робеспьер с ним, я не выйду. Я не могу.

Больше всего я боялась, что мне придется пожать руку этому Робеспьеру. Я могла отвечать на его вопросы, смотреть на него, но дотронуться — чувствовала, что не смогла бы. Такое острое истерическое отвращение было у меня к этому существу, что я не отвечала за себя, не могла поручиться, что не закричу, не заплачу, не выкину чего-нибудь непоправимого, за что придется расплачиваться не только мне самой, но и всей нашей компании. Чувствовала, что физического контакта с этой гадиной не вынесу.

Аверченко показался за окном и поманил меня.

— Не ходите направо, — шепнула мне хозяйка в сенях, делая вид, что ищет мои калоши.

— Идем посреди улицы, — шепнул Гуськин. — Мы себе гуляем для воздуха.

И мы пошли мерно и вольготно, поглядывая на небо — да, все больше на небо, — гуляем, да и только.

— Не смотрите на меня, смотрите себе на дождик, — бормотал Гуськин.

Огляделся, обернулся, успокоился и заговорил:

— Я таки кое-что узнал. Здесь главное лицо — комиссарша.

Он назвал звучную фамилию, напоминающую собачий лай.

— X — молодая девица, курсистка, не то телеграфистка — не знаю. Она здесь всё. Сумасшедшая, как говорится, ненормальная собака. Зверъ, — выговорил он с ужасом и с твердым знаком на конце. — Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстреливает: сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает. А когда ночью у насыпи, то это уже не она. И ни в чем не стесняется. Я даже не

могу при даме рассказать, я лучше расскажу одному господину Аверченке. Он писатель, так он сумеет как-нибудь в поэтической форме дать понять. Ну, одним словом, скажу, что самый простой красноармеец иногда от крылечка уходит куда-нибудь себе в сторонку. Ну так вот, эта комиссарша никуда не отходит и никакого стеснения не признает. Так это же ужас!

Он оглянулся.

— Повернем немножко в другую сторону.

— А что насчет нас слышно? — спросила я.

— Обещают отпустить. Только комиссарша еще не высказалась. Неделю тому назад проезжал генерал. Бумаги все в порядке. Стала обыскивать — нашла керенку, в лампасы себе зашил. Так она говорит: «На него патронов жалко тратить... Бейте прикладом». Ну, били. Спрашивает: «Еще жив?» — «Ну, — говорят, — еще жив». — «Так облейте керосином и подожгите». Облили и сожгли. Не смотрите на меня, смотрите на дождик... мы себе прогуливаемся. Сегодня утром одну фабрикантшу обыскивали. Много везла с собой. Деньги. Меха. Бриллианты. С ней приказчик ехал. А муж на Украине. К мужу ехала. Всё отобрали. Буквально всё. В одном платье осталась. Какая-то баба дала ей свой платок. Неизвестно еще, пропустят ее отсюда или... Ой, да куда же мы идем! Вертайте скорей!

Мы почти подошли к насыпи.

— Не смотрите же туда! Не смотрите! — хрипел Гуськин. — Ой, вертайте скорее!.. Мы же ничего не видали... Идите тихонько... Мы же себе гуляем. У нас сегодня концерт, мы же гуляем, — убеждал он кого-то и улыбался побелевшими губами.

Я быстро повернулась и почти ничего не видела. Я даже не поняла, чего именно не надо было видеть. Какая-то фигура в солдатской шинели нагибалась, подбирала камни и швыряла в свору собак, которые что-то грызли. Но это было довольно далеко, внизу у насыпи. Одна собака отбежала, волоча что-то по земле. Это все было так мгновенно... Мне показалось, что волочит она... наверное... показалось... волочит руку... да, какие-то лохмотья и руку, я видела пальцы... Только ведь это невозможно. Ведь нельзя же отгрызть руку...

Помню холодный липкий пот на висках и у рта и судорогу потрясающей тошноты, от которой хотелось рычать по-звериному.

— Идемте, идемте!

Аверченко ведет меня под руку.

— Ведь хозяйка предупреждала, — хочу я сказать, но не могу разжать зубы и ничего не могу выговорить.

— Мы попросим горячего чая, — кричит Гуськин, — и мигрень живо пройдет! От холодного мигрень всегда проходит. Что?

Когда мы подошли к дому, он шепнул:

— Актрисам нашим ни о чем ни полслова. Все равно, если даже очень громко завизжать, так новый строй наладить не успеют — нам утром надо уезжать. Что-о?

Гуськина «что-о?» не означает вопроса и ответа не требует. Это просто стиль и риторическое украшение речи. Хотя иногда казалось, что в Гуськине два человека: один говорит, а другой с удивлением переспрашивает.

Дома застали мирную картину: лампа, самовар. Одна из актрис поит молоком свою собачку, другая репетирует какой-то монолог для вечера.

Что же, однако, я буду читать? Какая у нас будет аудитория? Робеспьер говорил, что все «светлые личности, сбросившие вековые цепи» — каторжники, что ли? И вдобавок «глубокие ценители и знатоки искусства». Какого искусства? Аверченко решил, что «блатной музыки».

Что же читать?

— Надо читать нежные стихи, — решила Оленушка. — Поэзия облагораживает.

— А я все-таки лучше прочту сценку в участке. Не так благородно, зато роднее, — сказал Аверченко.

Оленушка спорила. Она на гастролях в Западном крае читала мою «Федосью».

«Ходила Федосья, калека перехожая» и т. д. (вещь очень актерами любимая и зачитанная).

— И вот, представьте себе, в антракте забежал ко мне за кулисы один старый иноверец, совсем простой, и со слезами говорил: «Милая госпожа артистка, ну прочтите же еще раз про эту Морковью». Ведь там же про Христа говори-

лось, — пламенно убеждала Оленушка, — иноверцу, наверное, это было неприятно, а все-таки это его растрогало.

— Милая Оленушка, — сказала я. — Вашего иноверца здесь, наверное, не будет. Читайте лучше что-нибудь про аэроплан или про жареную баранину...

В сенях раздался восторженный голос Робеспьера.

Я вышла из комнаты.

Вечер. Восемь часов.

Пора отправляться на знаменитый концерт.

Как одеться? Вопрос серьезный.

Думали, думали — решили надеть блузки и юбки.

— Если наденем что-нибудь понаряднее, наверное, ограбят, — сказала актриса с собачкой. — Не надо им показывать, что у нас есть приличные платья.

— Ладно.

Идти придется пешком через ограды, пересечь полотно железной дороги, потом мимо амбаров... Дождь. Грязь хлюпает, где пожиже, и чмокает, где погуще. Впотьмах кажется, будто она кипит и шевелится.

Оленушка сразу завязла и пищит, что у нее «калоши захлебнулись». Гуськин водит над дорогой слепым фонариком, словно кадит дождю и ночи.

Какая неуютная дорога в Клуб просвещения и культуры.

— А на что им лучше? — говорит незнакомый голос. — Там все равно никто никогда не бывает.

Кто-то хлюпнул и чмокнул около меня. Кто-то чужой. Надо быть осторожней.

Но все-таки, если мы даже кое-как доберемся, как же мы вылезем на эстраду с комьями грязи на ногах?

Аверченкин импресарио советует снять башмаки и чулки, идти босиком, а там уже в клубе попросить ведро воды, вымыть ноги и обуться. Или наоборот — идти как есть, а там, в клубе, потребовать воды, вымыть ноги и идти на эстраду босиком. Или еще лучше — выстирать в клубе чулки, а что мокрые, то ведь это будет малозаметно.

— А вы умеете стирать? — мрачно спросил чей-то голос.

Гуськин ворочал грязь своими корявыми штиблетами и молча кадил фонариком. Сверкнули босые ноги Оленушки. Я не могла решиться снять башмаки. Робеспьер прохо-

дил сегодня по этой дорожке и, пожалуй, еще где-нибудь плюнул.

— Это ваше?

Кто-то подает мне что-то круглое, черное. Что это за гадость?

— Ваша калоша... в ней туфля.

— Гуськин! — кричу я. — Я не могу идти дальше. Я умру.

Гуськин деловито приблизился.

— Не можете? Ну так садитесь мне на шею.

Я поняла это приглашение как аллегорическое: губите, мол, все дело, а я должен вас вывозить.

— Гуськин, я, правда, не могу. Смотрите, я стою, как цапля, на одной ноге... Мой башмак весь в грязи... Как же я его надену, когда, может быть, Робеспьер плюнул... Гуськин, спасите меня!

— Так я же говорю — садитесь мне на шею. Я вас понесу.

Ничего не понимаю.

— Вы такой огромный, Гуськин, мне не влезть.

— Встаньте сначала на заборчик... или вон тут кто-то небольшой, кажется, из молодежи... Можно сначала на него.

Поеду на Гуськине, как кузнец Вакула на чёрте?

Много раз приходилось мне в моей жизни отправляться на концерты. Ездила и в каретах, и в автомобилях, и на извозчиках, но на собственном импресарио — ни разу.

— Спасибо, Гуськин. Но уж очень вы огромный, у меня голова закружится.

Гуськин растерялся.

— Ну... хотите, наденьте мои башмаки!

Тут у меня без всякой высоты закружилась голова.

Как в минуты высшего душевного напряжения — вся минувшая жизнь острым зигзагом пронеслась перед моим внутренним взором: детство, первая любовь... война... третья любовь... литературная слава... вторая революция и... все это увенчивается незабываемыми «штиблетами» Гуськина. В черную ночь, в глуши, в грязи — какой бесславный конец! Потому что пережить этого, вы понимаете, нельзя...

— Спасибо, Гуськин. Вы высокой души человек. Я и так дойду.

И, конечно, дошла.

В закуте деревянного барака, играющем роль уборной господ артистов, пока нам оттирали башмаки газетной бумагой, мы смотрели в щелочку на нашу публику.

Барак вмещал, вероятно, человек сто. С правой стороны на подпорках и брусьях висело нечто вроде не то галерки, не то просто сеновала.

В первых рядах — «генералитет и аристократия». Все в коже (я говорю, конечно, не о собственной, человеческой, а о телячьей, бараньей — словом, революционной коже, из которой шьются куртки и сапожищи с крагами). Многие в «пулеметах» и при оружии. На некоторых по два револьвера, словно пришли не в концерт, а на опасную военную разведку, вылазку, на схватку с врагом, превосходящим силами.

— Смотрите на эту, вон — в первом ряду посредине... — шепчет Гуськин. — Это она.

Коренастая коротконогая девица с сонным лицом, плоским, сплющенным, будто прижала его к стеклу, смотрит. Клеенчатая куртка в ломчатых складках. Клеенчатая шапка.

— Какой зверъ! — с ужасом и твердым знаком шипит мне на ухо Гуськин.

«Зверъ»? Не нахожу. Не понимаю. У нее ноги не хватают до полу. Сама широкая. Плоское лицо тускло, точно губкой провели по нему. Ничто не задерживает внимания. И нет глаз, нет бровей, нет рта — все смазано, сплыло. Ничего «инфернального». Скучный комок. Женщины с такой внешностью ждут очереди в лечебницах для бедных, в конторах для найма прислуги. Какие сонные глаза. Почему они знакомы мне? Видела я их, видела... давно... в деревне... баба-судомойка. Да, да, вспомнила. Она всегда вызывалась помочь старичку повару, когда нужно было резать цыплят. Никто не просил — своей охотой шла, никогда не пропускала. Вот эти самые глаза, вот они, помню их...

— Ой, не смотрите же так долго, — шепчет Гуськин. — Разве можно так долго!..

Я нетерпеливо мотнула головой, и он отошел. А я смотрела.

Она медленно повернула лицо в мою сторону и, не видя меня через узкую щель кулисы, стала мутно и сонно глядеть прямо мне в глаза. Как сова, ослепленная дневным светом,

чувствует глазами человеческий взгляд и всегда смотрит, не видя, прямо туда, откуда глядят на нее.

И в этом странном слиянии остановились мы обе.

Я говорила ей:

— Все знаю. Скучна безобразной скукой была твоя жизнь, «Зверъ». Никуда не ушагала бы ты на своих коротких ногах. Для трудной дороги человеческого счастья нужны ноги подлиннее... Дотянула, дотосковала лет до тридцати, а там, пожалуй, повесилась бы на каких-нибудь старых подтяжках или отравилась бы ваксой — такова песнь твоей жизни. И вот такой роскошный пир приготовила для тебя судьба! Напилась ты терпкого теплого человеческого вина досыта, допьяна. Хорошо! Правда? Залила свое сладострастие, больное и черное. И не из-за угла тайно, похотливо и робко, а во все горло, во все свое безумие. Те, товарищи твои, в кожаных куртках с револьверами, — простые убийцы-грабители, чернь преступления. Ты им презрительно бросила подачку — шубы, кольца, деньги. Они, может быть, и слушаются и уважают тебя именно за это бескорыстие, за «идейность». Но я-то знаю, что за все сокровища мира не уступишь ты им свою черную, свою «черную» работу. Ее ты оставила себе.

Не знаю, как могу смотреть на тебя и не кричать по-звериному, без слов — не от страха, а от ужаса за тебя, за человека — «глину в руках горшечника», слепившего судьбу твою в непознаваемый рассудком час гнева и отвращения...

Народу набилось мною. Красноармейцы, какой-то темный сброд. Женщин было мало, и большинство в солдатских шинелях. Два приземистых комиссара в кожаных куртках переглядывались и поочередно выходили из барака строгим революционным шагом и опять возвращались на место, оправляя свои «пулеметы», словно наскоро отстояли завоевания революции и снова могут приобщиться к достижениям искусства.

Наш Робеспьер почему-то притих и маячил где-то сбоку без восторженных жестов и без свиты.

Пора начинать.

Я вернулась в уборную господ артистов и узнала, что все уже решено и слажено. Главное — идея самого Гуськина — у

нас будет конферансье, который необходим для оживления спектакля. Жалко, что не подумали об этом раньше, но, слава богу, совершенно неожиданно нас согласился выручить наш хозяин-заика.

— Ну и дела! — шепчу Аверченке. — Ведь он же, несчастный, бог знает что наплетет.

— Неловко отказываться, — смеется Аверченко. — Может быть, даже это выйдет лучше всего.

Первый выход: актриса с собачкой и Аверченкин импресарио изобразят сценку.

Выпихнули заику объявить: «Сценка Аверченко в исполнении таких-то».

— С... с... с... с... — сказал он, махнул рукой и ушел.

Публика решила, что ее призывают к молчанию, и ничуть не удивилась.

Актриса с собачкой защебетала испуганной птицей такие странные здесь слова о каких-то кузинах, левкоях, вальсах, влюбленном профессоре и опере «Аида».

Я наблюдала за публикой. Комиссары продолжали переглядываться, входить и уходить. Остальные сидели, словно ждали, что сейчас объявят очередную революцию и распустят по домам. Но помню, какая-то широкая харя в солдатской фуражке заинтересовалась и даже временами осклаблялась, но сейчас же, словно опомнившись, сдвигала брови и зверски косила глазами. В общем, мне кажется, что начальство забыло объявить этой бедной публике, что созвана она на вечер культурного развлечения, а самой ей разбираться в обстоятельствах не полагалось.

Заика твердо держался порученной ему роли и, несмотря на наши просьбы не утомляться, перед каждым номером вылезал на эстраду и нес околесицу. Меня назвал Аверченкой, Аверченку — «артисткой проездом», из остальных у него вышло только «э... э... э...»

Гуськин чувствовал себя настоящим антрепренером. Шагал, заложив руки за спину, что-то бормотал себе под нос, что-то комбинировал. Иногда заходил за кулису и шептался с кем-то. И вдруг этот «кто-то» выскочил и оказался неизвестным господином в голубых атласных шароварах, красном бархатном кафтане и лихой боярской шапке на затылке.

Быстро раздвинув нас локтями, он взбежал на эстраду и запел очень скверным, но громким голосом «Спите, орлы боевые».

Заика, только что анонсировавший: «Э... э... э...» — и еще не успевший сойти с эстрады, так и остался на ней с перекошенным судорогой ртом.

— Кто это?

— Что это значит?

— Он ужасно поет! — волновались мы.

Гуськин смущенно отворачивался.

— Да... поет он, действительно, как мать родила.

— Гуськин, объясните нам, кто это и почему он вдруг запел?

— Тссс...

Гуськин оглянулся.

— Тссс... Почему запел?.. Нитки везет на Украину. Тут всякий запоет!

Певец закончил такой фальшивой нотой, что нарочно не выдумаешь. И вдруг публика заревела, захлопала. Понравились «Орлы». Певец выскочил снова, запаренный и счастливый.

— Ну! Сделал себе свои нитки?

Гуськин заложил руки за спину.

— Что-о?

«Что» было формой риторической.

Когда программа закончилась и мы всей «труппой» вышли раскланиваться на аплодисменты, неожиданный певец выскочил на два шага вперед, как ведетта и любимец публики, и расшаркался, прижимая руку к сердцу.

Публика хлопала от души, долго и громко.

— Браво! Браво!

И вот справа, сверху, где помещались не то ложи, не то сеновал, слышу, несколько голосов негромко, но настойчиво выкликают мое имя.

Подняла голову.

Женские лица, такие беспредельно усталые, безнадежно грустные. Мятые шляпки, темные платьишки. Они перегнулись сверху и говорят:

— Милая вы наша! Любимая! Дай вам Бог выбраться поскорее...

— Уезжайте, уезжайте, милая вы наша!..

— Уезжайте скорее...

Такого жуткого приветствия ни на одном концерте не доводилось мне слышать!

И такое напряженное отчаяние и решимость и в этих голосах, и в этих глазах. Должно быть, не малым рисковали они, обращаясь ко мне так открыто. Но «генералитет» уже ушел, а мелкая публика галдела и хлопала и вряд ли что слышала.

И я им сказала:

— Спасибо, спасибо вам. Когда-нибудь встретимся?..

Но они уже скрылись. Только одно слово еще услышала я, уже не видя их бледных лиц. Короткое и горькое:

— Нет.

5

Раннее утро. Дождь.

На улице перед домом три телеги. Гуськин и Аверченкин импресарио укладывают наш багаж.

— Гуськин! Все налажено?

— Все! Пропуск дан. Сейчас обещали прислать охрану.

И шепотом:

— Уф! Больше всего охраны боюсь!

— Так ведь без охраны ограбят.

— А вам не все равно, кто вас будет грабить — охрана или кто другой?

Я соглашаюсь, что, пожалуй, действительно все равно... К нам подъезжают еще две телеги. В одной семейство с детьми и собаками. В другой — полулежит очень бледная женщина, закутанная в байковый платок. С ней мужчина в тулупе. Женщина, видно, тяжелобольная. Лицо совсем неподвижное, глаза смотрят в одну точку. Ее спутник бросает на нее быстрые беспокойные взгляды и, видимо, старается, чтобы никто на нее не обратил внимания, закрывает ее собою от наших глаз, вертится около телеги.

— Ох, ох, ох! — говорит всезнающий Гуськин. — Это та самая фабрикантша, которую обобрали.

— Отчего же она такая страшная?

— Ей прокололи бок штыком. Ну, они делают вид, что она себе здорова и ни на что не жалуется, а сидит себе и весело едет на Украину. Так уж и мы будем им верить и пойдем себе к своим вещам, что-о?

Подъехали еще телеги. В одной — вчерашний певец в рваном пальтишке. Вид невинный и три чемодана (с нитками?).

Это хорошо, что набирается такой большой караван. Так спокойнее.

Наконец появилась охрана: четыре молодых человека с ружьями.

— Скорее ехать! Нам некогда, — громко скомандовал один из них, и мы двинулись.

У выезда из селения подъезжает еще несколько телег. В общем — составилось уже двенадцать — четырнадцать. Ехали медленно. Охрана шагала рядом.

Унылое путешествие! Дождь. Грязь. Сидим на мокром сене. Впереди сорок верст этой самой загадочной зоны.

Проехали верст пять. Кругом пустое поле, справа полуразвалившийся сарай. И вдруг неожиданное оживление пейзажа: идут по пустому полю шеренгой в ряд шестеро в солдатских шинелях. Идут медленно, будто гуляют. Обоз наш остановился, хотя они не сделали ни малейшего знака, выражающего какое-нибудь требование.

— Что такое?

Вижу, соскакивает с телеги Гуськин и деловито идет в поле не к шинелям, а к сараю. Шинели медленно поворачивают туда же, и вся компания скрывается из глаз.

— Дипломатические переговоры, — сказал Аверченко, подошедший к моей телеге.

Переговоры длились довольно долго.

Наша охрана почему-то никакого участия в них не принимала, а напротив, утратив всякий начальственный и боевой вид, казалось, пряталась за нашими телегами. Странно...

Гуськин вернулся мрачный, но спокойный.

— Скажите мне, — обратился он к моему вознице, — может, здесь скоро поворот будет?

— Не-е, — отвечал возница.

— Если будет поворот, то эта военная молодежь успеет пройти наперерез и встретить нас еще раз.

— Не-е, — успокоил возница. — Погода плохая — они вже ночувать пойшли.

Хотя в девятом часу утра «ночувать», казалось бы, рановато, но мы с радостью поверили.

Возница показал кнутом вправо: на горизонте шесть фигур шеренгой. Уходят.

— Ну, езжаем, — сказал Гуськин. — Может, еще кого встретим.

Охрана вылезла и браво зашагала рядом.

Унылое путешествие.

Ехали, почти не отдыхая. Для разнообразия менялись местами, ходили друг к другу в гости. Неожиданно один из охранников вступил с нами в разговор. Я сухо ответила и сказала сидевшей со мной Оленушке по-французски:

— Не надо с ними разговаривать.

Охранник чуть-чуть усмехнулся и спросил:

— Почему же? Я ведь вас давно знаю. Вы читали на вечере у нас в Технологическом.

— Как же вы... сюда попали?

Он смеется:

— А вы думали, что мы большевики? Мы несколько дней всё ждали случая вырваться оттуда. Нас четверо — два студента и два офицера. А сегодня, когда стали говорить об охране для вас, никто из большевиков не захотел отлучаться. У них каждый день добыча есть. Ну вот мы и вызвались, подговорили кое-кого. Мы, мол, выручим. Вот и выручили. Одно только их смущало, что у моего товарища золотой зуб. Хотелось выдрать. Ну да в спешке, как видно, позабыли.

Едем дальше.

На перелеске ограда — частокол. У ворот два немецких солдата. За воротами барак.

— Это что за гутен таг?

— Карантин! Новое дело! — мрачно объясняет Гуськин.

Из калитки выходит немец поважнее, в шинели потемнее и говорит, что мы должны просидеть две недели в карантине.

Гуськин на диком немецком языке объясняет, что мы самые знаменитые писатели всего мира и что мы «так здоро-

вы, как не дай бог, чтобы господин начальник был болен». И зачем мы будем занимать в карантине место, которое нужно для других?

Но немец своей пользы не понял и захлопнул калитку.

— Гуськин! Неужели ехать назад?

— Этт! — отвечал Гуськин презрительно. — Зачем назад, когда надо вперед. Ход есть, только надо поискать. Стойте, а я начинаю.

Он заложил руки за спину и стал ходить вдоль ограды. Ходил и внимательно смотрел часовым прямо в лицо. Раз прошел, два, три.

— Черт знает что! — удивлялся Аверченко.

Весь наш длинный поезд стоял и доверчиво и покорно ждал.

Четыре раза прошел Гуськин мимо часовых, наконец выбрал одного, приостановился и спросил:

— Ну?

Часовой, конечно, молчал. Но вдруг глаза его поехали вбок. Один раз, другой, третий... Я посмотрела по другую сторону дороги: за кустами стоял еще один немец и невинно разглядывал веточку бузины. Гуськин медленно, не глядя на немца, стал кругами, как коршун, приближаться к нему. Потом оба скрылись в лесу.

Пропадал Гуськин недолго. Вышел один и громко сказал:

— Делать нечего. Поворачиваем назад.

И мы покорно повернули. Покорно, но бодро — потому что верили в гуськинский гений.

Проехали по старой дороге с полверсты и свернули в лес. Там Гуськин спрыгнул с телеги и зашагал, оглядываясь по сторонам.

В кустах мелькнула немецкая шинель. Гуськин свернул.

— Подождите, я сейчас! — крикнул он.

Переговоры длились недолго. Вылез он из кустов уже с двумя немцами, которые дружески, словами и жестами, показывали ему, где повернуть в объезд.

Повернули, встретили еще немца. С ним поладили в две минуты. Встретили еще какого-то мужика — на всякий случай сунули и ему. Мужик деньги взял, но долго смотрел нам вслед и чесал правой рукой за левым ухом. Ясно было, что дали напрасно.

Вечером показались огоньки большого украинского местечка К. Обоз наш уже въезжал на мощеную улицу, когда Гуськин в последний раз соскочил и, подбежав к шарахнувшемуся от него прохожему, стал совать ему деньги. Прохожий удивился, испугался и денег не взял.

Тогда мы поняли, что зона действительно кончилась.

К. — большое местечко при железной дороге, с мощеными улицами, каменными домами и кое-где даже электрическим освещением.

Набито местечко было до отказу путниками вроде нас. Оказывается, переехать через границу еще не значило свободно циркулировать по Украине. Здесь тоже надо было исхлопотать какие-то бумаги и пропуски... А на это нужно время — вот и сидели здесь путники вроде нас...

Долго колесил наш обоз по улицам, ища пристанища. Понемногу то та, то другая телега сворачивала и исчезала. Под конец осталась только голова каравана — наши телеги — мокрые, грязные, безнадежные.

Тащились медленно. Гуськин рядом шагал по панели, стучал в окна и ставни, просил ночлега. Из окон высовывались бороды и руки, мотались, махались, и все отрицательно.

Мы сидели молча, продрогшие, унылые, безответные, и казалось, что Гуськин погрузил на три телеги какой-то негодный товар и предлагает покупателям, а те только отмахиваются.

— Везет как телят! — соглашается со мной Оленушка. — Что поделаешь! И мысли у нас самые телячьи: выпить бы чего-нибудь теплого да лечь спать.

Наконец у ворот новенького двухэтажного домика Гуськин вступил в такой оживленный диалог с каким-то старым евреем, что возницы наши остановили лошадей. Они, люди опытные, поняли сразу, что дело здесь может наладиться.

Диалог был сильно драматический. Голоса падали до зловещего шепота, поднимались до исступленного крика. Оба собеседника говорили одновременно. И вдруг в самый грозный момент, когда оба, потрясая поднятыми над головой руками, вопили, казалось, последнее проклятие, так что Оленушка, прижавшись ко мне, крикнула: «Они сейчас вце-

пятся друг в друга!», Гуськин спокойно повернулся к нам и сказал извозчикам:

— Ну так чего же вы ждете? Въезжайте во двор.

А старик стал открывать ворота.

Дом, в который мы вошли, был, как я помянула, новый, с электрическим освещением, но странной конструкции: прямо с парадного хода вы попадали в кухню. Нас как почетных гостей провели дальше, но сами владельцы, по-видимому, построив эти хоромы, так в кухне и застряли. Семья была огромная и ютилась на кроватях, сундуках, скамейках и просто подстилках.

Самая главная в семье была старуха. Потом старухин муж — встретивший нас длинный бородач. Потом дочки. Потом дочкины дочки, дочкины мужья, сын жены сына, сыновья дочки и какой-то общий внук, которого все с любовью и воплями воспитывали.

Прежде всего, для порядка, спросили у старухи, сколько она с нас возьмет. Именно для порядка, потому что все равно деваться некуда.

Старуха сделала скорбное лицо и махнула рукой:

— Э, что об этом говорить! Разве можно брать деньги с людского горя? Когда людям некуда приклонить голову! У нас места сколько угодно и всё в доме есть (тут старуха отвернулась и поплевала, чтобы не сглазить), так мы еще будем брать деньги? Идите себе отдыхать, дочкина дочка подаст вам самовар и что надо. И прежде всего обсушитесь и ни о чем не беспокойтесь. Какие там деньги!

Мы растроганно протестовали.

Я смотрела на эту удивительную женщину со старозаветным париком на голове (парик был фальшивый, просто черная повязка с белой ниткой поперек, изображающей пробор).

— Мы же не можем пользоваться ее великодушием, — сказал Аверченко Гуськину. — Надо непременно ее уговорить.

Гуськин загадочно улыбнулся.

— Этт! На этот счет можете быть спокойны. Ну — я вам говорю.

Больше всех взволновалась Оленушка. Со слезами на глазах она сказала мне:

— Знаете, мне кажется, что Бог послал нам это путешествие, чтобы мы увидели, что есть еще на свете добрые и великодушные люди. Вот эта старуха, простая и небогатая, с какой радостью делится с нами своими крохами и жалеет нас, чужих людей!..

— Удивительная старуха! — согласилась я. — И что удивительнее всего — лицо у нее такое... не особенно симпатичное...

— Вот как не следует судить о людях по их внешности.

Мы обе так растрогались, что даже отказались от яичницы.

— Бедная старуха, отдает последнее...

Между тем Гуськин со стариком, не теряя времени, стали хлопотать, чтобы раздобыть необходимые бумаги и завтра же ехать дальше.

Сначала старик ходил куда-то один. Потом повел Гуськина. Потом оба вернулись, и Гуськин пошел один. Вернулся и сказал, что начальство требует, чтобы Аверченко и я немедленно явились к нему лично.

Было уже одиннадцать часов, хотелось спать, но что поделаешь — пошли...

Мы смутно представляли себе, что за начальник нас ждет. Комендант, комиссар, хорунжий, писарь, губернатор... Сказано идти — идем. Мы уже давно отвыкли предъявлять какие-либо права или хотя бы допытываться, куда, к кому и зачем нас тащат. «Везут как телят!» — права была Оленушка.

Пришли к какому-то казенному учреждению. Не то почта, не то участок...

В небольшой выбеленной комнате за столом офицер. У дверей солдат. Форма новая. Значит, это и есть украинцы.

— Вот, — сказал Гуськин и отошел в сторону. Покровительствующий нам старухин муж встал у самых дверей и весь насторожился: если, мол, чуть что — он шмыг за дверь и был таков.

Офицер, молодой белокурый малый, повернулся к нам, посмотрел внимательно и вдруг улыбнулся удивленно, широко и радостно.

— Так это же ж правда? Вы кто?

— Я — Тэффи.

— Я — Аверченко.

— Вы писали в «Русском слове»?

— Да, писала.

— Гы-ы! Так я же ж всегда читал. И Аверченко. В «Сатириконе». Гы-ы! Ну прямо чудеса! Я думал, врет этот лайдак. А потом думал — если не врет, так все равно посмотрю. Я никогда в Петербурге не бывал, откровенно говоря, очень интересно было посмотреть. Гы-ы! Ужасно рад! Сегодня же вам обоим пришлю пропуски! Где вы остановились?

Тут старухин муж отклеился от двери и пролопотал свой адрес, скрепив его именем Божьим:

— Ей-богу!

Мы поблагодарили.

— Значит, завтра можем ехать?

— Если хотите. А то погостили бы! У нас всего вдоволь. Даже шампанское есть.

— Вот это уж совсем хорошо! Даже не верится, — мечтательно сказал Аверченко.

Офицер встал, чтобы проводить нас, и тут мы заметили растерянную физиономию Гуськина.

— Так вы же забыли самое главное! — трагическим шепотом свистел он. — Самое главное! Мой пропуск. Господин начальник! Я же из их труппы и еще три артиста. Они же без меня никак не могут! Они же засвидетельствуют. Что же будет? Это будет последний день Помпеи на этом самом пороге!

Начальник вопросительно посмотрел на нас.

— Да, да, — сказал Аверченко. — Он с нами и трое артистов. Совершенно верно.

— Рад служить.

Распрощались.

Гуськин всю дорогу недоумевал.

— Самое главное позабыли! Что-о? Позабыли себе пропуск для Гуськина! Новое дело!

Дома, успокоенные, довольные и сонные, уселись мы вокруг самовара, подогретого дочкиной дочкой. Так как острота умиления над самоотверженной старухой уже прошла, то и мы с Оленушкой согласились поесть яичницы.

— Во всяком случае, мы сумеем ее убедить взять с нас хоть по себестоимости за все это, если уж она ни за что не

хочет брать за услуги и квартиру. Не умирать же нам с голоду оттого, что она такой чудесный человек.

— А какой грубый этот Гуськин! Осклабился, как идиот: «Этт! Можете быть спокойны». Ему-то старуху не жалко.

В комнате тепло. Обветренные щеки горят. Пора спать. Скоро двенадцать. Влетает молодой человек, вероятно, сынов сын.

— От начальника пришли! Требуют пана Аверченку.

— Неужто передумал?

— А мы-то радовались!..

Аверченко вышел на кухню. Я за ним.

Там, окруженный испуганной толпой дочкиных дочек, стоял украинский городовой.

— Вот пропуски. И вот еще начальник прислал.

Две бутылки шампанского.

Каким очаровательным явлением может быть иногда украинский городовой!

Мы чокаемся теплым шампанским...

Как высоко вознесла нас судьба! Электрическое освещение, пробки летят в потолок, и пенится вино в чашах (именно в чашах, потому что пили его из чайных чашек).

— Уфф! — радостно вздыхает Гуськин. — А я, признаюсь, мертвецки перепугался!..

Утро в К-цах.

Денек серенький, но спокойный, уютный, обыкновенный, как всякий осенний день. И дождик обычный — не тот, который третьего дня, безнадежный, будто соленый и горький, как слезы, размывал у насыпи кровавые ошмотья...

Лежим долго в постели. Тело разбито, душа точно дремлет — устали мы!

А за дверями на кухне говор, суетня, звенит посуда, кто-то кого-то бранит, кого-то выгоняют, кто-то заступается, галдят несколько голосов сразу... Милая симфония простой человеческой жизни...

— И где же тарелкэ? И где же тарелкэ? — вырывается чье-то звонкое соло из общего аккорда.

— А вуйдэ Мошкэ?

И потом сложный дуэт, что-то вроде: «Зохер-бохер, зохер-бохер».

И густое контральтовое соло:

— А мишигене копф.

Дверь осторожно приоткрывается, и в узкую щелку оглядывает нас черный глазок. И прячется. Немножко ниже появляется серый глаз. И тоже прячется. Потом гораздо выше прежнего — опять черный, огромный и удивленный...

Это, верно, дочкины дочки ждут нашего пробуждения.

Пора вставать.

Поезд уходит только вечером. Целый день придется просидеть в К-цах. Скучно. Скучно, вероятно, от спокойствия, от которого отвыкли за последние дни. Два дня тому назад мы на скуку пожаловаться не могли...

Приходит дочкина дочка и спрашивает, что нам приготовить на обед.

Мы с Оленушкой переглядываемся и в один голос говорим:

— Яичницу.

— Да, да, и больше ничего не надо.

Дочкина дочка, видимо, удивлена и даже как будто недовольна. Вероятно, добрая старуха рассчитывала угостить нас на славу.

— Это было бы бессовестно с нашей стороны, если бы стали пользоваться ее порывом.

— Конечно. Яичница все-таки самое дешевое... Хотя трудно есть ее два дня кряду.

Оленушка смотрит на меня с упреком и опускает глаза.

Пришел Аверченко. Принес целую груду чудесных яблок.

Оленушка пошла пройтись. Вернулась взволнованная.

— Угадайте — что я принесла?

— Не знаю.

— Нет, вы угадайте!

— Корову?

— Нет, вы не шутите! Угадайте.

— Не могу. Кроме коровы, ничего не приходит в голову. Канделябры, что ли?

— Ничего подобного, — торжественно говорит она и кладет на стол плитку шоколада. — Вот!

Подошла актриса с собачкой, выпучила глаза. Собачка удивилась тоже: понюхала шоколад и тявкнула.

— Откуда? — расспрашивали мы.

— Представьте себе — прямо смешно, — преспокойно купила в лавчонке. И никто ничего и не спрашивал, никаких бумаг, и в очереди не стояла. Прямо увидела, что в окошке выставлен шоколад, вошла и купила. Бормана. Смотрите сами.

Какая странная бывает жизнь на белом свете: идет человек по улице, захотел шоколаду, вошел в магазин — и «пожалуйста, сделайте ваше одолжение, извольте-с». И кругом люди и видят, и слышат, и никто ничего, будто так и надо. Прямо анекдот!

— А не кооператив?

— Да нет же. Просто лавчонка.

— Ну-ну! Нет ли тут подвоха? Давайте попробуем. А когда съедим, можно еще купить.

— Только, пожалуй, второй раз уж мне лучше не ходить, — решает Оленушка. — Пусть кто-нибудь другой пойдет, а то еще покажется подозрительным...

Умница Оленушка! Осторожность никогда не вредит.

Когда первая вспышка восторга и удивления проходит, снова становится скучно. Как дотянуть до вечера?

Собачка пищит. Ее хозяйка ворчит и штопает перчатки. Оленушка капризничает:

— Разве это жизнь? Разве так надо жить? Мы должны так жить, чтобы травы не топтать. Вот сегодня опять будет яичница, значит, снова истребление жизни. Человек должен посадить яблоню и питаться всю жизнь только ее плодами.

— Оленушка, милая, — говорю я, — вот вы сейчас за один присест и между прочим съели добрый десяток. Так надолго ли вам яблони-то хватит?

У Оленушки дрожат губы — сейчас заревет.

— Вы смеетесь надо мной! Да! Да, я съела десяток яблок, так что же из этого? Это-то меня и у-уби...вает больше всего... что я так погрязла и бе...безвольная...

Тут она всхлипнула и, уже не сдерживаясь, распустила губы и заревела, по-детски выговаривая «бу-у-у!».

Аверченко растерялся.

— Оленушка! Ну что же вы так убиваетесь! — утешал он. — Подождите денек, вот приедем в Киев и посадим яблоню.

— Бу-у-у! — убивалась Оленушка.

— Ей-богу, посадим. И яблоки живо поспеют — там климат хороший. А если не хватит, то можно немножко прикупать. Изредка, Оленушка, изредка! Ну не будем прикупать, только не плачьте!

«Это все наша старуха наделала, — подумала я. — Оленушке перед этой святой женщиной кажется, что все мы гнусные, черствые и мелочные людишки. Ну что тут поделаешь?»

Легкий скрип двери прервал мои смятенные мысли...

Опять глаз!

Посмотрел, спрятался. Легкая борьба за дверью. Другой глаз, другого сорта. Посмотрел и спрятался. Третий глаз оказался таким смелым, что впустил за собой в щелочку и нос.

Голос за дверью нетерпеливо спросил:

— Ну-у?

— Вже! — ответил он и спрятался.

Что там делается?

Мы стали наблюдать.

Ясно было: на нас смотрят, соблюдая очередь.

— Может быть, это Гуськин нас за деньги показывает? — додумался Аверченко.

Я тихонько подошла к двери и быстро ее распахнула.

Человек пятнадцать, а то и больше, отскочили и, подталкивая друг друга, спрятались за печку. Это все были какие-то посторонние, потому что дочкины дочки и прочие домочадцы занимались своим делом, даже как-то особенно усердно, точно подчеркивая свою непричастность к поведению этих посторонних. А совсем отдельно стоял Гуськин и невинно облупливал ногтем штукатурку со стенки.

— Гуськин! Что это значит?

— Ф-фа! Любопытники. Я же им говорил — чего смотреть! Хотите непременно куда-нибудь смотреть, так смотрите на меня. Писатели! Что-о? Что у них внутри — все равно не увидите, а снаружи — так совсем такие же, как я. Что-о? Ну конечно, совсем такие же.

Одно интересно — продавал Гуськин на нас билеты или пускал даром? Может быть, и даром, как пианист, который, чтобы не терять doigté[1], упражняется на немых клавишах.

[1] Беглость пальцев *(фр.)*.

Мы вернулись к себе, заперев дверь поплотнее.

— А собственно говоря, почему мы их лишили удовольствия? — размышляла Оленушка. — Если им так интересно — пусть бы смотрели.

— Верно, Оленушка, — поспешила я согласиться (а то еще опять заревет). — Да, скажу больше: чтобы доставить им удовольствие, мы бы должны были придумать какой-нибудь трюк: поставить Аверченку кверх ногами, взяться за руки и кружиться, а актрису с собачкой посадить на комод и пусть говорит «ку-ку».

Днем после первой яичницы (потом была и вторая — перед отъездом) развлек нас старухин муж. Это был самый мрачный человек из всех встреченных мною на пути земном. Настоящему не доверял, в будущее не верил.

— У вас здесь в К-цах хорошо, спокойно.

Он уныло долбил носом.

— Хорошо-о. А что будет дальше?

— Какие вкусные у вас яблоки!

— Вкусные. А что будет дальше?

— У вас много дочек.

— Мно-го-о. А что будет дальше?

Никто из нас не знал, что будет дальше, и ответить не мог, поэтому разговор с ним всегда состоял из коротких, но глубоких по философской насыщенности вопросов и ответов — вроде диалогов Платона.

— У вас очень хорошая жена, — сказала Оленушка. — Вообще, вы все, кажется, очень добрые!

— Добрые. А что бу...

Он вдруг безнадежно махнул рукой, повернулся и вышел.

После второй яичницы сложили вещи; мужья дочкиных дочек поволокли наш багаж на вокзал; мы трогательно попрощались со всеми и вышли на крыльцо, предоставив Гуськину самую деликатную часть прощания — расплату. Внушили ему, чтобы непременно убедил взять деньги, а если не удастся убедить — пусть положит их на стол, а сам скорее бежит прочь. Последнюю штуку мы с Оленушкой придумали вместе. И еще добавили, что если святая старуха кинется за ним, то пусть он бежит не оглядываясь на вокзал, а мы врассыпную за ним — ей не догнать, она все-таки старая.

Ждали и волновались.

Через дверь слышны были их голоса — Гуськина и старухи, то порознь, то оба вместе.

— Ах, не сумеет он! — томилась Оленушка. — Такие вещи надо делать очень деликатно.

И вдруг раздался дикий вопль. Вопил Гуськин.

— Он с ума сошел!

Вопил громкие, дикие слова:

— Гелд? Гелд?

И старуха вопила, и тоже «гелд».

Крик оборвался. Выскочил Гуськин. Но какой! Мокрый, красный, рот на боку, от волнения расшнуровались оба штиблета и воротничок соскочил с петли.

— Идем! — мрачно скомандовал он.

— Ну что — взяла? — с робкой надеждой спросила Оленушка.

Он весь затрясся:

— Взяла? Хотел бы я так заплатить, как она не взяла. Что-о? Я уже давно понимал, что она сдерет, но чтобы так содрать — пусть никогда не зайдет солнце, если я что подобное слыхал!

Гуськин в гневе своем пускался в самые сложные риторические обороты. Не всегда и поймешь, в чем дело.

— Так я ей сказал просто: вы, мадам, себе, мадам, верно, проснулись с левой ноги, так подождем, когда вы себе проспитесь. Что-о? Я ей просто ответил.

— Но вы все-таки заплатили сколько нужно? — беспокоились мы.

— Ну? Новое дело! Конечно, заплатил. Заплатил больше, чем нужно. Разве я такой, который не платит? Я такой, который платит.

Он говорил гордо. И вдруг совершенно некстати прибавил скороговоркой:

— Деньги, между прочим, конечно, ваши.

6

Из К-цов выехали в товарном вагоне.

Сначала показалось даже забавным, сели в кружок на чемоданы, словно вокруг костра. Грызли шоколад, беседовали.

Особенно интересным было влезать в вагон. Ни подножки, ни лесенки не было, а так как прицепили нас где-то в хвосте поезда, то на нашу долю на остановках платформы никогда не хватало. Поэтому ногу нужно было поднимать почти до уровня груди, упираться ею, а те, кто уже был в вагоне, втаскивали влезающего за руки.

Но скоро все это надоело. Станции были пустые, грязные, с наскоро приколоченными украинскими надписями, казавшимися своей неожиданной орфографией и словами произведением какого-то развеселого анекдотиста...

Этот новый для нас язык так же мало был пригоден для официального применения, как, например, русский народный. Разве не удивило бы вас, если бы где-нибудь в русском казенном учреждении вы увидели плакат: «Не при без доклада». Или в вагоне: «Не высовывай морду», «Не напирай башкой на стекло», «Здесь тары-бары разводить воспрещается».

Но и веселые надписи надоели.

Тащили нас медленно, остановки были частые и долгие. На вокзалах буфеты и уборные закрыты. Видно было, что волна народного гнева только что прокатилась, а просветленное население еще не вернулось к будничному, земному и человеческому. Всюду грязь и смрад, и тщетно взывало начальство к «чоловикам» и «жинкам», указывая им мудрые, старые правила вокзального обихода, — освобожденные души были выше этого.

Сколько времени мы тащились — не знаю. Помню, что раздобыли откуда-то лампу, но она чадила невыносимо. Даже Гуськин сказал:

— Это прямо исчадие ада.

И лампу погасили.

Стало холодно, и я, завернувшись в свою котиковую шубку, на которой раньше лежала, слушала мечты Аверченки и Оленушки.

О котиковой шубке я упомянула недаром. Котиковая шубка — это эпоха женской беженской жизни. У кого не было такой шубки? Ее надевали, уезжая из России, даже летом, потому что оставлять ее было жалко, она представляла некоторую ценность и была теплая, — а кто мог сказать, сколько времени продолжится странствие? Котиковую шубу увидела я в Киеве и в Одессе, еще новенькую, с ровным бле-

стящим мехом. Потом в Новороссийске, обтертую по краям, с плешью на боку и локтях. В Константинополе, с обмызганным воротником, со стыдливо подогнутыми обшлагами, и, наконец, в Париже от двадцатого до двадцать второго года. В двадцатом году, протертую до черной блестящей кожи, укороченную до колен, с воротником и обшлагами из нового меха, чернее и маслянистее — заграничной подделки. В двадцать четвертом году шубка исчезла. Остались обрывки воспоминаний о ней на суконном манто вокруг шеи, вокруг рукава, иногда на подоле. И кончено. В двадцать пятом году набежавшие на нас своры крашеных кошек съели кроткого ласкового котика. Но и сейчас, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту целую эпоху женской беженской жизни, когда мы в теплушках, на пароходной палубе и в трюме спали, подстелив под себя котиковую шубку в хорошую погоду и покрываясь ею в холода. Вспоминаю даму в парусиновых лаптях на голых ногах, которая ждала трамвая в Новороссийске, стоя с грудным ребенком под дождем. Чтобы дать мне почувствовать, что она «не кто-нибудь», она говорила ребенку по-французски милым русским институтским акцентом:

— Силь ву плэ! Нэ плер па! Вуаси ле трамвей, ле трамвей![1]

На ней была котиковая шубка.

Удивительный зверь этот котик. Он мог вынести столько, сколько не всякая лошадь сможет.

Артистка Вера Ильнарская тонула в котиковой шубке во время кораблекрушения у турецких берегов на «Грэгоре». Конечно, весь багаж испортился — кроме котиковой шубки. Меховщик, которому она впоследствии дана была для переделки, решил, что, очевидно, котик, как животное морское, попав в родную стихию, только поправился и окреп.

Милый ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней, знамя беженского женского пути. О тебе можно написать целую поэму. И я помню тебя и кланяюсь тебе в своей памяти.

Итак, трясемся мы в товарном вагоне. Я завернулась в шубку, слушаю мечты Оленушки и Аверченки.

---

[1] Пожалуйста! Не плачь! Вот трамвай, трамвай! (*фр.* S'il vous plaît! Ne pleure pas! Voici le tramway, le tramway!).

— Прежде всего, теплую ванну, — говорит Оленушка. — Только очень скоро, и потом сразу жареного гуся.

— Нет, сначала закуску, — возражает Аверченко.

— Закуска — ерунда. И потом, она холодная. Нужно сразу сытное и горячее.

— Холодная? Нет, мы закажем горячую. Ели вы в «Вене» черный хлеб, поджаренный с мозгами? Нет? Вот видите, а беретесь рассуждать. Чудная вещь, и горячая.

— Телячьи мозги? — деловито любопытствует Оленушка.

— Не телячьи, а из костей. Ничего-то вы не понимаете. А вот еще, у Контана на стойке, где закуски, с правой стороны — между грибками и омаром — всегда стоит горячий форшмак — чудесный. А потом у Альберта, с левой стороны, около мортоделлы — итальянский салат... А у Медведя как раз посредине в кастрюлечке такие штучки, вроде ушков с грибами, тоже горячие...

— Хорошо, — торопится Оленушка. — Не будем терять время. Значит, все это из всех ресторанов будет уже на столе, но все-таки одновременно и жареный гусь с капустой... нет, с кашей, с кашей сытнее.

— А не с яблоками?

— Я же говорю, что с кашей сытнее. Беретесь рассуждать, а сами ничего не понимаете. Так мы никогда ни до чего не договоримся.

— А где же все это будет? — спрашиваю я.

— Где? Так, вообще... — рассеянно отвечает Оленушка и снова пускается в деловой разговор. — Еще можно из Кисловодска достать шашлык, из Ореховой Балки.

— Вот это дельно, — соглашается Аверченко. — А в Харькове я ел очень вкусные томаты с чесноком. Можно их подать к этому шашлыку.

— А у нас в имении пекли пироги с налимом. Пусть и этот пирог подадут.

— Отлично, Оленушка.

Зашевелилась в углу темная глыба. Гуськин подал голос.

— Извиняюсь, госпожа Тэффи... — вкрадчиво спросил он. — Я любопытен знать... вы любите клюцки?

— Что? Клецки? Какие клецки?

— Моя мамаша делает клюцки из рыбы. Так она вас угостит, когда вы будете у нас жить.

— Когда же я буду у вас жить? — с тоской ужасных предчувствий спрашиваю я.

— Когда? В Одессе, — спокойно отвечает Гуськин.

— Так ведь я буду в «Лондонской» гостинице!

— Ну конечно. Кто спорит? Никто даже не спорит. Вы себе живете в «Лондонской», но пока что — пока багаж, пока извозчик, пока все эти паскудники разберутся — вы себе спокойно сидите у Гуськина и мамаша угощает вас клюцками.

О-о-о! Мое больное воображение сразу нарисовало мне комнатку, разделенную пополам ситцевой занавеской. Комод. На комоде гуськинские штиблеты и отслуживший воротничок. А за перегородкой — мамаша стряпает «клюцки».

— Тут что-то дело неладно, — шепчет мне Аверченко. — Надо будет вам в Киеве хорошенько разобраться во всех этих комбинациях.

Ободренный моим молчанием, Гуськин развивает планы:

— Мы еще можем в Гомеле устроить вечерок. Ей-богу, можем по дороге сделать. Гомель, Шавли. Ручаюсь, везде будет валовой сбор.

Ну и Гуськин! Вот это антрепренер! За таким не пропадешь.

— А скажите, Гуськин, — спрашивает Аверченко, — вам, наверное, очень много приходилось возить гастролеров?

— Э, таки порядочно. Хор возил, труппу возил. Вы спросите Гуськина, чего Гуськин не возил.

— Так вы, вероятно, миллионы заработали на этих валовых сборах-то?

— Миллионы? Хе! Дайте мне разницу. Дайте мне разницу от двадцати тысяч, так я уже буду доволен.

— Ничего не понимаю, — шепчу я Аверченке. — Какую ему нужно разницу?

— Это значит, что он так мало заработал, что если вычесть эту сумму из двадцати тысяч, то он с удовольствием возьмет разницу.

Господи, какой сложный человек мой Гуськин.

— Гуськин, почему вы так мало зарабатывали?

— Потому что я Гуськин, а не Русланский. Я смотрю, чтобы гастролеру было хорошо, чтобы ему был первый номер в первой гостинице и чтобы прислуга его не колотила. А Рус-

ланский — так он думает, что импресарио должен сидеть в первом номере. Так я ему говорю: «Слушайте, Гольдшмукер, я такой же лорд, как и вы, так почему я могу ночевать в коридорчике, а вы должны в первом номере, а ваш гастролер на улице под зонтиком?» Русланский? Что такое Русланский? Я таки ему прямо сказал: когда Гуськин кончает гастроль, так гастролер говорит: «Жалко, что я не родился на денечек раньше, я бы дольше с Гуськиным ездил». А когда Русланский кончает, так гастролер ему говорит: «Чтобы тебе, Гольдшмукер, ни дня, ни покрышки». Да, ни дня, ни покрышки. И еще называет его паршивцем, но я этого перед вами не повторяю. Что-о?

Но тут беседа наша прервалась, потому что поезд остановился, дверь вагона с визгом двинулась вбок и властный голос громко крикнул:

— Heraus![1]

А другой голос, менее властный, проблеял:

— Уси злизайти!

— Новое дело! — говорит Гуськин и исчезает в мутной мгле.

Прыгаем в жидкую скользкую грязь. Прыгаем в неизвестное.

Расталкивая нас, лезут в вагон солдаты, проворно выбрасывают наш багаж и задвигают дверь.

Ночь, дождь, мутные огоньки ручных фонариков, солдаты.

Итак, мы снова под дождем на платформе.

Стоим, сбились тесной кучкой, как бараны в снежную бурю — стоят, морды вместе, хвосты наружу. Ждем покорно. Верим — наш пастух Гуськин дело уладит.

Не могу сказать, чтобы настроение у нас было очень унылое. Конечно, ужин и ночлег в теплой комнате были бы приятнее, чем мелкий дождичек на открытой платформе, но вкусы у нас выработались скромные. Уверенность, что буквально никто не собирается нас расстреливать, наполняла душу радостным удивлением и довольством. Дождик уютный, даже не очень мокрый... Право же, на свете совсем недурно живется.

Рядом с нами на вокзальной тележке сложен наш багаж. Сторожит его немецкий солдат.

---

[1] Прочь! *(Нем.)*

Станция освещена скудно. Вдали светит стеклянная дверь — входят и выходят темные фигуры. Там, за этой дверью, наверное, и решаются судьбы мира.

Высокая черная тень шагает к нам. Это Гуськин.

— Опять начались муки Тантала — вертишься под дождем и не знаешь, кому совать взятку, — растерянно говорит он.

— Чего они от нас хотят, Гуськин?

— Хотят в карантин сажать. Плохо им, что у них в карантине пусто! Что-о? Я им говорю, что мы уже сидели. А они говорят — покажите бумаги, когда вы из Москвы выехали. А по бумагам, неделю тому назад. А где же две недели карантина? Так я ответил — что? Я ответил, что я пойду деньги разменяю. А что вы хотите, чтобы я ответил на подобный вопрос?

— Как же быть?

— Как-нибудь будем. Пуганая ворона на кусты дует. Надо найти, кому дать. Для чего же они карантин выдумали? Нужно только разыскать какого-нибудь еврея, так он нам дорогу покажет.

Гуськин ушел.

— Знаете, господа, нужно попробовать поговорить с солдатом, — надумала я. — Оленушка, начнем говорить между собой по-немецки, чтобы расположить его в свою пользу. Хорошо?

— Я совсем немецкий забыла! — говорит Оленушка. — Помню кое-что из грамматики.

— Ничего, валяйте из грамматики, только с чувством.

— Аусгеноммен зинд: бинден, финден, клинген, — начала Оленушка, — гелинген, ринген...

— Веселее, Оленушка, оживленнее!..

— Нах, ауф, хинтер, небен, ин, штеен, мить дем аккузатив, — улыбаясь, щебетала Оленушка.

— Мит, нах, нехст, небст, — отвечаю я, утвердительно кивая головой. — Смотрите — солдат начинает шевелиться. Валяйте, скорее еще!

— Аусгеноммен зинд: бинден, банд, гебуден. Дринген, дранг...

— Цу, аус...

Солдат смотрел на нас с тусклым любопытством.

— Ну вот, патриотическая жилка у него, очевидно, завибрировала. Как же быть дальше?

— Может быть, спеть дуэтом «Дас вар ин Шенеберг»?

— Петь, пожалуй, неудобно. Куда это уставился наш солдат? Смотрит на мой чемодан.

Я подхожу к нему. Ага! На моем старом чемодане наклейка «Берлин». Вот он куда смотрит. Ну, теперь возьму его голыми руками.

— Берлин! Чудесный город, — говорю я по-немецки. — Вы бывали в Берлине?

Нет, он в Берлине не был.

— Ах, когда все это кончится, непременно поезжайте. Ах, ах! Прекрасный город. Ресторан Кемпинского... магазин Вертхейма, пиво, колбаса, красота... Ах, ах, ах!

Немец улыбается, патриотическая жилка пляшет вовсю.

— А вы были в Берлине?

— Ну еще бы! Вот доказательство — мой чемодан. Берлин, ах, ах!

Ну, однако, пора к делу.

— Да, это было хорошее время до войны. А теперь так трудно. Вот стоим здесь под дождем и не знаем, как быть. Мы, конечно, были в карантине, но недолго, потому что мы ужасно здоровые. Нас и отпустили. Только свидетельство мы не догадались взять. Как быть?

Солдат вдруг сделал каменное лицо, повернулся в профиль и, не глядя на меня, сказал:

— Лейтенант Швенн.

Потом сразу повернулся и отошел.

Победа! Бегу искать Гуськина.

Фонари мигают — мелькает по ним суетливая тень. Конечно, это Гуськин.

— Гуськин! Гуськин! Солдат сказал: «Лейтенант Швенн». Понимаете?

— Хо! Мне уже десять человек сказали «Швенн». Он там у начальника. Надо ждать.

Я вернулась к своим.

Солдатский патриотизм так разыгрался, что, по-видимому, и успокоиться не мог.

— Лейтенант Швенн! — повторил солдат, не глядя на нас. — Нун? Лейтенант Швенн.

Тогда я догадалась и сказала:

— Шон! Уже!

Он шевельнул бровями и ухом и успокоился.

Подошел Гуськин.

— Ну что?

— Такие пустяки! Так дешево, что прямо стыд! Что-о? Только нужно все-таки, чтобы вы сами пошли поговорить с начальником. Попросите, чтобы дал пропуск. Он все равно даст, но нужно, чтобы вы попросили.

Пошли к начальнику. Что ему сказать — сами не знали.

Начальник — немецкий офицер — сидел за столом. Вокруг — свита, украинская офицерская молодежь.

— Чего же вы так торопитесь? — спрашивала свита. — Посидите себе у нашем городу.

— Мы очень торопимся. У нас послезавтра в Киеве концерт, мы непременно должны быть к сроку на месте.

Кое-кто из офицеров знал наши имена. Улыбались, смущались, шутили.

— Вот вы, вместо того чтобы задерживать нас, лучше сами берите разрешение и приезжайте на наш концерт в Киев, — сказал Аверченко. — Мы вас всех приглашаем. Приезжайте непременно.

Молодежь заволновалась.

— Концерт? И вы участвуете? Ах, если бы только было можно!

— Карантин? Какой там карантин, — бессвязно лепетал Гуськин. — Это же русские писатели! Они так здоровы, что не дай бог. Слышали вы, чтобы русский писатель хворал? Фа! Вы посмотрите на русского писателя!

Он с гордостью выставил Аверченко и даже обдернул на нем пальто.

— Похож он на больного? Так я вам скажу: нет. И через три дня, послезавтра, у них концерт. Такой концерт, что я бы сам валом валил на такой концерт. Событие в анналах истории. А если нужно карантин, так мы его потом поищем в Киеве. Ей-богу. Найдем и посидим себе немножечко. Отчего нам не посидеть? Что-о?

— Попросите же за нас вашего немца, — сказала я офицерам.

Те пощелкали каблуками, пошептались, подсунули немцу какие-то бумажки. Тут выступил Гуськин.

— Главное дело, не забудьте сказать, что я прежде всех сидел в карантине, — внушительно сказал он мне. — Еще вздумают меня тут задерживать! Я свою мамашу уже пять месяцев не видал.

И, повернувшись к изумленным офицерам, заявил официальным тоном:

— Я нахожусь уже пять месяцев вне матери.

И вот мы снова в вагоне.

В Гомеле добрые души советовали нам проехать до Киева на пароходе.

— Будете проезжать мимо острова, где засела какая-то банда. Банда все пароходы обстреливает из пулемета.

Прогулка, очевидно, очень уютная. Но мы все-таки решили ехать по железной дороге.

Вагон приличный, первого класса, но публики немного, и публика странная — все какие-то мужики в сермягах. Сидят, молчат, шевелят бровями. Бородач с золотым зубом на мужика совсем не похож. На нем грязный тулуп, но пухлые руки, холеные, с вплывшим в четвертый палец обручальным кольцом.

Странный народ. Смотрят, положим, не злобно. Когда ехали в классном вагоне из Москвы, публика смотрела на нас зверски: интеллигенты подозревали в нас чекистов, плебс — бар, продолжающих пить кровушку.

— Ну вот, скоро и Киев.

Гуськин развлекает нас мирной беседой.

— Я в Киеве познакомлю вас с моим приятелем, — говорит он Оленушке. — Очень милый молодой человек, глубоко интеллигентный. Лотос.

— Что?

— Лотос.

— Индус? — с благоговением спрашивает Оленушка, и я вижу в глазах ее мелькнувшую мечту о йогах, о посаженной яблоне и плодах ее.

— Ну-у! Зачем так мрачно? Коммивояжер, — отвечает обиженный за своего приятеля Гуськин. — Лотос комми-

вояжер. Оптические стекла. Аристократической семьи. Дядя имел аптечный склад в Бердянске. Думает жениться.

— А вы, Гуськин, не женаты?

— Нет.

— Отчего?

— У меня слишком высокие требования от девушки.

— Какие же требования?

— Во-первых, дебелость.

Гуськин опустил глаза. Помолчал и прибавил:

— И все ж таки приданое.

С ударением на «и».

— А скажите, Гуськин, как вас зовут? А то неловко, что мы все зовем вас по фамилии.

Гуськин смущенно усмехнулся.

— Имя? Так вы же станете смеяться.

— Ну, Господь с вами. Почему мы будем смеяться?

— Ей-богу, будете смеяться. Я не скажу.

— Ну, Гуськин, милый, честное слово, не будем! Ну скажите!

— Не настаивайте, Оленушка, — шепчу я. — Может быть, оно как-нибудь на наш слух неприлично звучит.

— Ну пустяки, скажите, Гуськин, как вас зовут?

Гуськин покраснел и развел руками.

— Меня зовут... извините — это же прямо анекдот! — Александр Николаевич! Вот.

Мы действительно ожидали чего угодно, но не этого.

— Гуськин! Гуськин! Уби-и-ил!

Гуськин хохочет громче всех и утирает глаза тряпичным комочком неизъяснимого цвета. Вероятно, в более шикарные времена это было носовым платком...

7

Чем ближе к Киеву, тем оживленнее станции.

На вокзалах буфеты. По платформе ходят жующие люди с маслеными губами и лоснящимися щеками. Выражение лиц изумленно-довольное.

На стенах афиши, свидетельствующие о потребности населения в культурных развлечениях. Читаю:

«Грандиозный аттракцион собак. По системе знаменитейшего Дурова».

«Труппа лилипутов».

«Артистка Александрийского театра с полным местным репертуаром».

Гуськин сказал:

— Здесь-таки буквально жизнь бьет ключом по голове. Какие афиши! Ловко составлены. Что-о? Я бы сам на такую программу валом валил!

Всюду немецкие полицейские, чисто вымытые, крепко вытертые, туго набитые украинским салом и хлебом.

Нас еще два раза пересаживают. Совсем уж непонятно.

На одной из больших станций на платформе в толпе ожидающих стоят Аверченко, Гуськин, актриса с собачкой — все, как на подбор, высокого роста. Вдруг подбегает к ним запыхавшийся субъект — котелок на затылке, распахнутое пальто вздулось кривым парусом, глаза блуждают.

— Извините мене вопрос — вы не лилипуты?

— Нет, — скромно отвечает Аверченко.

Гуськин даже не удивился.

— Вероятно, ожидается труппа и запоздала приездом. Чего же вы смеетесь? Это же часто бывает, что труппа опаздывает. Что-о?

Он находил вопрос вполне естественным.

С каждой пересадкой состав публики меняется. Появляются прилично и даже элегантно одетые люди, «господа». К последнему перегону остаются сплошь одни господа да барыни.

— Куда же они все девались?

Уйдет в станционную мужскую комнату темная личность с чемоданчиком, а выходит из мужской комнаты совершенно ясная личность — адвокат, помещик, гидра контрреволюции с гладко причесанной головой, в чистом воротничке, несет рукой в перчатке тот же чемоданчик. Эге! Лица-то все знакомые. Вон и тот пухлый с бородкой — расчесал бородку, брови нахмурил, снимает озабоченно пушинку с рукава драпового пальто и уже выражает недовольство какими-то порядками:

— Безобразие! Эдакая распущенность!

Ну уж если дошло до «безобразия» и «распущенности», значит, почва у нас под ногами прочная.

Скоро и Киев.

Гуськин озадачивает нас неожиданным вопросом:

— А где вы все думаете остановиться?

— Где-нибудь в отеле.

— В отеле?

Он загадочно усмехается.

— А что?

— Говорят, что все отели реквизированы. И в частных квартирах столько народу набито, что я хотел бы, чтобы в моем кошельке было так тесно. Что-о?

У меня знакомых в Киеве не было, и куда сунуться, если в отель не пустят, — я не имела никакого представления.

— Это, собственно говоря, Гуськин, ваша обязанность, — сказал Аверченко, — раз вы импресарио, вы должны были приготовить помещение, списаться с кем-нибудь, что ли.

— А с кем я спишусь? Господину гетману напишу? Так я бы ему написал, а он бы мне прописал. Так пусть лучше госпожа Тэффи пойдет к гетману, так из этого, может быть, что-нибудь выйдет. Не говорю, что выйдет хорошее, но что-нибудь непременно выйдет. Ну я уже вижу, что госпожа Тэффи никуда не пойдет, а останется себе ждать на вокзале, а Гуськин побежит по городу и найдет квартиру. Опять столько работы, что ни охнуть, ни сдохнуть.

— Это входит в ваши обязанности! Чего же вы огорчаетесь?

— Обязанности? — философским тоном сказал Гуськин. — Конечно, обязанности. Ну так найдите мне дурака, который бы веселился, что должен исполнять обязанности! Что-о?

Оленушка вступила в разговор.

— В крайнем случае я возьму все на себя, — кротко сказала она. — У меня в Киеве есть подруги, может быть, можно устроиться у них...

Личико у Оленушки было озабоченное и грустное. Ясно было, что она приняла твердое решение «не топтать травы»...

На скамейке через проход актриса с собачкой говорила шипящим голосом Аверченкину антрепренеру:

— Почему другие могут, а вы не можете? Почему вы никогда ничего не можете?

И тут же сама себе отвечала:

— Потому что вы форменный идиот.

Я сказала тихонько Аверченке:

— Мне кажется, что ваши актеры плохо ладят друг с другом. Эта самая Фанничка и ваш импресарио всю дорогу шипят друг на друга. Трудно будет устраивать с ними вечера.

— Да, они бранятся, — спокойно сказал Аверченко. — Но это вполне нормально. Это же старый роман.

— Роман?

Я прислушалась.

— Мне стыдно за вас, — шипела актриса. — Вечно вы небриты, у вас рваный галстук, у вас грязный воротничок и вообще вид альфонса.

— Да, вы правы, — сказала я Аверченке. — Здесь, по-видимому, глубокое и прочное чувство.

Импресарио бубнил в ответ:

— Если бы я был любителем скандалов, то я сказал бы вам, что вы пошлая дура и вдобавок злая. Имейте это в виду.

— Да, — повторила я. — Глубокое и прочное с обеих сторон.

Нужно, однако, поднять настроение.

— Господа, — сказала я. — Почему вы так приуныли? Помните, как вы мечтали в теплушке о ванне, о хорошем обеде. Подумайте только: завтра в это время мы, может быть, будем чистенькие и нарядные сидеть в хорошем ресторане и под музыку есть самые вкусные вещи. Будет белая блестящая скатерть, хрустальные рюмки, цветы в вазах...

— Я таки порядочно не люблю рестораны, — вставил Гуськин. — Чего хорошего? Когда мне мамаша подает дома бульончик, так я его улепетываю лучше, чем самую дорогую печенку в самом лучшем ресторане. Что-о? Конечно, в очень дорогом ресторане, там полный порядок (Гуськин произносил «парадок», производя, как ласкательное, от слова «парад»). Там вам, после как вы курочку поглодаете, обязательно подают теплой воды и даже с мылом, чтобы вы могли помыть лицо и руки. Но для такого ресторана надо иметь нахальные деньги. А в обыкновенном ресторане так

вы себе вытираете руки прямо о скатерть. Это же скука! Нет, я ресторанов не люблю. И чего хорошего, когда вы кушаете суп, а какой-нибудь сморкач сидит рядом и кушает, извините, компот.

— Чего же тут дурного? — недоумевает Аверченко.

— Как «чего дурного»? Притворяйтесь! Не понимаете? Так куда же он плюет косточки? Так он же их плюет вам в тарелку. Он же не жонглер, чтобы каждый раз к себе попадать. Нет, спасибо! Я таки повидал ресторанов на своем веку.

Поезд подходит к станции.

Киев!

Вокзал забит народом и весь пропах борщом. Это новоприезжие в буфете приобщаются к культуре свободной страны. Хлебают сосредоточенно, высоко расставив локти, не то как бы паря орлом над добычей, не то защищая ее острием локтей от постороннего посягательства. Что поделаешь! Разум говорит, что ты здесь в полной безопасности, что борщ твой — неотъемлемая твоя собственность и права твои на него охраняются железной немецкой силой. Знаешь ты все это твердо и ясно, а вот подсознательное твое ничего этого не знает и расставляет твои локти и выпучивает глаза страхом: «А вдруг через плечо протянется неведомая гнусная ложка и зачерпнет для нужд пролетариата...»

Сидим с багажом в буфете, ждем вестей о квартире.

За соседним столом насыщается пухлый бородач с обручальным кольцом.

Перед ним на тарелке бифштекс. Над ним испуганная физиономия лакея.

Бородач распекает:

— Я ж тебе, мерзавец, русским языком сказал: бифштекс с жареным картофелем. Где же картофель? Где, я спрашиваю русским языком, жареный картофель?

— Виноват-с, они сейчас поджарятся-с. Они у нас вареный. Обождите-с. Они сей минут-с!

Бородач задохнулся от негодования.

— «Обождите-с»! Я буду ждать, а бифштекс будет стынуть? Молчать! Нахалы!

У стены стоял молодой носильщик и, саркастически сжав губы, поглядывал на барина и на лакея. Очень выразитель-

но поглядывал. Что ж, сценка стоила, чтобы на нее поглядел «молодой пролетариат». Как большевистская пропаганда, она, конечно, достигала лучших результатов, чем самый яркий советский агитационный плакат с гидрой капитализма и контрреволюции...

В буфете было душно, а ждать, по-видимому, придется еще долго.

Я вышла из вокзала.

Веселый солнечный день догорал. Оживленные улицы, народ, снующий из магазина в магазин... И вдруг чудная, невиданная картина, точно сон о забытой жизни, — такая невероятная, радостная и даже страшная: в дверях кондитерской стоял офицер с погонами на плечах и ел пирожное! Офи-цер с по-го-на-ми на плечах! Пи-рож-ное! Есть еще на свете русские офицеры, которые в яркий солнечный день могут стоять на улице с погонами на плечах. Не где-нибудь в подвале, затравленный, как зверь, закутанный в бумазейное тряпье, больной, голодный, самоё существование которого — трепет и смертная угроза для близких...

И вот — день, солнце, и народ кругом, и в руке невиданная, неслыханная, легендарная штука — пирожное!

Закрыла глаза, открыла. Нет, не сон. Значит — жизнь. Но как все это странно...

Может быть, мы так отвыкли, что и войти в эту жизнь не сумеем... Первое впечатление от киевского житья-бытья было таково: весь мир (киевский) завален, перегружен снедью. Из всех окон и дверей — пар и чад. Магазины набиты окороками, колбасами, индюками, фаршированными поросятами. И по улицам на фоне этих фаршированных поросят tout Moscou et tout Petersbourg[1].

8

Первое впечатление — праздник.

Второе — станция, вокзал перед третьим звонком.

Слишком беспокойная, слишком жадная суета для радостного праздника. В суете этой тревога и страх. Никто не

---

[1] Вся Москва и весь Петербург *(фр.)*.

обдумывает своего положения, не видит дальнейших шагов. Спешно хватает и чувствует, что придется бросить...

Улица кишит новоприезжими. Группы в самых неожиданных сочетаниях: актриса из Ростова с московским земцем, общественная деятельница с балалаечником, видный придворный чин с шустрым провинциальным репортерчиком, сын раввина с губернатором, актерик из кабаре с двумя старыми фрейлинами... И все какие-то недоуменные, оглядываются и держатся друг за друга. Кто бы ни был сосед — все-таки человеческая рука, человеческое плечо здесь, рядом.

Так, вероятно, дружно обнюхиваясь, страдали от качки впервые встретившиеся семь пар чистых с семью парами нечистых в Ноевом ковчеге.

На Крещатике прогуливаются многие без вести пропавшие. Вот общественный деятель, который месяц тому назад говорил мне, раздувая ноздри, что мы не должны уезжать, что мы должны работать и умереть на своем посту.

— А! А как же ваш пост? — неделикатно окликаю я его.

Он краснеет и решает шутить:

— Слишком испостился я на своем посту, дорогая! Вот подправлюсь немножко, а там посмотрим.

А глаза бегают, и не видно, в какую сторону они посмотрят...

Суетня на Крещатике. И деловая, и веселая. Посреди тротуара стоит всеведующий и вездесущий журналист Р. и, как хозяин раута, принимающий и провожающий гостей, жмет руки направо и налево, кивает головой, особенно уважаемых личностей провожает несколько шагов, другим только фамильярно помашет рукой.

— А! Наконец-то! — приветствует он меня. — Мы вас ждали еще на прошлой неделе.

— Кто «мы»?

— Киев!

Толпа несет меня далее, и Киев кричит вслед:

— Вечером, конечно, у...

Не могу разобрать где.

— Там все ужинаем, — говорит голос рядом.

Это петербургский адвокат, тоже незаметно из Петербурга исчезнувший.

— Давно вы здесь? Отчего не зашли попрощаться, когда уезжали? Мы о вас беспокоились.

Смущенно разводит руками.

— Как-то, знаете, все это так смешно устроилось...

Не успеваю кланяться, отвечать на радостные приветствия.

Вот один из сотрудников бывшего «Русского слова».

— Что здесь делается! — говорит он. — Город сошел с ума! Разверните газеты — лучшие столичные имена! В театрах лучшие артистические силы. Здесь «Летучая мышь», здесь Собинов. Открывается кабаре с Курихиным, театр миниатюр под руководством Озаровского. От вас ждут новых пьес. «Киевская мысль» хочет пригласить вас в сотрудники. Влас Дорошевич, говорят, уже здесь. На днях ждут Лоло. Затевается новая газета — газета гетмана под редакторством Горелова... Василевский (Не-Буква) тоже задумал газету. Мы вас отсюда не выпустим. Здесь жизнь бьет ключом.

Вспомнился Гуськин: «Жизнь бьет ключом по голове...»

— Киевляне не могут опомниться, — продолжает мой собеседник. — Сотрудники местных газет при виде чудовищных для их быта гонораров, отпускаемых приезжим гастролерам, хотят сделать забастовку. Гастролеры-то уедут, а мы, мол, опять потащим на себе воз. Рестораны ошалели от наплыва публики. Открываются всё новые «уголки» и «кружки». На днях приезжает Евреинов. Можно будет открыть Театр новых форм. Необходима также «Бродячая собака». Это уже вполне назревшая и осмысленная необходимость.

— Я вот здесь только проездом, — говорю я. — Меня везут в Одессу для литературных вечеров.

— В Одессу? Сейчас? Никакого смысла. Там полная неразбериха. Нужно выждать, пока все наладится. Нет, мы вас сейчас не выпустим.

— Кто «мы»?

— Киев.

Чу-де-са!

Выплывает круглое знакомое лицо москвички.

— Мы уже давно здесь. Мы ведь киевляне, — заявляет она с гордостью. — У отца моего мужа был дом вот здесь, на

самом Крещатике. Мы самые коренные... Здесь очень недурной крепдешин. Моя портниха...

— Придете сегодня к Машеньке? — покрывает москвичку актерский бас. — Она здесь на несколько гастролей. Дивное кофе... Варят прямо со сливками и с коньяком...

Пьют, едят, едят, пьют, кивают головами. Скорей! Скорей! Успеть бы еще выпить, еще съесть и прихватить с собой! Близок третий звонок...

Оленушка устроила мне приют у своих подруг. Одна из подруг служила, две младшие еще учились в гимназии.

Все три были влюблены в тенора местной оперы, восторженно клекотали индюшиными голосами и были очень милы.

Жили они во флигеле, во дворе, а двор был весь завален дровами, так что нужно было знать, где проложен фарватер, чтобы, искусно лавируя, добраться до входной двери. Новички в дровах застревали и, выбившись из сил, начинали кричать. Это служило вместо звонка, и девочки спокойно говорили друг другу:

— Лиля, кто-то пришел, слышишь? В дровах кричит.

Дня через три после моего водворения во флигеле попал в западню кто-то крупный и закричал козлиным воплем.

Лиля пошла на выручку и привела Гуськина. Он так за эти три дня растолстел, что я не сразу его и узнала.

— А я все считал, что вы на вокзале, и искал для вас помещение.

— Вы думаете, что я четыре дня сижу в буфете?

Ему, очевидно, лень было очень густо врать.

— Так... Приблизительно предполагал. Здесь надо хлопотать через специальную комиссию, иначе помещения не достанете. Ну конечно, если вы сами попросите и предъявите свидетельство о болезни...

— Да ведь я же здорова.

— Ну что — здорова! Когда-нибудь, наверное, корь была. Вам и напишут: «Страдала корью, необходимо крытое помещение». Что-нибудь научное напишут. Ну а что вы скажете за Киев? Были на Крещатике? И чего здесь так много блондинок — пусть мне это объяснят.

— Вам, очевидно, не нравятся блондинки? — хихикнула одна из девочек.

— Почему нет, брунетки тоже хороши, не хочу обижать, но в блондинках есть чего-то небесного, а в брунетках больше земского. Что-о? Нужно будет устроить ваш вечер.

— Мы уже условились насчет Одессы.

— Этт! Одесса!

Он загадочно усмехнулся и ушел — пухлый, сонный, масленый.

— По-моему, вы не должны с ним ехать, — решил Аверченко. — Заплатите ему неустойку и развяжитесь с ним поскорее. Он, по-моему, для организации литературных вечеров совсем непригоден. Он вам или дрессированную собаку выпустит вместе с вами, или сам запоет.

— Вот и я этого боюсь. Но как же быть?

— А вот что: посоветуйтесь с моим импресарио. Это честнейший малый и, кажется, опытный.

Аверченко, человек очень доверчивый и сам исключительно порядочный, всех считал честнейшими малыми и всю жизнь был окружен жуликами. Но... почему все-таки не посоветоваться?

— Ладно. Пришлите мне вашего красавца.

Красавец явился на другой день и развил удивительный план.

— Прежде всего, не соглашайтесь устраивать свой вечер в Киеве, потому что это может повредить моему предприятию с Аверченкой. Один литературный вечер — это интересно, но когда литература начнет сыпаться как горох, так публика разобьется и сборы падут.

— Отлично, — поняла я. — Это вы хлопочете о себе. А я вас пригласила, чтобы посоветовать в моих делах.

— А в ваших делах, так я вам посоветую очень хитро. Тут надо поступать непременно очень хитро. Вы себе поезжайте в Одессу, пусть Гуськин устраивает там ваш вечер. Пусть возьмет залу — я вам скажу какую — есть такая в Одессе зала, где никто ничего не слышит. Ну так вот, в этой зале читайте себе один вечер ужасно слабым голосом. Публика, разумеется, недовольна, разумеется, сердится. А вы дайте заметку в газеты — у вас ведь, наверное, есть знакомство в прессе — дайте заметку, что вечер такая дрянь, что ходить не стоит. А потом второй вечер в той же зале. И снова читайте себе еле слышно — пусть публика скандалит. А тут я

подъеду с Аверченкой, возьму себе небольшой зал, в газетах пропечатаю огромный успех. Тогда вы позовете Гуськина и скажете: «Видите себе, как вы плохо организуете дело. Везде скандал. Давайте уничтожим договор». Ну, так поверьте, что при таких условиях он на вас сердиться не станет.

Я долго молча на него смотрела.

— Скажите, вы все это сами выдумали?

Он скромно, но гордо опустил глаза.

— Значит, вы советуете мне провалить мои выступления и самой о себе дать в газеты ругательные рецензии? Это, конечно, очень оригинально. Но почему же за всю эту оригинальность должен расплачиваться несчастный Гуськин? Ведь он же ваш товарищ по ремеслу, за что же вы хотите его разорить? Разве вы не понимаете, какую гадость вы ему подстраиваете?

Он обиделся.

— Ну, я уже начинаю подозревать, что мой проект вам не нравится. Тогда устраняйте Гуськина как-нибудь иначе и заключайте договор со мной. Я уже сумею вам устроить шик.

— Ну еще бы! Вы самый остроумный человек, какого я когда-либо встречала.

Он улыбнулся, польщенный.

— Ну уж и «самый»!

9

Засиживаться у Оленушкиных подруг было неудобно. Пришлось хлопотать о комнате. Долго, нудно, бестолково. Ожидать часами очереди, записываться, приходить каждый день справляться, распутывать путаницы.

Наконец комната была получена: в огромном отеле с пробитой крышей, с выбитыми окнами. Первый этаж занимала «Летучая мышь», второй — пустой — ремонтировался, в пустом третьем одна комната — моя.

Комната угловая: два окна в одну сторону ловили северный ветер, два в другую — западный. Рамы были двойные, и стекла в них так хитро выбиты, что сразу и не догадаешься: во внутренней раме нижнее левое и верхнее правое... В наружной — нижнее правое и верхнее левое. Посмотришь, как будто все в порядке и цело, и не понимаешь,

отчего летают письма по комнате и пеньюар на вешалке шевелит рукавами.

Обстановка — кровать, стол, умывальник и два соломенных кресла. Кресла эти, безумно утомленные жизнью, любили по ночам расправлять свои ручки, ножки и спинки со скрипом и стонами.

Водворилась я в новую свою обитель в холодный сухой осенний день, осмотрелась и спросила, сама не знаю почему:

— А какой здесь доктор специалист по испанке? У меня будет испанка с осложнением в легких.

С Гуськиным дело наладилось, вернее, разладилось отлично: получив аванс из «Киевской мысли», я заплатила ему неустойку, и он, вполне успокоенный, уехал в Одессу.

— Вы ведь не будете работать с Аверченкиным импресарио? — ревниво спросил он.

— Даю вам слово, что не буду ни с ним, ни с кем бы то ни было. Всякие выступления ненавижу. Читала только на благотворительных вечерах и всегда с большим отвращением. Можете быть спокойны. Тем более что Аверченкин импресарио очень мне несимпатичен.

— Ну вы же меня мертвецки удивляете! Такой человек! Вы спросите в Конотопе! В Конотопе его прямо-таки обожают. Дантист Пескин бил его костью от ветчины. Через жену. Конечно, в характере у него нет большой живости, и, пожалуй, даже и некрасив... такие смуглые черты лица... Может быть, даже Пескин бил его не через жену, а по коммерческому делу. А может, и совсем не бил, а он только врет — пусть ему собака верит.

Расстались мы с Гуськиным мирно. И он, уже распрощавшись, снова просунул голову в дверь и спросил озабоченно:

— А вы кушаете сырники?

— Что? Когда? — удивилась я.

— Когда-нибудь, — отвечал Гуськин.

На этом мы и расстались.

Вслед за Гуськиным уехала из Киева Оленушка. Она получила ангажемент в Ростове.

Перед отъездом выразила желание поговорить со мною по душе и попросить моего совета в своих сложных делах.

Я повела ее в кондитерскую, и там, капая слезами в шоколад и битые сливки, она рассказала мне следующее: в Ростове живет Вова, который ужасно ее любит. Но здесь, в Киеве, живет Дима, который также ее ужасно любит. Вове восемнадцать лет, Диме девятнадцать. Оба офицеры. Любит она Вову, но выходить замуж надо за Диму.

— Почему же?

Оленушка всхлипывает и давится пирожным.

— Так надо! На-а-а-до!

— Подождите, Оленушка, не ревите так ужасно. Расскажите всю правду, если хотите знать мое мнение.

— Мне очень тяжело, — ревет Оленушка. — Это так ужасно! Так ужасно!

— Ну перестаньте же, Оленушка, вы заболеете.

— Не могу, слезы сами текут...

— Так, во всяком случае, перестаньте есть пирожные — ведь вы уже за восьмое принимаетесь, вы заболеете!

Оленушка безнадежно махнула рукой:

— Пусть! Я рада умереть — это все развяжет. Но все-таки меня уже немножко тошнит...

Повесть Оленушки, глубоко психологическая, была такова: любит она Вову, но Вова веселый, и ему во всем везет. А Дима очень бедный и какой-то неудалый, и все у него плохо, и вот даже она его не любит. Поэтому надо выходить за него замуж. Потому что нельзя, чтобы человеку так уж плохо было.

— Нельзя до-би-ва-а-ть!

Тут рев принял такие угрожающие размеры, что даже старуха хозяйка вышла из-за прилавка, сочувственно покачала головой и погладила Оленушку по голове.

— Она добрая женщина! — всхлипнула Оленушка. — Дайте ей на чай!

Через три дня проводили все-таки Оленушку в Ростов.

Поезда были переполнены, с трудом достали ей место и снабдили письмом к кассиру на харьковской станции, которому телеграфировали устроить ей спальное место до Ростова.

Через неделю получили от Оленушки письмо, в котором рассказывалась жуткая история, как офицер выторговал себе смерть.

В Харькове оказалось свободным только одно место в спальном вагоне, которое кассир и отдал Оленушке. Стоявший за нею офицер начал требовать, чтобы место это предоставили ему. Кассир убеждал, показывая телеграмму, объяснял, что место заказано. Офицер ни на какие доводы не соглашался. Он офицер, он сражался за отечество, он устал и хочет спать. Оленушка, хотя и с большой обидой, но уступила ему свое место, а сама села во второй класс.

Ночью она была разбужена сильным толчком — чуть не свалилась со скамейки. Картонки и чемоданы полетели на пол. Испуганные пассажиры выбежали на площадку. Поезд стоял. Оленушка спрыгнула на полотно и побежала вперед, где толпились и кричали люди.

Оказалось, что паровоз врезался на полном ходу в товарный поезд. Два передних вагона разбиты в щепы. Несчастного офицера, так горячо отстаивавшего свое право на смерть, собирали по кусочкам...

«Значит, не всегда делаешь людям добро, когда им уступаешь», — писала Оленушка.

Очевидно, очень мучилась, что «из-за нее» убили офицера.

А через месяц телеграмма: «Помолитесь за Владимира и Елену».

Это значило, что Оленушка вышла замуж.

Я начала работать в «Киевской мысли».

Время было бурное и сумбурное. Бродили неясные слухи о Петлюре.

— Это еще кто такой?

Одни говорили — бухгалтер.

Другие — беглый каторжник.

Но бухгалтер или каторжник, во всяком случае, он бывший сотрудник «Киевской мысли», сотрудник очень скромный, кажется, просто корректор...

Все мы, новоприезжие «работники пера», чаще всего встречались в доме журналиста М. С. Мильруда, чудесного человека, где сердечно принимала нас его красивая и милая жена и трехлетний Алешка, который, как истинное газетное дитя, играл только в политические события: в большевиков, в банды, в белых и под конец в Петлюру. Грохотали стулья,

звенели чашки и ложки. Петлюра с диким визгом подполз ко мне на четвереньках и острыми зубами укусил мне ногу.

Жена Мильруда общественной деятельностью не занималась, но, когда пригнали в Киев голодных солдат из немецкого плена и общественные организации много и мирно вопили о нашем долге и о том, как опасно создавать кадры обиженных и недовольных, чутких к большевистской пропаганде, она без всяких воплей и политических предпосылок стала варить щи и кашу и вместе со своей прислугой относила обед в бараки и кормила каждый день до двадцати человек.

Народу в Киев все прибывало.

Встретила старых знакомых — очень видного петербургского чиновника, почти министра, с семьей. Большевики замучили и убили его брата, сам он еле успел спастись. Дрожал от ненависти и рычал с библейским пафосом:

— Пока не зарежу на могиле брата собственноручно столько большевиков, чтобы кровь просочилась до самого его гроба, — я не успокоюсь.

В настоящее время он мирно служит в Петербурге. Очевидно, нашел возможность успокоиться и без просочившейся крови...

Выплыл Василевский (Не-Буква) с проектом новой газеты. Собирались, заседали, совещались.

Потом Не-Буква исчез.

Вообще перед приходом Петлюры многие исчезли. В воздухе почувствовалась тревога, какие-то еле заметные колебания улавливались наиболее чуткими мембранами наиболее настороженных душ, и души эти быстро переправляли свои тела куда-нибудь, где поспокойнее.

Неожиданно явился ко мне высокий молодой человек в странном темно-синем мундире — гетманский приближенный. Он с большим красноречием стал убеждать меня принять участие в организующейся гетманской газете. Говорил, что гетман — это колосс, которого я должна поддержать своими фельетонами.

Я подумала, что если колосс рассчитывает на такую хрупкую опору, то, пожалуй, его положение не очень надежно. Кроме того, состав сотрудников намечался чересчур пестрый. Мелькали такие имена, с которыми красоваться

рядом было бы очень неприятно. Очевидно, колосс в газетных делах разбирался плохо или просто ничем не брезговал. Я обещала подумать.

Молодой человек, оставив чек на небывало крупный аванс — в случае моего согласия, — удалился.

После его ухода я, как Соня Мармеладова, «завернувшись в драдедамовый платок», пролежала весь день на диване, обдумывая предложение. Чек лежал на камине, в его сторону я старалась не смотреть.

Рано утром запечатала чек в конверт и отослала его «колоссальному» представителю.

Кое-кто упрекал меня потом за то, что я излишне донкихотствую и даже врежу товарищам по перу, так как своим поступком бросаю тень на газету и тем самым мешаю войти в нее людям более рассудительным, чем я.

Рассудительные люди, во всяком случае, блаженствовали недолго. К Киеву подходил Петлюра.

10

Приехал Лоло.

Он, как киевский уроженец, оказался «Левонидом», а жена его, артистка Ильнарская, «жинкой Вирой».

Приехали исхудавшие, измученные. Еле выбрались из Москвы. Много помог им наш ангел-хранитель — громадина комиссар.

— После вашего отъезда, — рассказывала «жинка Вира», — приходил, как пес, выть на пожарище.

Вскоре дошли слухи, что комиссар расстрелян.

Видела несколько раз Дорошевича.

Жил Дорошевич в какой-то огромной квартире, хворал, очень осунулся, постарел и, видимо, нестерпимо тосковал по своей жене, оставшейся в Петербурге, — хорошенькой легкомысленной актрисе.

Дорошевич ходил большими шагами вдоль и поперек своего огромного кабинета и говорил деланно равнодушным голосом:

— Да, да, Леля должна приехать дней через десять...

Всегда эти «десять дней». Они тянулись до самой его смерти. Он, кажется, так и не узнал, что его Леля давно вы-

шла замуж за обшитого телячьей кожей «роскошного мужчину» — большевистского комиссара.

Он, вероятно, сам поехал бы за ней в Петербург, если бы не боялся большевиков до ужаса, до судорог.

Он умер в больнице, одинокий, во власти большевиков.

А в эти киевские дни он, худой, длинный, ослабевший от болезни, все шагал по своему кабинету, шагал, словно из последних сил шел навстречу горькой своей смерти.

Работая в «Русском слове», я мало встречалась с Дорошевичем. Я жила в Петербурге, редакция была в Москве. Но два раза в моей жизни он «оглянулся на меня».

В первый раз — в самом начале моей газетной работы. Редакция очень хотела засадить меня на злободневный фельетон. Тогда была мода на такие «злободневные фельетоны», бичующие «отцов города» за антисанитарное состояние извозчичьих дворов и проливающие слезу над «тяжелым положением современной прачки». Злободневный фельетон мог касаться и политики, но только в самых легких и безобидных тонах, чтобы редактору не влетело от цензора.

И вот тогда Дорошевич заступился за меня:

— Оставьте ее в покое. Пусть пишет о чем хочет и как хочет.

И прибавил милые слова:

— Нельзя на арабском коне воду возить.

Второй раз оглянулся он на меня в очень тяжелый и сложный момент моей жизни.

В такие тяжелые и сложные моменты человек всегда остается один. Самые близкие друзья считают, что «неделикатно лезть, когда, конечно, не до них».

В результате от этих деликатностей получается впечатление полнейшего равнодушия.

«Почему все отвернулись от меня? Разве меня считают виноватым?»

Потом оказывается, что все были сердцем с вами, все болели душой и все не смели подойти.

Но вот Дорошевич решил иначе. Приехал из Москвы. Совершенно неожиданно.

— Жена мне написала, что вы, по-видимому, очень удручены. Я решил непременно повидать вас. Сегодня ве-

чером уеду, так что давайте говорить. Скверно, что вы так изводитесь.

Он говорил долго, сердечно, ласково, предлагал даже драться на дуэли, если я найду это для себя полезным.

— Только этого не хватало для пущего трезвона!

Взял с меня слово, что, если нужна будет помощь, совет, дружба, чтобы я немедленно телеграфировала ему в Москву, и он сейчас же приедет.

Я знала, что не позову, и даже не вполне верила, что он приедет, но ласковые слова очень утешили и поддержали меня — пробили щелочку в черной стене.

Этот неожиданный рыцарский жест так не вязался с его репутацией самовлюбленного, самоудовлетворенного и далеко не сентиментального человека, что очень удивил и растрогал меня. И так больно было видеть, как он еще хорохорился перед судьбой, шагал, говорил:

— Через несколько дней должна приехать Леля. Во всяком случае, падение большевиков — это вопрос нескольких недель, если не нескольких дней. Может быть, ей даже не стоит выезжать. Сейчас ехать небезопасно. Какие-то банды...

«Банды» был Петлюра.

Предчувствие мое относительно испанки оправдалось блестяще.

Заболела ночью. Сразу ураганом налетел сорокаградусный жар. В полубреду помнила одно: в одиннадцать часов утра актриса «Летучей мыши» Алексеева-Месхиева придет за моими песенками, которые собирается спеть в концерте. И всю ночь без конца стучала она в дверь, и я вставала и впускала ее и тут же сразу понимала, что все это бред, никто не стучит и я лежу в постели. И вот опять и снова стучит она в дверь. Я с трудом открываю глаза. Светло. Звонкий голос кричит:

— Вы еще спите? Так я зайду завтра.

И быстрые шаги, удаляющиеся. Завтра! А если я не смогу встать, так до завтра никто и не узнает, что я заболела? Прислуги в гостинице не было, и никто не собирался зайти.

В ужасе вскочила я с постели и забарабанила в дверь.

— Я больна, — кричала я. — Вернитесь!

Она услышала мой зов. Через полчаса прибежали испуганные друзья, притащили самое необходимое для больного человека — букет хризантем.

— Ну, теперь дело пойдет на лад.

Известие о моей болезни попало в газеты.

И так как людям, собственно говоря, делать было нечего, большинство пережидало «последние дни конвульсий большевизма», не принимаясь за какое-либо определенное занятие, то моя беда нашла самый горячий отклик.

С утра до ночи комната моя оказалась набитой народом. Было, вероятно, превесело. Приносили цветы, конфеты, которые сами же и съедали, болтали, курили, любящие пары назначали друг другу рандеву на одном из подоконников, делились театральными и политическими сплетнями. Часто появлялись незнакомые мне личности, но улыбались и угощались совсем так же, как и знакомые. Я чувствовала себя временами даже лишней в этой веселой компании. К счастью, на меня вскоре совсем перестали обращать внимание.

— Может быть, можно как-нибудь их всех выгнать? — робко жаловалась я ухаживавшей за мной В. Н. Ильнарской.

— Что вы, голубчик, они обидятся. Неловко. Уж вы потерпите. Вот поправитесь, тогда и отдохнете.

Помню, как-то вечером, когда гости побежали обедать, осталась около меня только В. Н. и какой-то неизвестный субъект.

Субъект монотонно бубнил:

— Имею имение за Варшавою, конечно, небольшое...

— Имею доход от имения, конечно, небольшой...

Снится это мне или не снится?

— Имею луга в имении, конечно, небольшие...

— Имею тетку в Варшаве...

— Конечно, небольшую, — неожиданно для себя перебиваю я. — Что если для разнообразия послать за доктором? Молодой человек, по-видимому, такой любезный, приведите ко мне доктора, конечно небольшого...

Он это прибавил или я сама? Ничего не понимаю. Надеюсь, что он.

Пришел доктор. Долго удивлялся на мой обиход.

— У вас здесь что же — бал был?

— Нет, просто так, навещают сочувствующие.

— Всех вон! Гнать всех вон! И цветы вон! У вас воспаление легких.

Я торжествовала.

— Чему же вы радуетесь? — даже испугался доктор.

— Я предсказала, я предсказала!

Он кажется, подумал, что у меня бред, и радости моей разделить не согласился.

Когда я поправилась и вышла в первый раз — Киев был весь ледяной. Голый лед и ветер. По улицам с трудом передвигались редкие пешеходы. Падали, как кегли, сшибая с ног соседей.

Помню, заглядывала я иногда в какую-то редакцию. Стояла редакция посреди ледяной горы. Снизу идти — все равно не дойдешь: десять шагов сделаешь — и сползаешь вниз. Сверху идти — раскатишься и прокатишь мимо. Такой удивительной гололедицы я никогда не видала.

Настроение в городе сильно изменилось. Погасло. Было не праздничное. Беспокойно бегали глаза, прислушивались уши... Многие уехали, незаметно когда, неизвестно куда. Стали поговаривать об Одессе.

Там сейчас как будто дела налаживаются. А сюда надвигаются банды. Петлюра, что ли.

«Киевская мысль» Петлюры не боялась. Петлюра был когда-то ее сотрудником... Конечно, он вспомнит об этом...

Он действительно вспомнил. Первым его распоряжением было закрыть «Киевскую мысль». Задолго до того, как вошел в город, прислал специальную команду.

Газета была очень озадачена и даже, пожалуй, сконфужена.

Но закрыться пришлось.

11

Настала настоящая зима, с морозом, со снегом.

Доктор сказал, что после воспаления легких жить в нетопленой комнате с разбитыми окнами, может быть, и очень смешно, но для здоровья неполезно.

Тогда друзья мои разыскали мне приют у почтенной дамы, содержавшей пансион для гимназисток. Живо собрали мои вещи и перевезли и их, и меня. Работали самоотверженно. Помню, как В. Н. Ильнарская, взявшая на себя мелочи моего быта, свалила в картонку кружевное платье, шелковое белье и откупоренную бутылку чернил. Верочка Чарова (из московского театра Корша) перевезла двенадцать засохших букетов, дорогих по воспоминаниям. Тамарочка Оксинская (из Сабуровского театра) собрала все визитные карточки, валявшиеся на подоконниках. Алексеева-Месхиева тщательное уложила остатки конфет и пустые флаконы. Так деловито и живо устроили мой переезд. Забыли только сундук и все платья в шкафу. Но мелочи все были налицо — а ведь это самое главное, потому что чаще всего забывается.

Новая моя комната была удивительная. Сдавшая мне ее милая дама, очевидно, обставила ее всеми предметами, скрашивавшими ее жизненный путь. Здесь были какие-то рога, прутья, шерстяные шишки, восемь или десять маленьких столиков с толстой тяжелой мраморной доской, подпертой растопыренными хрупкими палочками. На столики эти ничего нельзя было ставить. Можно было только издали удивляться чуду человеческого разума: суметь укрепить такую тяжесть такой ерундой. Иногда эти столики валились сами собой. Сидишь тихо и вдруг слышишь на другом конце комнаты — вздохнет, закачается и — на пол.

Кроме ерунды был в комнате рояль, который за рогами и шишками мы не сразу и различили. Стоял он так неудобно, что играющий должен был пролезть между рогами и этажеркой и сидеть, окруженный тремя столиками.

Решили немедленно устроить комфорт и уют: лишнюю дверь завесить шалью, рояль передвинуть к другой стене, портреты теток перевесить за шкаф...

Сказано — сделано. Загрохотали столики, задребезжало что-то стеклянное, одна из теток сама собой сорвалась со стены.

— Господи! Что же это! Услышит хозяйка — выгонит меня.

Явившаяся поздравлять с новосельем от группы «курсисток» белокурая кудрявая Лиля предложила свои услуги,

моментально разбила вазочку с шерстяными шишками и в ужасе упала на диван, прямо на второй теткин портрет, заботливо снятый, чтобы не разбить.

Треск, рев, визг.

— Пойте что-нибудь, чтобы не было слышно этого грохота.

Приступили к самому важному — двинули рояль.

— Подождите! — крикнула я. — На рояле бронзовая собачка на малахитовой подставке — очевидно, хозяйка ею дорожит. Надо ее сначала снять. Не суйтесь — я сама, вы только все колотите.

Я осторожно подняла прямо за собачку — какая тяжелая! Вдруг — что это? Отчего такой грохот? Отчего вдруг стало легко? В руках у меня одна собачка. Малахитовая подставка, разбитая вдребезги, у моих ног. Ну кто же мог знать, что она не приклеена!

— Ну теперь, наверное, прибежит хозяйка, — в ужасе шепчет Лиля.

— Вы сами виноваты. Отчего вы не пели? Я же вас просила. Ведь видели, что я принялась за собачку, ну и затянули бы что-нибудь хорошее. Двигайте рояль, а то мы до ночи не кончим.

Двинули, покатили, завернули хвост, поставили.

— Чудесно. Вот здесь будет удобно. Алексеева-Месхиева, я вам здесь новую песенку сочиню.

Живо пододвинула стул, взяла аккорды — что за ужас! Рояль перестал играть. Пододвинули еще немножко, поколотили по крышке, молчит, и кончено.

Стук в дверь.

— Молчите!

— Пойте!

Все равно надо отворить...

Входит не «она». Входит знакомый инженер, поздравляет с новосельем.

— Отчего у вас у всех такие трагические лица?

Рассказываем всё. И главный ужас — рояль.

— Рояль? Ну, я вам это живо налажу. Прежде всего надо вытащить клавиши.

— Милый, вас сам Бог послал.

Подсел, что-то покрутил и выдвинул.

— Вот, а теперь назад.

Клавиши назад не влезали.

Инженер притих, вынул платок и вытер лоб.

Страшная догадка озарила меня.

— Стойте! Смотрите мне прямо в глаза и отвечайте всю правду. Вы раньше когда-нибудь клавиши вытаскивали?

— Да!

— А назад они влезали?

Молчание.

— Отвечайте правду! Влезали?

— Н-нет. Ни-ко-гда.

Унылые будничные дни.

Бурлившая жизнь, беспокойная и шумная, — осела.

Возвращаться домой нельзя. С севера Киев отрезан. Кто успел — уже уехал. Но все куда-то собираются. Все чувствуют, что оставаться надолго не придется.

Как-то при выходе из театра в вестибюле разговаривали мы с ясновидящим Арманом Дюкло. К нему подошел дежуривший у двери солдат и спросил:

— Скажите мне, господин Дюкло, скоро ли Петлюра придет?

Арман сдвинул брови, закрыл глаза.

— Петлюра... Петлюра... через три дня.

Через три дня Петлюра вошел в город.

Удивительное явление был этот Арман Дюкло. Перед моим отъездом из Москвы я была несколько раз на его сеансах. Он отвечал очень верно на задаваемые ему вопросы.

Потом, когда мы познакомились, он признавался, что обыкновенно приступал к сеансам с различных подготовленных трюков, но потом начинал нервничать, очевидно, впадал в транс и, сам не зная почему и как, давал тот или иной ответ.

Это был совсем молодой, лет двадцати, не больше, очень бледный и худой мальчик с красивым утомленным лицом. Никогда не рассказывал о своем происхождении, недурно говорил по-французски.

— Я жил много-много лет тому назад. Меня звали Калиостро.

Но врал он лениво и неохотно.

Кажется, был он просто еврейским мальчиком из Одессы. Импресарио его был какой-то очень бойкий студент. Сам Арман, тихий, полусонный, не был деловым человеком и очень равнодушно относился к своим успехам.

В Москве им чрезвычайно заинтересовался Ленин и два раза вызывал его в Кремль для уяснения своей судьбы. Когда мы его расспрашивали об этих сеансах, он отвечал уклончиво:

— Не помню. Помню только, что у самого Ленина до конца успех. У других различно.

Импресарио его рассказывал, что трусил безумно, потому что видел, как на Армана «накатило», и тогда он уже не отдает себе отчета, с кем имеет дело.

— Слава богу, пронесло благополучно.

Но пронесло ненадолго. Через несколько месяцев Арман был расстрелян.

Наступил последний акт киевской драмы.

Петлюра входил в город. Начались аресты и обыски.

Ночью никто не ложился. Сидели вместе, обыкновенно в квартире Мильруда. Чтобы не заснуть, играли в карты, чутко прислушивались, не идут ли? Если стук или звонок — прятали карты и деньги под стол. К нашей квартире в эти дни примкнул и Арман Дюкло.

— Нет, я не могу играть в карты. Ведь я же знаю каждую карту вперед, — объявил он.

И проигрывал три ночи подряд.

— Странно. Я был еще маленьким ребенком, и тогда уже никто не решался со мной играть...

— Да кто же с маленькими детьми в карты играет? — отвечали ему.

Тихий, полусонный, он не спорил и не смеялся. Странный был мальчик.

— Я всегда полусплю. И этот сон так истощает меня. Он выпивает все мои силы и всю мою кровь.

Бледное-бледное было его красивое лицо. Он говорил правду.

На улицах появились петлюровские патрули. Необыкновенно вежливые джентльмены в солдатских шинелях щел-

кали каблуками и предупреждали, по какой улице ходить не следует, чтобы не попасть в облаву.

— Кто же вы такие? — спрашивали мы.

— А мы те самые, що казали «банда», — с гордым смирением отвечали джентльмены.

Опустели, закрылись магазины. Разбежались, попрятались люди. Город все больше и больше наполнялся солдатскими шинелями.

У Мильруда был обыск. Рассказывали, что маленький Алешка выбежал из детской со свирепым воплем:

— Я Петлюра! Вот я вам всем задам!

Патруль почтительно удалился.

Состоялся торжественный парад. Драматург Винниченко раскланивался перед толпой. За свои драмы он таких оваций не получал...

Молодцы в новеньких жупанах немецкого сукна скакали на сытых сильных конях.

«Москали» посмеивались: «Хай живе Украина, аж с Киева до Берлина».

Погуляли, посмотрели. Начали укладывать чемоданишки. Пора.

За городом забухали пушки.

— Где?

— Как будто за Лысой Горой. Как будто большевики подходят.

— Ну теперь пойдет надолго. У вас есть пропуск?

— В Одессу! В Одессу!

12

Пошла попрощаться с лаврой.

— Бог знает, когда еще попаду сюда!

Да, Бог знает...

Пусто было в этом сердце богомольной Руси. Не бродили странники с котомочкой, странницы с узелком на посошке. Озабоченные ходили монахи.

Спустилась в пещеры. Вспомнила, как в первый раз была здесь много лет тому назад с матерью, сестрами и старой нянюшкой. Пестрая «всякая» жизнь лежит между мной и той

длинноногой девочкой с белокурыми косичками, какою я была тогда. Но чувство благоговения и страха осталось то же. И так же крещусь и вздыхаю от той же прекрасной неизъяснимой печали, исходящей от вековых сводов, древней русской молитвой овеянных, столькими, ах, столькими очами оплаканных...

Старый монах продавал крестики, четки и образок Богоматери, чудесно вклеенный в плоскую бутылочку через узкое горлышко. И две витые свечечки, и аналой с крошечной иконкой на нем тоже вклеены. На венчике надпись: «Радуйся, невесто неневестная». Чудесный образок. И сейчас, уцелевшая во многих беженских странствиях, стоит плоская бутылочка, чудо старого монаха, на моем парижском камине...

Зашла попрощаться и в собор Св. Владимира. Видела перед иконой св. Ирины маленькую черную старушонку на коленях, ступни в стоптанных башмачонках поджаты носками внутрь умиленно и робко. Плакала старушонка, и строго смотрела на нее увитая жемчугами, окованная золотом, пышная византийская царица.

Выехали из Киева поздно вечером. Пушки бухали где-то совсем близко.

На вокзале давка невообразимая. Какие-то воинские эшелоны забили все пути. Не то они приезжали, не то их куда-то отправляли. Они, кажется, и сами не знали.

Лица у всех растерянные, озлобленные и усталые.

С трудом добираемся до вагона, обозначенного на нашем пропуске. Вагон третьего класса, какой-то трехэтажный. Туда же вваливают и наши вещи.

Долго стоим на станции. Все сроки отхода давно прошли. Мы на втором пути. С двух сторон поезда с солдатами. Слышны крики, выстрелы. В просвете между вагонами видно, как бегут люди и в панике мечутся.

Иногда в вагон к нам приносят новости:

— Сейчас будут нас выгружать снова на станцию. Весь поезд пойдет под солдат.

— Дальше одиннадцатой версты ехать вообще нельзя. Там разъезд мнят большевиками.

— Только что вернулся обстрелянный поезд. Есть убитые и раненые. Убитые! Раненые! Как мы привыкли к этим

словам. Никого они не смущают и ни у кого не вызывают возгласа: «Какой ужас! Какое горе!» Все думают просто в условиях нового нашего быта: «Раненых следует перевязать, убитых надо бы выгрузить».

Раненые и убитые — это слова нашего быта. И сами мы, если не на разъезде, то немного позже, вполне можем стать и ранеными, и убитыми.

У кого-то украли чайник. И вопрос этот обсуждается с таким же интересом (если не с большим), как и вопрос о том, что, мол, проскочим мы через одиннадцатую версту или нас отсюда даже не выпустят, потому что поездная прислуга отказывается вести поезд.

И вдруг сорвавшаяся с третьего этажа скамеек картонка треснула кого-то по голове. Это был радостный знак. Это значило, что паровоз прицепили и он дернул.

Мы поехали.

Останавливались много раз. На темных станциях и в глухом поле, по которому бегали фонарики, где кричали и стреляли.

В дверях вагона появлялись солдаты со штыками:

— Офицеры! Выходи на площадку!

В нашем вагоне офицеров не было.

Помню, бежали какие-то люди мимо окон по полотну. Потом запыхавшиеся солдаты ворвались в вагон и тыкали штыками под скамейки.

И никто не знал, что делается, и никто ничего не спрашивал. Сидели тихо, закрыв глаза, будто подремывая, делая вид, что считают все происходящее самой нормальной обстановкой для железнодорожной поездки.

В Одессу приехали ночью. Приятный сюрприз: нас заперли в вокзале и раньше утра выпустить не соглашались.

Что поделаешь!

Сложили вещи на полу, сами сели сверху и, право, чувствовали себя очень уютно. Никто в нас не стрелял, никто не обыскивал — чего еще человеку нужно?

Под утро замаячила передо мною зыбкая тень с желтым несессером в тонкой руке.

— Арман Дюкло?

— Да.

Он тоже приехал с нашим поездом. Сел около меня и стал рассказывать. Какие-то необычайно важные документы везет он в своем несессере. Ему уже предлагали за них миллион долларов, но он не выпустит их из рук.

— А по-моему, выпускайте.

— Не могу.

— Почему?

— Сам не знаю почему. Но это так истощает меня — всю жизнь держать в руках этот несессер.

Я задремала, а когда проснулась, то Армана уже не было. Он ушел, забыв у моих ног свое сокровище.

Утром открыли вокзал и выпустили нас в город. Когда носильщики укладывали на извозчиков наш багаж, несессер Армана, оказавшийся без замка, раскрылся, и из него вывалился флакон «Рю де ля Пэ» и пилочка для ногтей. Больше в нем абсолютно ничего не было.

Так как Арман долго не появлялся, то мы дали объявление в газету: «Просим ясновидящего Дюкло угадать, где его несессер».

Затем имя и адрес.

Начались одесские дни.

Опять замелькали те же лица, опять замололи ту же ерунду. Те, которых мы считали вернувшимися в Москву, оказались здесь. Которые должны были ехать в Одессу, оказались давно в Москве.

И никто в точности ничего ни о ком не знал.

Правил Одессой молодой сероглазый губернатор Гришин-Алмазов, о котором тоже никто в точности ничего не знал. Как случилось, что он оказался губернатором, кажется, он и сам не понимал. Так — маленький Наполеон, у которого тоже «судьба оказалась значительнее его личности».

Гришин-Алмазов, энергичный, веселый, сильный, очень подчеркивающий эту свою энергичность, щеголявший ею, любил литературу и театр, был, по слухам, сам когда-то актером.

Он сделал мне визит и очень любезно предоставил помещение в «Лондонской» гостинице. Чудесную комнату номер шестнадцать, где во всех углах были свалены кипы «Общего дела»: до меня здесь останавливался Бурцев.

Гришин-Алмазов любил помпу, и когда заезжал меня навестить, в коридоре оставлял целую свиту и у дверей двух конвойных.

Собеседником он был милым и приятным. Любил говорить фразами одного персонажа из «Леона Дрея» Юшкевича.

— Сегодня очень холодно. Подчеркиваю «очень».

— Удобно ли вам в этой комнате? Подчеркиваю «вам».

— Есть у вас книги для чтения? Подчеркиваю «для».

Рекомендовал коменданту гостиницы, бородатому полковнику, гулявшему целые дни с двумя чудесными белыми шпицами, заботиться обо мне.

Словом, был чрезвычайно любезен.

Время для него было трудное.

«Ауспиции тревожны» — такова была модная одесская фраза, и она хорошо определяла положение.

Пока подходили большевики, горожан исподволь грабили бандиты, ютившиеся в заброшенных каменоломнях, образовавших целые катакомбы под городом. Гришину-Алмазову пришлось даже вступить в переговоры с одним из предводителей этих разбойников, знаменитым Мишкой Япончиком. Не знаю, договорились ли они до чего-нибудь, но сам Гришин мог ездить по городу только во весь дух на своем автомобиле, так как ему обещана была «пуля на повороте улицы».

Горожане все-таки вылезали по вечерам из своих нетопленых квартир. Уходили в клубы, в театры, попугать друг друга страшными слухами. Для возвращения по домам собирались группами и приглашали охрану — человек пять студентов, вооруженных чем Бог послал. Кольца засовывали за щеку, часы в башмак. Помогало мало.

— Он, подлец, слушает, где тикает, — туда и лезет. Я говорю — это сердце от страха... Да разве они честному человеку поверят!

Бандиты останавливали извозчиков, выпрягали лошадей и уводили их к себе в катакомбы.

Но — удивишь ли нас этими страхами? Театры, клубы, рестораны всю ночь были полны. Называли легендарные цифры проигрышей.

Утром, одурманенные вином, азартом и сигарным дымом, выходили из клубов банкиры и сахарозаводчики, моргали на солнце воспаленными веками. И долго смотрели им вслед тяжелыми голодными глазами темные типы из Молдаванки, подбирающие у подъездов огрызки, объедки, роющиеся в ореховой скорлупе и колбасных шкурках.

13

Быстро мчатся кони Феба,
Под уклон...

Шли, шли одесские дни и вдруг побежали быстро-быстро, обгоняя друг друга.

Открывались и закрывались клубы, театрики, кабаре.

Явились ко мне неизвестные мне господа средних лет и предложили «дать свое имя» какому-то «начинанию». Глубоко художественному. С горячим ужином и карточной игрой.

— Причем же я здесь?

— А вы будете считаться хозяйкой и получать ежемесячный гонорар.

— Я же ничего не понимаю ни в карточной игре, ни в обедах. Вы, верно, что-нибудь спутали.

Они потоптались и повысили мой гонорар.

Очевидно было, что мы совсем друг друга не понимали.

Потом они, кажется, нашли хозяйку в лице одной популярной певицы и успокоились. То есть закрывались, давали взятку, открывались, закрывались, давали взятку и т. д.

— Ваша полиция взятки берет? — спрашивала я у Гришина-Алмазова.

— Ну что ж! Эти деньги идут исключительно на благотворительность. Подчеркиваю «идут», — бодро отвечал он.

Одесский быт сначала очень веселил нас, беженцев.

— Не город, а сплошной анекдот.

Звонит ко мне много раз одна одесская артистка. Ей нужны мои песенки. Очень просит зайти, так как у нее есть рояль.

— Ну хорошо. Я приду к вам завтра часов в пять.

Вздох в телефонной трубке.

— А может быть, можете в шесть? Дело в том, что мы всегда в пять часов пьем чай...

— А вы уверены, что к шести уже кончите?

Иногда вечером собирались почитать вслух газетную хронику. Не жалели огня и красок одесские хроникеры. Это у них были шедевры в этом роде:

«Балерина танцевала великолепно, чего нельзя сказать о декорациях».

«Когда шла "Гроза" Островского с Рощиной-Инсаровой в заглавной роли...»

«Артист чудесно исполнил "Элегию" Эрнста, и скрипка его рыдала, хотя он был в простом пиджаке».

«На пристань приехал пароход».

«В понедельник вечером дочь коммерсанта Рая Липшиц сломала свою ногу под велосипедом».

Но скоро одесский быт надоел. Жить в анекдоте ведь не весело, скорее трагично.

Но вот маленький просвет. Приехал в Одессу наш милый редактор Ф. И. Благов и стал скликать сотрудников «Русского слова». «Русское слово» начнет выходить в Одессе. Сотрудники собрались в достаточном количестве, и дело стало быстро налаживаться.

К весне появился в городе поэт Макс Волошин. Он был в ту пору одержим стихонеистовством. Всюду можно было видеть его живописную фигуру: густая квадратная борода, крутые кудри, на них круглый берет, плащ-разлетайка, короткие штаны и гетры. Он ходил по разным правительственным учреждениям и нужным людям и читал стихи. Читал он их не без толку. Стихами своими он, как ключом, отворял нужные ему ходы и хлопотал в помощь ближнему. Иногда войдет в какую-нибудь канцелярию и, пока там надумают доложить о нем по начальству, начнет декламировать. Стихи густые, могучие, о России, о самозванце, с историческим разбегом, с пророческим уклоном. Девицы-дактило окружали его восторженной толпой, слушали, ахали, и от блаженного ужаса у них пищало в носиках. Потом трещали машинки — Макс Волошин диктовал свои поэмы. Выглядывало из-за двери начальствующее лицо, заинтересовывалось предметом и уводило Макса к себе. Уводило, и через запертую дверь доносилось густое мерное гудение декламации.

Зашел он и ко мне.

Прочел две поэмы и сказал, что немедленно надо выручать поэтессу Кузьмину-Караваеву, которую арестовали (кажется, в Феодосии) по чьему-то оговору и могут расстрелять.

— Вы знакомы с Гришиным-Алмазовым, просите его скорее.

Кузьмину-Караваеву я немножко знала и понимала вздорность навета.

— А я пойду к митрополиту, не теряя времени. Кузьмина-Караваева окончила Духовную академию. Митрополит за нее заступится.

Позвонила Гришину-Алмазову.

Спросил:

— Вы ручаетесь?

Ответила:

— Да.

— В таком случае завтра же отдам распоряжение. Вы довольны?

— Нет. Нельзя завтра. Надо сегодня и надо телеграмму. Очень уж страшно — вдруг опоздаем!

— Ну хорошо. Пошлю телеграмму. Подчеркиваю «пошлю».

Кузьмину-Караваеву освободили.

Впоследствии встречала я еще на многих этапах нашего странствия — в Новороссийске, в Екатеринодаре, в Ростове-на-Дону — круглый берет на крутых кудрях, разлетайку, гетры и слышала стихи и восторженный писк покрасневших от волнения носиков. И везде он гудел во спасение кого-нибудь.

Приехал в Одессу мой старый друг М. Пробрался гонцом от Колчака из Владивостока через всю Сибирь, через большевистские станы, с донесением, написанным на тряпках (чтобы нельзя было прощупать), зашитых под подкладку шинели. Он заехал к общим знакомым, которые сообщили ему, что я в Одессе, и сейчас же вызвали меня по телефону. Встреча была очень радостная, но и очень странная. Вся семья столпилась в углу комнаты, чтобы нам не мешать. Из приоткрытой двери умиленно выглядывала старая нянюш-

ка. Все притихли и торжественно ждали: вот друзья, которые считали друг друга погибшими, сейчас встретятся. Господи! Заплачут, пожалуй... Времена-то ведь такие...

Я вошла:

— Мишель! Милый! Как я рада!

— А уж я-то до чего рад! Столько пережить пришлось. Посмотрите, сколько у меня седых волос.

— Ничего подобного. Ни одного. Вот у меня действительно есть. Вот здесь, на левом виске. Пожалуйста, не притворяйтесь, что не видите!

— Ну и ровно ничего. Буквально ни одного.

— Да вы подойдите к свету. Это что? Это, по-вашему, не седой волос?

— Ни капли. Вот у меня действительно. Вот, посмотрите на свет.

— Ну, знаете, это даже подло!

— А вам лишь бы спорить. Именно я седой.

— Узнаю ваш милый характер! Что у него-то все великолепно, а у другого все дрянь!

Хозяева на цыпочках благоговейно вышли из комнаты.

Когда эти первые восторги встречи прошли, М. рассказывал много интересного о своей судьбе.

Человек он был глубоко штатский, помещик, пошел на военную службу во время войны. Поехал после революции в имение, там, в родном городишке, осажденном большевиками, выбран был диктатором.

— Вы, конечно, мне не поверите, так вот я, с опасностью для жизни, пронес под подкладкой приказы, подписанные моим именем.

Я посмотрела. Верно.

— Они подвезли артиллерию и так и сыпали по нас снарядами. Пришлось удирать, — рассказывал он. — Я скачу верхом через поле. Вдруг вижу во ржи два василечка рядом. Нигде ни одного, а тут два рядом, будто чьи-то глаза. И знаете — все забыл и пушек не слышу. Остановил лошадь, слез и сорвал василечки. А тут кругом бегут, кричат, падают. А мне чего-то и не страшно было, как вы думаете, отчего мне не было страшно? Храбрый я, что ли?

Он задумался.

— Ну а дальше?

— Оттуда попал на Волгу. До чего смешно! Флотом командовал. Ничего сражались. Помните, мне лет пять тому назад гадалка сказала, что незадолго до смерти буду служить во флоте. И все надо мной смеялись: большой, толстый и наденет шапочку с ленточками. Вот и исполнилось. Теперь еду в Париж, а потом через Америку во Владивосток обратно к Колчаку. Отвезу ему его адмиральский кортик, который он бросил в воду. Матросы его выловили и посылают с приветом.

Рассказывал, что видел в Ростове Оленушку. Она играла в каком-то театрике и очень дружно жила со своим мужем, похожим на гимназиста в военной форме. Оленушка стала убежденной вегетарианкой, варила для себя какие-то прутья и таскала кусочки мяса у мужа с тарелки.

— Да уж вы бы, Оленушка, положили бы себе прямо, — посоветовал М.

Маленький муж покраснел от испуга:

— Что вы! Что вы! Нельзя так говорить. Она сердится. Она ведь по убеждению.

М. готовился в дальний путь. Торопился. Надо было скорее отвезти Колчаку разные одесские резолюции и вообще наладить связь. Он был первым гонцом, благополучно проскочившим.

Был бодр. В Колчака и Белое дело верил свято.

— Возложенную на меня миссию выполню с радостью и самоотвержением. У меня хорошо на душе. Одно только смущает: черный опал в моем перстне треснул. Раскололся крестом. Как вы думаете, что это значит?

Я не сказала, что я думаю, но темный знак не обманул. Ровно через месяц М. умер...

Ему очень хотелось увезти меня из Одессы. Кругом говорили:

— Ауспиции тревожны!

Он уезжал на военной миноноске и обещал выхлопотать мне разрешение. Но погода была скверная, на море свирепые штормы, и я уехать не согласилась.

И столько дружеских голосов успокаивали М. на мой счет:

— Неужели вы думаете, что мы не позаботимся о Надежде Александровне, если будут эвакуировать Одессу!

— Она первая взойдет на пароход — клянусь вам в этом!

— Да неужели кто-нибудь из нас сможет уехать, не подумав прежде всего о ней? Даже смешно!

(И действительно, впоследствии было очень смешно, но не потому, что они позаботились...)

Рано утром разбудили меня. Холодное было утро. Синие тени лежали на бледных щеках М.

Когда будят рано в слепое зимнее утро — это всегда или проводы, или похороны, или несчастье, или страшная весть. И дрожит тело каждой каплей крови в этом мутном свете без солнца.

Синие тени лежали на щеках М.

— Ну, прощайте, еду. Перекрестите меня.

— Господь с вами.

— Теперь, наверное, ненадолго. Теперь скоро увидимся.

Но никаких надежд на простые, милые радости не чувствовала я в этом тоскливом рассвете, привидении грядущих дней. И я повторила тихо:

— Господь с вами. А увидимся ли мы — не знаю. Мы ведь ничего не знаем. И поэтому всякая наша разлука — навсегда.

И мы уже больше не встретились.

Через год в Париже русский консул передал мне перстень с черным опалом.

Это все, что осталось от моего друга. Его, уже мертвого, дочиста обокрал живший в том же отеле авантюрист. Он унес все — платье, белье, чемоданы, кольца, портсигар, часы, даже флаконы с духами, но почему-то не посмел дотронуться до черного опала. Что-то в нем почувствовал.

Любопытна история происхождения этого опала.

Одно время — это было приблизительно в начале войны — я очень увлекалась камнями. Изучала их, собирала легенды, с ними связанные. И приходил ко мне одноглазый старичок Коноплев, приносил уральские благородные камни, а иногда и индийские. Уютный был старичок. Расстилал на столе под лампой кусок черного бархата и длинными тонкими щипцами, которые он называл «корцы», вынимал из коробочки синие, зеленые, красные огоньки, раскладывал на бархате, рассматривал, рассказывал. Иногда упря-

мился камушек, не давался корцам, бился весь в испуганных искрах, как живой птенчик.

— Ишь, неполадливый! — ворчал старичок. — Рубинчик-шпинель, оранжевый светик. Горячий.

— А вот сапфирчик. Вон как цветет камушек. Таусень, павлиний глазок. В сапфире важно не то, что он светел или темен, а то, когда он в лиловость впадает, цветет. Это все понимать надо.

Долгие часы можно было просидеть, переворачивая корцами холодные огоньки. Вспоминались легенды:

— Показать изумруд змее — у нее из глаз потекут слезы. Изумруд — цвет цветущего рая. Горько змее вспоминать грех свой.

— Аметист — целомудренный, смиренномудрый камень, очищает прикосновением. Древние пили из аметистовых чаш, чтобы не опьяняло вино. В двенадцати камнях первосвященника аметист — важнейший. И папа аметистом благословляет каноников.

— Рубин — камень влюбленных. Опьяняет без прикосновения.

— Александрит — удивительный наш уральский камень. Александрит, найденный в царствование Александра Второго и его именем названный пророчески. Носил в сиянии своем судьбу этого государя: цветущие дни и кровавый закат.

— И алмаз, яспис чистый, символ жизни Христовой.

Я любила камни. И какие были между ними чудесные уроды: голубой аметист, желтый сапфир или тоже сапфир бледно-голубой с ярко-желтым солнечным пятнышком. По-коноплевски — «с пороком», по-моему — с горячим сердечком.

Иногда приносил он кусок серого камня и в нем целый выводок изумрудов. Как дети, подобранные по росту, — все меньше и меньше, тусклые, слепые, как щенята. Их обидели, их слишком рано выкопали. Им еще надо было тысячелетия созревать в глубокой горячей руде.

И вот как раз во время этой моей любви к камням принес как-то художник А.Яковлев несколько опалов, странных, темных. Их привез какой-то художник с Цейлона и просил продать.

— Опалы приносят несчастье. Не знаю, брать ли? Посоветуйтесь с Коноплевым.

Коноплев сказал:

— Если сомневаетесь — ни за что не берите. Вот я покажу вам сейчас камушки дивной красоты, согласен чуть ли не задаром отдать. Вот взгляните. Целое ожерелье.

Он развернул замшевую тряпку и выложил на бархат один за другим двенадцать огромных опалов дивной красоты. Бледно-лунный туман. И в нем, в этом тумане, загораются и гаснут зеленые и алые огоньки: «Есть путь!», «Нет пути!», «Есть путь!», «Нет пути!». Переливаются, манят, путают...

— Задаром отдам, — повторяет с усмешкой Коноплев.

И не оторваться от лунной игры. Смотришь — тихий туман. И вдруг — мигнул огонек, и рядом другой, вздулся в пламень, затопил первый, и оба погасли.

— Задаром. Но должен упредить. Продал я это ожерелье все целиком госпоже Мартене, жене профессора. Очень ей понравилось, оставила у себя. А на другое утро присылает слугу — берите, мол, скорее камни обратно: неожиданно муж скончался, профессор Мартене. Так вот — как хотите. Не боитесь — берите, а убеждать не стану.

От коноплевских опалов я отказалась, а один из черных цейлонских решила взять. Долго вечером рассматривала его. Удивительно был красив. Играл двумя лучами: синим и зеленым. И бросал пламень такой сильный, что казалось, выходил он, отделялся и дрожал не в камне, а над ним.

Я купила опал. Другой такой же купил М.

И вот тут-то и началось.

Нельзя сказать, чтобы он принес мне определенное несчастье. Это бледные, мутные опалы несут смерть, болезнь, печаль и разлуку.

Этот — не то. Он просто схватил жизнь, охватил ее своим черным огнем, и заплясала душа, как ведьма на костре. Свист, вой, искры, огненный вихрь. Весь быт, весь лад — все сгорело. И странно, и злобно, и радостно.

Года два был у меня этот камень. Потом я дала его А.Яковлеву с просьбой, если можно, вернуть тому, кто привез его с Цейлона. Мне казалось, что нужно, чтобы он ушел, как Мефистофель, непременно тою же дорогой, какою пришел, и как можно скорее. Если пойдет по другой дороге, запутается и вернется. А мне не хотелось, чтобы он возвращался.

Второй камень А.Яковлев оставил у себя. Не знаю, надолго ли, но знаю, что жизнь его тоже подхватила сине-зеленая волна, закружила и бросила в далекую косоглазую Азию.

Третий камень завертел тихого и мирного М. Как уютно текла его жизнь: мягкое кресло, костяной ножичек между шершавых страничек любимого поэта, ленивые руки с ногтями, отшлифованными, как драгоценные камни, рояль, портрет Оскара Уайльда в черепаховой раме, переписанные бисерным почерком стихи Кузмина...

И вот — выронили ленивые руки неразрезанную книжку. Война, революция, нелепая женитьба, «диктатор в родном городишке», подписывающий чудовищные приказы, партизанская война на Волге, Колчак, страшный путь через всю Сибирь, Одесса, Париж, смерть. Разрезала черный камень глубокая трещина вдоль и поперек — крестом. Кончено.

Сбегались в Одессу новые беженцы — москвичи, петербуржцы, киевляне.

Так как пропуски на выезд легче всего выдавались артистам, то — поистине талантлив русский народ! — сотнями, тысячами двинулись на юг оперные и драматические труппы.

— Мы ничего себе выехали, — блаженно улыбаясь, рассказывал какой-нибудь скромный парикмахер с Гороховой улицы. — Я — первый любовник, жена — инженю, тетя Фима — гран-кокет, мамаша в кассе и одиннадцать суфлеров. Все благополучно проехали. Конечно, пролетариат был слегка озадачен количеством суфлеров. Но мы объяснили, что это самый ответственный элемент искусства. Без суфлера пьеса идти не может. С другой стороны, суфлер, сидя в будке и будучи стеснен в движениях, быстро изнемогает и должен немедленно заменяться свежим элементом.

Приехала опереточная труппа, состоящая исключительно из «благородных отцов».

И приехала балетная труппа, набранная сплошь из институтских начальниц и старых нянюшек...

Все новоприбывшие уверяли, что большевистская власть трещит по всем швам и что, собственно говоря, не стоит распаковывать чемоданы. Но все-таки распаковывали...

Настроение в городе было если не бодрое, то очень оживленное.

— Антанта! Антанта!

Смотрели в море, ждали «вымпелов».

Деньги мало-помалу исчезли. В магазинах сдачу выдавали собственными знаками, которые иногда сами выдававшие их торговцы не узнавали. Все дорожало с каждым днем. Как-то в магазине приказчик, заворачивая мне кусок сыру, трагически указал на него пальцем и сказал:

— Вон, смотрите, с каждой минутой дорожает!

— Так заворачивайте его скорее, — попросила я. — Может быть, в бумаге он успокоится.

И вот неожиданно исчез Гришин-Алмазов. Уехал инкогнито, никому ничего не сказав. Спешил проскочить к Колчаку. Скоро стала известна его трагическая судьба. В Каспийском море он был настигнут большевиками. Увидев приближающийся корабль с красным флагом, сероглазый губернатор Одессы выбросил в море чемоданы с документами и, перегнувшись через борт, пустил себе пулю в лоб. Умер героем.

— Героем, Гришин-Алмазов! Подчеркиваю, героем!

В Одессе мало обратили внимания на эту смерть. Только комендант «Лондонской» гостиницы стал мне кланяться суше и рассеяннее, и его пушистая собака перестала вилять хвостом. И скоро пришел он ко мне озабоченный, извинился и сказал, что отведет мне номер в «Международной» гостинице, так как вся «Лондонская» отойдет под штаб.

Очень было жаль уходить из милого номера шестнадцатого, где каждый день в шесть часов чуть-чуть теплел радиатор, где в каминном зеркале отражались иногда милые лица: сухое, породистое Ивана Бунина, и профиль бледной камеи — его жены, и ушкуйник Алеша Толстой, и лирическая жена его Наташа Крандиевская, и Сергей Горный, и Лоло, и Нилус, и Панкратов...

Ну что ж — еще один этап. Мало ли их было? Мало ли их будет?..

А в городе стали появляться новые лица: воротник поднят, оглянется и шмыгнет под ворота.

— «Они» уже просачиваются! Уверяю вас, что они просачиваются. Мы видели знакомое лицо — комиссар из Москвы. Он сделал вид, что не узнал нас, и скрылся.

— Пустяки. Антанта... десант... Бояться нечего.

И вдруг знакомая фраза, догнавшая нас, прибежала запыхавшаяся:

— Ауспи-ции тре-вожны!

Началось!

14

Вышел первый номер «Нашего слова». Настроение газеты боевое, бодрое.

Полным диссонансом мой фельетон «Последний завтрак». Последний завтрак осужденного на смерть. Описание веселящейся Одессы. Описание зловещего молчания кругом и тихие шорохи, шелесты, шепоты в подпольях, куда «просачиваются они».

Настроение мое не одобряли.

— Откуда такой мрак? Что за зловещие пророчества? Теперь, когда Антанта... когда высаживаются новые воинские части... когда французы и т. д.

— Вот уже совсем некстати. Взгляните только, что делается на рейде!

— Вымпелы!

— Антанта!

— Десант!

Очевидно, я действительно не права...

Неунывающая толпа писателей и артистов затеяла открыть «подвал» где-нибудь на крыше. Конечно, в стиле «Бродячей собаки». Дело было только за деньгами и за названием. Под влиянием разговоров об Антанте я посоветовала назвать «Теткин вымпел»...

Прошли слухи о том, что, пожалуй, «Международную» гостиницу займут под разные штабы. Тогда снова придется мне искать пристанище. С ужасом вспомнила первые одесские дни в холодной комнате в частной квартире, когда в разбитое окно ванной комнаты, где стоял умывальник для всей семьи, сыпал снег прямо на голову. Хозяин ходил мыться в пальто с поднятым воротником и в барашковой шапке на голове. Хозяйка мылась, засунув руки в муфту. Может быть, в таком виде им было и тепло, и удобно — не знаю. Я чихала и согревалась гимнастикой по всем существующим в мире методам. Больше мне всего этого не хотелось.

Хотя была весна, весна, которая всегда ведет за собой лето, так что со стороны холода бояться нечего, но перспектива трудных квартирных поисков раздражала и утомляла заранее. Лучше ни о чем не думать. Тем более что я никак не могла себе представить оседлой жизни в Одессе. Когда я жила в «Лондонской» гостинице, мои гости говорили мне:

— Какой чудесный вид будет из вашего окна весною.

И я всегда отвечала:

— Не знаю. Не чувствую себя весною здесь. Ауспиции тревожны...

Иду в яркий солнечный день по улице. С набережной — невиданное зрелище — чернорожие солдаты, крутя крупными белками глаз (словно каленое крутое яйцо с желтым припеком), гонят по мостовой груженых ослов. Это и есть десант. Но особого энтузиазма в народонаселении не заметно.

— Ишь, каких прислали. Лучше-то не нашлось?

Негры яростной улыбкой обнажали каннибальские зубы, кричали что-то вроде «хабалда балда», и нельзя было понять, ругаются они или приветствуют нас.

— Ну да все равно, впоследствии выяснится.

Ослы бодро помахивали хвостиками. Это ауспиция благоприятная.

— Ну? Что вы думаете за Одессу, что-о? Странно знакомый голос...

— Гуськин!

— Что-о? Это же не город, а мандарин. Отчего вы не сидите в кафе? Там же буквально все битые сливки общества.

Гуськин! Но в каком виде! Весь строго выдержан в сизых тонах: пиджак, галстук, шляпа, носки, руки. Словом — франт.

— Ах, Гуськин, я, кажется, останусь без квартиры. Я прямо в отчаянии.

— В отчаянии? — переспросил Гуськин. — Ну так вы уже не в отчаянии.

— ?..

— Вы уже не в отчаянии. Гуськин вам найдет помещение. Вы, наверное, думаете себе: Гуськин этт!

— Уверяю вас, никогда не думала, что вы «этт»!

— А Гуськин, Гуськин это... Хотите ковров?

— Чего? — даже испугалась я.

— Ковров! Тут эти марокканцеры навезли всякую дрянь. Прямо великолепные вещи, и страшно дешево. Так дешево, что прямо дешевле порванной репы. Вот, могу сказать точную цену, чтобы вы имели понятие: чудесный ковер самого новейшего старинного качества, размером — длина три аршина десять вершков, ширина два аршина пять... нет, два аршина шесть вершков... И вот за такой ковер вы заплатите... сравнительно очень недорого.

— Спасибо, Гуськин, теперь уже меня не надуют. Знаю, сколько надо заплатить.

— Эх, госпожа Тэффи, как жаль, что вы тогда раздумали ехать с Гуськиным. Я недавно возил одного певца — так себе, паршивец. Я, собственно говоря, стрелял в Собинова...

— Вы стреляли в Собинова? Почему?

— Ну, как говорится, стрелял, то есть метил, метил в Собинова, ну да не вышло. Так повез я своего паршивца в Николаев. Взял ему залу, билеты продал, публика, всё как следует. Так что ж вы думаете! Так этот мерзавец ни одной высокой нотки не взял. Где полагается высокая нота, там он — ну ведь это надо же иметь подобное воображение! — там он вынимает свой сморкательный платок и преспокойно сморкается. Публика заплатила деньги, публика ждет свою ноту, а мерзавец сморкается себе, как каторжник, а потом идет в кассу и требует деньги. Я рассердился, буквально как какой-нибудь лев. Я действительно страшен в гневе. Я ему говорю: «Извините меня — где же ваши высокие ноты?» Я прямо так и сказал. А он молчит и говорит: «И вы могли воображать, что я стану в Николаеве брать высокие ноты, то что же я буду брать в Одессе? И что я буду брать в Лондоне, и в Париже, и даже в Америке? Или, — говорит, — вы скажете, что Николаев такой же город, как Америка?» Ну что вы ему на это ответите, когда в контракте ноты не оговорены. Я смолчал, но все-таки говорю, что у вас, наверное, высоких нот и вовсе нет. А он говорит: «У меня их очень даже большое множество, но я не желаю плясать под вашу дудку. Сегодня, — говорит, — вы требуете в этой арии ля, а завтра потребуете в той же арии си. И всё за ту же цену. Ладно и так. Найдите себе мальчика. Город, — говорит, — небольшой, может и без верхних нот обойтись, тем более что кругом революция и братская резня». Ну что вы ему на это скажете?

— Ну, тут уж ничего не придумаешь.

— А почему бы вам теперь не устроить свой вечер? Я бы такую пустил рекламу. На всех столбах, на всех стенах огромными буквами, что-о? Огромными буквами «Выдающая программа...»

— Надо «ся», Гуськин.

— Кого-о?

— Надо «ся». Выдающаяся.

— Ну пусть будет «ся». Разве я спорю. Чтобы дело разошлось из-за таких пустяков... Можно написать: «Потрясающийся успех».

— Не надо «ся», Гуськин.

— Теперь уже не надо? Ну я так и думал, что не надо. Почему вдруг. Раз всегда все пишут «выдающая»... А тут дамские нервы и давай «ся».

Он вдруг остановился, огляделся и шепотом спросил:

— А может, вам нужна валюта?

— Нет. Зачем?

— А для Константинополя.

— Я не собираюсь уезжать.

— Не собираетесь?

Он подозрительно посмотрел на меня.

— Не собираетесь? Ну пусть будет так. Пусть будет, что не собираетесь.

Чувствовалось, что не верит.

— Разве кто-нибудь сказал вам, что я еду в Константинополь?

Гуськин ответил загадочно:

— А разве нужно, чтобы еще говорили? Хэ!

Ничего не понимаю. Смотрю на сизого Гуськина, на яростно улыбающихся негров, на нетерпеливые хвостики ослов. Может быть, эти черные лики повернули мечту Гуськина к Стамбулу?

Странно все это...

15

Быстро, словно испуганные, побежали дни.

Сколько их? Совсем немного — три-четыре? Может быть, шесть? Не помню.

Но вот — будят меня утром топот, голоса, хлопанье дверей.

Встаю.

Странная картина: тащат по коридору сундуки, чемоданы, картонки, узлы. Беготня, суета. Двери раскрыты настежь. На полу всюду клочья бумаги, веревки.

Выселяют их всех, что ли? Ну да там видно будет.

В вестибюле навален всякий багаж. Суетятся озабоченные люди, шепчутся, суют друг другу деньги, толкуют о каких-то пропусках. И все это в страшном волнении. Красные, глаза выпучены, руки расставлены, котелки на затылке.

Вероятно, «штабы» приезжают. Не выселили бы и меня.

Вернулась на всякий случай к себе в номер, вынула из шкафа платья, из комода белье. Сунула в сундук и пошла в редакцию.

Там, наверное, всё знают.

На улице совсем уже неожиданное зрелище: бегут черные рожи, гонят ослов. Только теперь повернуты ослы мордами к морю, а хвостами к городу. Торопятся черные, колотят ослов палками, и бегут ослы впритруску.

Что это может значить?

Из прачечной выбегает французский солдат с охапкой мокрого белья. За ним две осатанелые прачки.

— Управы на них нету! Стой! Может, чужое забрал...

Через открытую дверь прачечной валит пар и видно, как там французские солдаты вырывают у прачек белье. Крики, вопли. И господин в котелке копошится там же.

Что это может значить? Завоевывают прачек?

Одесские прачки действительно бич Божий. Что они с нами выделывали! Одна из них не вернула мне ровно полдюжины платков.

— Так я же вас за это удовлетворяю, — с достоинством сказала она.

— Как так?

— Да ведь я же не беру с вас за стирку тех платков, которые я вам не вернула!

Смотрю, у другой прачечной тоже рукопашная.

— Мадам Тэффи!

Оборачиваюсь.

Малознакомая личность. Кажется, кто-то из журналистов. Бежит, запыхавшись.

— Видели картинку? Развели панику! А вы так себе спокойно прогуливаетесь! Разве уже закончили все сборы?

— Сборы? Куда?

— Куда? В Константинополь.

Чего они меня все гонят в Константинополь? Но он уже убежал, размахивая руками, утирая лоб.

— В чем дело?

Вчера еще заходили ко мне друзья и знакомые. Никто мне ничего о Константинополе не говорил. Эвакуация, что ли? Но разве это бывает так вдруг, мгновенно?

В редакции полная растерянность.

— Что случилось?

— Как «что случилось»? Французские войска бросили город, вот что случилось. Надо удирать.

Вот он, Константинополь-то!

Катились мы все с севера, вниз по карте. Сначала думали, что посидим в Киеве, да и по домам. Я еще дразнила братьев-писателей:

— Что! Довел нас язык до Киева?

Погнало нас вниз, прибило к морю, теперь, значит, надо вплавь. Но куда?

Слышу проекты.

«Наше слово» наймет большую шхуну, нагрузит в нее ротационную машину и типографскую бумагу, заберет всех сотрудников и двинет на всех парусах в Новороссийск.

Говорили и сами себе не верили.

— А вы куда едете? — спросили у меня.

— Да ровно никуда. Остаюсь в Одессе.

— Да вас повесят.

— Это действительно будет очень скучно. Но куда же мне деваться?

— Хлопочите скорее о пропуске на какой-нибудь пароход.

«Хлопотать» я абсолютно не умела.

В одной из редакционных комнат сидел на подоконнике А. Р. Кугель, бледный, лохматый, и разговаривал сам с собой.

— Куда идти? Раз они уже здесь, раз никто защитить не может... Может быть, у них сила? У них право?

Я подошла к нему, но он даже не заметил меня и продолжал говорить сам с собой.

Надо все-таки что-нибудь предпринять, если действительно все уезжают. Что же я буду делать одна?

Вот теперь как раз кстати вспомнить о преданных душах, которые месяц тому назад со слезами восторга, «которых они не стыдились», вопили, что в случае эвакуации Одессы я первая войду на пароход.

Позвонила по телефону к адвокату А. Ответила его дочь.

— Папы нет дома.

— Вы уезжаете?

— Н-нет, ничего не известно. Я ничего не знаю.

Позвонила к Б.

Ответила квартирная хозяйка.

— Уехали. Все уехали.

— Куда?

— На пароход. У них давно были пропуски от французов.

— А! Вот как! Значит, давно...

Б. тоже клялись и умилялись...

Хотела повидать кое-кого из литературных друзей, но почему-то часть города была оцеплена солдатами. Почему — никто не знал. Вообще никто ничего не знал.

— Отчего уходят французские войска?

— Получена тайная телеграмма из Франции. Там революция, там утвердились коммунисты, и, значит, войска против большевиков сражаться не могут.

Во Франции революция? Что за галиматья!

— Нет, — догадался кто-то. — Они не уходят, а только делают вид, что уходят. Чтобы обмануть большевиков.

Из парикмахерской выскочила знакомая дама.

— Безобразие! Жду три часа. Все парикмахерские битком набиты... Вы уже завились?

— Нет, — отвечаю я растерянно.

— Так о чем же вы думаете? Ведь большевики наступают, надо бежать. Что же вы так, нечесаная, и побежите? Зинаида Петровна молодец: «Я, — говорит, — еще вчера поняла, что положение тревожно, и сейчас же сделала маникюр и ондюлясьон[1]». Сегодня все парикмахерские битком набиты. Ну, я бегу...

---

[1] Завивка волос *(фр.)*.

Прохожу мимо дома адвоката А. Решаю просто зайти и узнать.

— Папы все еще нет. Он придет часа через два.

Вся передняя завалена платьем, бельем, башмаками, шляпами. Раскрытые сундуки и чемоданы наполовину набиты вещами.

— Вы уезжаете?

— Кажется, да...

— Куда?

— Кажется, в Константинополь. Но у нас нет никаких пропусков, и папа хлопочет. Вероятно, не поедем.

Звонит телефон.

— Да! — кричит она в трубку. — Да, да. Вместе. Каюты рядом? Отлично. Папа заедет за мной в семь часов.

Не желая ее конфузить тем, что слышала ее разговор, я тихонько открываю дверь и ухожу.

На улице новая встреча. Знакомая одесситка. Очень возбужденная и даже радостная.

— Голубчик! Ну вы же мне не поверите! Плотный, как кожа! Спешите скорее, там уже немного осталось.

— Чего? Где?

— Крепдешин. Ну прямо замечательный! Я себе набрала на платье. Чего вы удивляетесь? Нужно пользоваться. Дешево продают, потому что все равно большевики отберут. Бегите же скорее! Ну?

— Спасибо, но, право, как-то нет настроения.

— Ну, знаете, лавочник ждать не станет, пока у вас настроение переменится. И верьте мне, что нас ждет — неизвестно, но зато известно, что крепдешин всегда нужен.

Зашла к моим друзьям М-м.

Они ничего не знали. Не знали даже, что войска уходят. Но у них были другие приметы тревожных перемен.

— Долбоносый въехал в квартиру и поселился в гостиной. Прислушайтесь!

Прислушалась.

Из гостиной через коридор неслись звуки очень неприятного ржавого голоса. Голос пел:

Мадам Лю-лю-у-уу...
Я вас люблю-у-у...

Ага! Понимаю. Это был голос долбоносого субъекта, типа очень подозрительного, который шмыгал иногда по коридору, старательно отворачивая лицо. Кто-то из бывших у М-м узнал его и даже назвал кличку. Это был большевик из Москвы.

Приходил к хозяйке, шептался с ней, подслушивал, подглядывал. Одновременно и ухаживал, так как хозяйка была женщина нестарая, с утра ходила в платье с открытой жирной шеей, густо, словно мукой, обсыпанной пудрой, глаза у нее были выкаченные, с толстыми веками, нос шилом — словом вся любовь.

Поздно вечером слышно было, как, покончив с прозой шпионажных донесений, она томно ворковала голубиными стонами.

— Ой-й-й! И где мое блаженство? Где?

— Твое блаженство и с тобой! — отвечал ей ржавый голос.

И вот со вчерашнего дня «блаженство» перестало прятаться. Оно переехало с корзиной и громко крикнуло в кухню:

— Аннушка! Почистите мне бруки!

Большевик перестал прятаться.

— Действительно, ауспиции тревожны.

М-м никуда ехать не собирались. И меня это подбодрило.

Вот сидят же люди спокойно на месте.

Пошла к себе в гостиницу.

Швейцары куда-то исчезли. Большинство номеров пусты, с настежь открытыми дверями.

Только что поднялась к себе — стук в дверь. Влетает знакомый москвич X.

— Я второй раз забегаю. Нет ли у вас денег? Все банки закрыты. Нам не с чем выехать, жена в отчаянии.

— Куда вы едете?

— Мы сегодня вечером на «Шилке» во Владивосток. А вы куда?

— Никуда.

— Вы шутите! Вы с ума сошли. Оставаться в городе, который обещали отдать бандам на разграбление. Говорят, Молдаванка уже вооружена и ждет только, когда все войска отойдут, чтобы ринуться в город.

— Куда же мне деваться?

— Мы были уверены, что вы давно уже устроились. Едемте с нами на «Шилке» во Владивосток — у нас есть пропуск. Мы и вас проведем.

— Хорошо. Я с радостью.

— В таком случае ровно в восемь часов вечера будьте с багажом на пристани. Помните же — ровно в восемь.

— Ну конечно. Поцелуйте Лелечку.

Теперь, когда мой отъезд устраивался, я почувствовала, как мне, в сущности, хотелось уехать. Теперь, когда можно было спокойно думать о том, что меня ждало, если бы я осталась, мне стало страшно. Конечно, не смерти я боялась. Я боялась разъяренных харь с направленным прямо мне в лицо фонарем, тупой идиотской злобы. Холода, голода, тьмы, стука прикладов о паркет, криков, плача, выстрелов и чужой смерти. Я так устала от всего этого. Я больше этого не хотела. Я больше не могла.

16

Открыла окно.

Где-то на боковой улице стреляли.

Уложила вещи. Спустилась вниз.

В вестибюле стало спокойнее. У стен еще остались кое-какие чемоданы, но суетни не было. Даже отельная прислуга куда-то исчезла. У парадного крыльца вертелся мальчишка-рассыльный.

— Кто это стреляет? — спросила я.

— А это шпекулянтов пугают.

— Каких спекулянтов?

— А которые валютой торгуют. Их там множество на улице — зайдите за угол, так увидите. Отъезжающим валюту продают, ну вот в них и палят.

Мальчишке, видимо, нравилось, что палят.

Я вышла на улицу, заглянула за угол. Действительно, там подальше группировались кучками какие-то люди, о чем-то толковали, махали руками.

Раздавался выстрел — группы медленно расплывались и быстро собирались снова.

— Туда не ходите. Подстрелют, — остановил мальчишка. — А там налево тоже не пройти. Там кордон.

— Почему?

— А хочут грабить нашу «Международную» и «Лондонскую». Здесь самая нажива: буржуи и иностранцы. Сюда прежде всего придут.

Вот так история!

— А много еще жильцов осталось в отеле?

— Очення мало. Почитай, что никого нет. Все выехали.

Я решила пройти на пристань, разыскать, где стоит «Шилка», чтобы потом легче было ее найти, когда приеду с багажом.

Дорога к морю оказалась свободной.

На пристани пусто.

Подальше на рейде суда: «Херсон», «Кавказ» и иностранцы.

Среди пришвартованных к пристани барок разыскала «Шилку». Маленькое суденышко. Неужели оно пришло из Владивостока, пересекло Индийское море?

На «Шилке» ни души. Из трубы дыма не видно...

Ну, значит, успеют к вечеру наладить.

Заметив хорошенько место, пошла домой.

Попробовала созвониться по телефону с друзьями. Телефон не действовал.

Разыскала своего приятеля — швейцарова мальчишку и вместе с ним стащила вниз багаж.

— А найду ли я извозчика?

— Извозчика-а? Ну, это, знаете ли, того-с. Это надо у пристани караулить и ловить порожняка. А в городе не найдете.

Столковалась с мальчишкой, чтобы он пошел на пристань и заказал извозчика к семи часам, лучше приеду пораньше. Х. будут ждать и волноваться.

Поднялась к себе.

Что-то безнадежное было в этих пустых коридорах с распахнутыми настежь дверями, с обрывками бумаг и веревок, которых никто не выметал.

Дунул вихрь, закружил и смёл. Остались только пыль да сор...

Села в кресло у окна. Хотелось тихо собрать мысли, заглянуть в себя, подумать.

Заметила привязанный у изголовья кровати мой кипарисовый крестик, вывезенный мною несколько лет тому назад

из Соловецкого монастыря. Всегда я забываю его и всегда в последнюю минуту вспоминаю и беру с собой. И это для меня как символ... но не хочу об этом говорить.

Отвязала свой крестик. Простой, резной, какой кладут на грудь покойникам. Вспомнила Соловки, тоскливый, отрывистый крик чаек и вечный ветер, холодный, соленый, обгладывающий тощие ветви сосен. И изможденные лица послушников, их мочально-белокурые прядки волос под ветхой скуфейкой. Северные строгие лица. Лики.

Старенький монашек у глухой церковки далеко в глуби леса. На стенах церковки все архангелы: Михаил с мечом, Рафаил с кадилом, Варахиил, вертоградарь райский с розами в руках, и Гавриил, ангел Благовещения, с веткой лилий, и Иегудиил — карающий, с бичами, и Силахиил, ангел молитвы со сложенными руками, и Уриил, скорбный ангел смерти со свечой, перевернутой пламенем вниз.

— Святые ангелы у вас, батюшка?

Старичок моргает, не понимает, не слышит:

— Куды? Куды?

Улыбнулся мелкими лучиками сухих морщин.

— Лики, милая, лики!..

Крестики, четки, тканные молитвой пояски в монастырской лавочке.

Старуха, сухая, костистая, зловещая, с круглыми ястребиными глазами, роется в поясках:

— Усю обряду смертную давай мне. Усю на девять человек семьи. На всех запасайтесь, православные. Война. И что еще будет...

Да. «И что еще будет»?.. Я выбираю кипарисовый крестик...

Несколько лет висит он у меня у моего изголовья. В страшные, бессонные черные ночи многое-многое схоронила я под этим крестиком...

Стук в дверь.

Не дожидаясь моего ответа, влетает П., некто из некрупных общественных деятелей. Волосы всклокочены, борода точно ветром сдута набок. Глаз припух.

— Ах, с каким трудом я добрался до вас! — кричит он, растерянно глядя мимо меня. — С той стороны стреляют, с этой не пропускают... еле проскочил...

— Ну какой же вы милый, что вспомнили обо мне в такое время!

— Ну еще бы. Я прежде всего подумал о вас. Вы именно такой человек, который может выручить. С вашими знакомствами, со связями, с вашей известностью... Мы оказались в ужасном положении. Ш. обещал всех нас устроить на пароход, отходящий в Константинополь. Он клялся, что французы заберут нас всех. Назначил прийти за пропусками сегодня к одиннадцати... Мы сидели, как дураки, перед запертыми дверями до трех, и вдруг входит секретарь и выражает полное удивление нашим присутствием. Оказывается, что господин Ш. изволил уехать еще в восемь часов утра и никаких распоряжений не оставил. Нет — как вам это нравится! Теперь вся надежда на вас.

— Что же я-то могу сделать?

— Как что? Вы можете куда-нибудь съездить и похлопотать. Поезжайте на «Кавказ», расскажите, в каком мы положении. Вас все знают.

— Да начать с того, что у меня у самой никакого пропуска нет. Х. обещал взять меня с ними на «Шилку». Если бы не он, пришлось бы остаться в Одессе.

— Никогда не поверю! Вы, которую вся Россия... Бликген и Робинсон выпустили карамель вашего имени. Карамель «Тэффи». Сам ел. И чтобы вы...

— Карамель-то ели, а вот все-таки, если бы не Х., то пришлось бы мне...

— В таком случае мы едем с вами на... «Шилку», — решил П. — Вы обязаны нас устроить. Мы тоже не кто-нибудь. Россия последних моментов тоже кое-чем нам обязана. Слушайте: я бегу на разведки. Если ничего не удастся — вы нас устраиваете на «Шилку». Это ваш гражданский долг. Вы ответите перед историей. Жму вашу руку и верю вам.

Черт знает что!

Распахнул дверь, стукнулся лбом о притолоку и выскочил. Но через секунду дверь снова распахнулась.

— У вас, конечно, есть валюта?

— Нет. Валюты у меня нет.

— Ай-ай-ай! Ну как же так можно! Как можно быть такой непредусмотрительной, — распекал он меня. — Положи-

тельно, господа, живете вы точно на Луне, совершенно не сознавая момента и не учитывая возможностей.

На минутку задумался и прибавил очень строгим тоном:

— Теперь где же я возьму валюту в случае, если придется ехать за границу?

Он ушел, по-видимому, очень недовольный мной.

Смеркалось. Пора было собираться на пристань.

Внизу ждал меня мой мальчишка. Он договорил извозчика за какую-то легендарную цифру. Тот обещал заехать за мной в семь часов.

Мальчишка предложил пообедать.

— Повар остался и два официанта. Кое-что могут собрать поесть.

Мне есть не хотелось.

Вышла на улицу. Послушала, как стреляют в разных концах города. Стреляли, по-видимому, без особого смысла и цели. Просто так «постреливали», напутственно, как деревенский мальчишка бросает щепочку вслед барской коляске.

Чувствовалась настороженность, мертвая зыбь, отражение где-то бушующей бури.

Мальчишка стоял на подъезде и манил меня рукой: приехал обещанный извозчик.

Спустились к набережной.

Тихо.

Отыскали «Шилку».

На ней пусто. Ни одного огонька. Пусто и на берегу.

Что же это значит? Слезла с извозчика, подошла ближе.

— Эй! «Шилка»!

На борту замаячила фигура. Китаец!

— Эй! Есть кто-нибудь на «Шилке»? Уходит «Шилка» сегодня в море? А? Отвечай же!

Китаец юркнул вниз. Скрылся.

— Эй! Китаец!

Сверху с берега кто-то выстрелил. Очень близко.

— Ой, барыня! — крикнул извозчик. — Ты как себе хочешь, а я тут стоять не стану. Я багаж твой на берег выгружу, а ждать тут не стану.

— Подожди немножко, голубчик! — попросила я. — Я тебе заплачу. Сейчас придут мои знакомые. Мы сговорились.

— Ни за какие деньги ждать не стану. Не слышите, что ли? Стреляют. Гужи срежут, лошадь уведут. Я тебе багаж выгружу, и сиди, коли хочешь, хоть всю ночь.

Я еще повертелась на берегу. Ни души. Покричала китайца.

Темнеет.

Опять выстрел, и зашуршал камушек недалеко от меня.

Извозчик решительно слез с козел и стал стаскивать чемодан.

Что я тут буду делать одна на берегу? Ясно, что «Шилка» сегодня не двинется. Ни огня, ни команды на ней не видно. Но где же X.? Может быть, заехали ко мне в «Международную» или прислали туда записку...

За двойную плату извозчик соглашается отвезти меня обратно. Теперь, если придется снова ехать на пристань, у меня еле хватит, чем заплатить.

Гостиница погружена в полный мрак. Только внизу, в вестибюле и в ресторане, кое-где светятся лампочки.

— Никто не приходил? Не присылал за мной?

Никто, ничего. Тишь, гладь, Божья благодать.

Хотелось есть, но боюсь тратить деньги.

Остаюсь внизу, в вестибюле. Неприятно идти одной по пустым коридорам. Достаю какую-то уютную книжку, кажется Ибсена, и сажусь поближе к лампе.

К судьбе своей у меня полное равнодушие. Ни тревоги, ни страха. Сделать все равно ничего не могу. Проследила мысленно свой странный путь из Москвы всё на юг, на юг и всё не по своей воле. Явился перст судьбы в образе Гуськина, ткнул меня.

— Поездка всего на один месяц. Несколько вечеров с валовым сбором, и вот вы уже дома, и вот вы уже спокойны. Что-о?

И вот качусь вниз по карте, и гонит меня судьба куда хочет, и докатила до самого моря. Теперь захочет — в море загонит, захочет — по берегу покатит. В сущности, не все ли равно?

Подошел официант. Официантского в нем осталось только крахмальная манишка с черным галстуком. Фрак заменил рваный пиджачок.

— Повар хочет, чтобы вы покушали, — сказал он.

— Ну что же, раз повар хочет — покоримся повару.

— Обед все равно готовили. Суп есть, баранина, компот.

— Ну вот и отлично.

Он накрыл передо мной столик и принес суп. Подавая, оглядывался, прислушивался, заглядывал в окно. Потом исчез.

Я ждала, ждала и решила пойти на разведку. Заглянула в буфет.

— Где тот лакей, что мне обед подавал?

— Лаке-ей? — спросил чей-то голос из темного угла. — Сбежал твой лакей. На улице стреляют. Скоро Молдаванка сюды нагрянет. Сбежал как прихвостень капитализма.

Я вернулась в вестибюль.

Там металась от окна к двери, от двери к лестнице высокая молодая дама. Увидя меня, она быстро подошла.

— Ваша комната номер шестой? Мы с братом в том же этаже, но в другом конце коридора. Так мы вот что придумали: все двери в коридор мы закроем на ключ, а внутри оставим сообщение. Если станут ломиться к вам первой, то вы бегите по комнатам и запирайте за собой дверь. Если начнут ломиться к нам, мы побежим таким же путем к вам.

— А вы думаете, что будут ломиться?

— Ну конечно.

И опять знакомая фраза:

— Молдаванка вооружена и ждет, когда последний патруль уйдет, чтобы ринуться сюда и в «Лондонскую». Они воображают, что здесь спрятались буржуи и капиталисты.

— Может быть, нам лучше куда-нибудь уйти?

— А куда вы пойдете? Ночь. Слышите? Стреляют... А куда вещи денете? Да и кто вас ночью пустит? Э, мы уже всё обдумали. Будем тут отсиживаться. Это ваш багаж?

— Да.

— Не советую тут оставлять.

Она обернулась и сказала шепотом:

— Отельные хлопцы, которые здесь остались, — с ними заодно. Порядочные все сбежали. Ну так мы с братом пойдем наверх запирать двери.

Она убежала.

Как все это скучно-скучно! Как все это надоело! Право, даже пожалеешь, что прошло то первое время, «весна» революции, когда мелкой дрожью стучали зубы, когда, замирая,

прислушивались, проедет грузовик мимо или остановится у ворот, когда до тошноты билось сердце под удары прикладов в двери.

Теперь все привычно, все скучно до омерзения. Грубо, грязно и глупо.

Но куда, однако, девались Х.? Почему он не забежал, не дал ничего знать? Может быть, «Шилка» уйдет утром и они еще уведомят меня...

— Надежда Александровна!

Инженер В. Углы рта опущены, дышит тяжело — сейчас заплачет.

— Что случилось? Как вы сюда попали? — удивляюсь я.

— Меня подло обманули. Мне обещали пропуск на «Корковадо», я прождал весь день и ничего не получил. Все меня бросили... как со... со... ба-ку-у-у.

Он высморкался и вытер глаза.

— Я не могу больше быть один. Я пришел за вами. Отчего вы не уехали?

— Я жду Х-ов. Мы должны были встретиться на пристани в восемь часов и вместе погрузиться на «Шилку». Может быть, они еще приедут за мной?

— Х.? Вы ждете Х-ов? Да ведь они уже уехали!

— Куда? Как? Почем вы знаете?

— Да я встретил их сегодня вечером. Они ехали с багажом на «Кавказ». Едут в Константинополь.

— Быть не может! И ничего не просили передать мне?

— Нет, ничего. Они очень волновались и спешили. На ней была ваша меховая накидка — помните? — ей было холодно, вы ей дали надеть. Да, да, они уехали в Константинополь.

Я молчала, ошеломленная, и вдруг, не знаю почему, вся эта история показалась мне ужасно смешной.

— Чего же вы смеетесь? — ужасался В. — Они же вас надули. Передумали и даже не дали знать.

— Вот это-то и смешно.

В. схватился за голову.

— Она смеется, когда я в жалком отчаянии! А что будет с моей девочкой! Маленькая моя Лелюся, Лелюсевич мой!

— Так девочка же ваша сейчас в полной безопасности в деревне. Чего же вы убиваетесь?

— Я так одинок, так ужасно одинок! Как со... соба... а...

— Не вспоминайте вы ради бога собаку, а то опять разреветесь...

— Умоляю вас! Едемте со мной на «Шилку», у меня есть два пропуска. Выдали на меня и на жену. Я проведу вас как жену. Умоляю! Я не могу больше оставаться один. Я с ума сойду.

— А разве «Шилка» уйдет сегодня?

— Да, часов в одиннадцать. Так мне сказали.

— Тогда едем. Я согласна.

— Ну как же я рад! Это ваш суп? Я его съем. Боже мой! Ведь, может быть, придется умирать голодной смертью! Теперь я бегу за извозчиком, чемоданы со мной, я весь день вожу с собой. Бегу! Ждите!..

Ну, на этот раз, кажется, выберусь. Чемоданы В. здесь. Если забудет меня, так чемоданы вспомнит.

Решила предупредить о моем отъезде даму, с которой условились спасаться друг к другу.

Поднялась наверх, прошла по темному коридору, шурша раскиданной бумагой, путаясь в обрывках веревки, стучала в двери, кричала:

— Это я! Я уезжаю!

Никто не отозвался. Либо они не верили моему голосу, либо сами удрали куда-нибудь и спрятались в другом месте, оставя меня одну справляться с разбойниками.

Спустилась вниз.

В. уже ждал меня и волновался, думая, что я сбежала. Он дико боялся оставаться один.

— Ну, едем.

Поехали по темным улицам к пристани.

Кое-где вблизи постреливали. Зато издали доносилась уже совсем серьезная пальба.

Спустились к морю. Вот она, «Шилка». По ней бродят огоньки. Значит, там люди?

Подъехали ближе.

На пристани народ, сундуки, узлы, чемоданы. Прилажены сходни. Наверху белеет морская офицерская фуражка.

— Идем скорее! Идем скорее! — торопит В. — Захватят все места. И не отставайте! Я боюсь быть один!..

Какое счастье, что у него вдруг объявился такой удобный для меня психоз. Иначе сидеть бы мне в Одессе...

— Идем! Идем!

17

Странный корабль.

> Не слышно на нем капитана,
> Не видно матросов на нем...

Темно. Электричества, очевидно, тоже на нем нет.

С тихим гулом ползут по трапу пассажиры. «Шилка», очевидно, без груза — ватерлиния видна над водой, и трап круто подымается с берега.

Ни суетни, ни истерической нервозности в толпе не заметно. Все как-то настороженно тихи. Деловито шепчутся. Изредка только прорывается негромкий окрик:

— Генерал М. здесь?

— Здесь.

— Мичман Р. Ищут мичмана.

— Есть!

И опять только тихий гул. Ночь теплая, темная.

Чуть-чуть накрапывает дождик.

Подымаюсь с толпой на палубу. Никто никаких пропусков не спрашивает.

— Постараемся пробиться в каюты, — советует В. — Погода, кажется, будет скверная.

Но в каюты уже не пробраться.

— Интересно, как мы двинемся. Ведь машины не работают, — говорю я.

— Может быть, еще наладят. Ведь не останемся же мы здесь! Слышите пальбу? Это, говорят, атаман Григорьев берет Одессу-Товарную. Пожалуй, ночью они будут уже здесь.

Пароход набивается все плотнее и плотнее. Уже трудно двигаться по палубе.

— Постойте здесь, — говорит В. — Я попробую пробраться глубже. Я подошла к борту и стала глядеть в море.

Тихое, темное и спокойное было море, наша новая дорога в неизвестное. Пахло мокрым канатом. Поблескивали

огоньки на рейде, где большие, серьезные и важные корабли, набитые важными и сведущими персонами, таинственно переговаривались световыми сигналами. Готовились в дальний путь, в свободные моря, к спокойным берегам.

— Пропадать будем, — тихо пробормотал кто-то около меня. — Если не найдут буксира, чтобы увел нас на рейд, крышка нам. Канун да ладан.

— Ба-ба-бах! — отвечала ему Одесса-Товарная.

— Зарево! Видите?

— В городе, говорят, уже грабят.

— Господи! Господи!

И вдруг кто-то тихо запел. Красивый женский голос. Я нагнулась: примостившись на чемодане, сидела молоденькая нарядная барышня. Покачивала ножкой, перекинутой через колено, и задумчиво пела цыганский романс:

Где б ни скиталась я душистою весною,
Я вижу тот же сон, и им волнуюсь я…

Поет!

— Как это так вы можете петь? — удивился кто-то.

— А мне все равно. Надоело.

— Видно, еще не много претерпели! — продолжал удивлявшийся.

— Ну нет, все-таки порядочно. Усадьбу сожгли, брат пропал без вести… Еле успели удрать.

— А вы что же, помещица, что ли?

— Я-то? Я еще и института не кончила.

Повернула лицо к тихому морю и снова запела:

…душистою весною,
Я вижу тот же сон…

Сидит на чемодане, болтает ногой в светлом башмачке, живет мечтой.

А рядом кто-то, не то вздыхая, не то икая, жует булку. А маленький пузатенький господин робко у меня спрашивает:

— Вы, извините, госпожа Тэффи? Я, извините, Беркин. Я немного вас уже видал. Может быть, вы мне можете дать

совет? Я не знаю, оставаться мне на пароходе или вернуться в Одессу?

И уже шепотом:

— У меня при себе крупная сумма. Вы мне можете поручиться, что на пароход не пролезли большевики?

— Да я-то почем знаю? Вы же видите, что я сама здесь.

— Вы здесь, но, может быть, вы не рискуете, а я рискую так, как я вам уже сказал... Простите, но меня, извините, очень знобит, исключительно от страха, так как имею на себе фуфайку... Так вы советуете остаться? Умоляю вас, я сделаю, как вы решите!

— Ну как же я могу брать на себя ответственность!

— Ну я же вас умоляю!

Я взглянула на него: все лицо дрожит, и углы рта опустились — плачет, что ли?

— По-моему, оставайтесь здесь. Здесь спокойно, а в город как вы теперь проберетесь? Темно, пусто — вас еще ограбят.

— Уф, как вы, однако, правы! Ну, вот я уже и спокоен.

Вернулся В.

— Все каюты и коридоры битком набиты. Нашел место только в ванной. Там кроме нас будут еще двое. Вам уступили скамеечку, я и еще одна личность на полу и один в ванне. Вещи наши уже свалены в трюм.

Подошел инженер О. и рассказал новости: из пароходной команды нет ни души. Все убежали в город, очевидно, желая сдать пароход большевикам. Машина разобрана, многих частей не хватает. Не то унесены они или уничтожены с умыслом — чтоб не дать нам уйти и увести «Шилку», не то просто в целях ремонта. Нашли забившихся в трюм китайцев, пароходных слуг. Они сначала делали вид, что ничего не знают и не понимают, но, когда им пригрозили револьвером, указали, где спрятаны кое-какие части машины. Тотчас начали разыскивать среди пассажиров механиков и инженеров. Вызвался О. и еще двое-трое, и приступили к работе. Надеются собрать машину. Но работы много, и придется кое-что самим смастерить. Не хватало каких-то подшипников. Если удастся починить — мы спасены. А нет, так дело дрянь.

Начали искать среди пассажиров моряков, чтобы взяли на себя командование. Нашлось несколько человек, и выбрали командиром капитана Рябинина...

Но, собственно говоря, публика ничего обо всех этих делах не знала и даже не спрашивала. Размещали ручной багаж, чтобы удобнее было сидеть, укладывали детей спать, устраивали жизнь. Инженер О. спустился в машинное отделение.

Я пошла бродить по пароходу. Кое-где в толпе мелькали знакомые лица: профессор Мякотин, Федор Волькенштейн, Ксюнин, Титов... Товарищ министра юстиции Ильяшенко (впоследствии убитый большевиками).

На полу в коридорах, на лестницах, на связках каната, под трубой, на скамейках, под скамейками — всюду лежали и сидели люди.

— Господа! Да ведь мы поехали! — закричал вдруг чей-то радостный голос. — Мы едем!

— Пошли! Пошли!

Тихо поворачивался берег, поворачивались огоньки на рейде.

— Идем!

Но машина не стучит, и дыма из трубы не видно.

— Буксир! Буксир нас ведет.

— И то слава богу. Хоть на рейд поставит. Хоть подальше от проклятого берега будем.

Буксир «Рома» вел нас на рейд.

А потом что?

Вот и мы, «как большие», стоим на рейде.

Между пароходами стали сновать лодочки...

Одна лодочка причалила к нашей «Шилке». По трапу поднялся какой-то зловещий одессит, разыскал своих знакомых, безмятежно жевавших финики, и клятвенно уверил их, что они неминуемо погибнут. Знакомые выплюнули недожеванные финики и предались бурному отчаянию, а одессит с видом человека, исполнившего тяжелый долг, деловито шагнул через борт и спустился в свою лодочку.

Мой новый приятель, «извините, Беркин», вдруг засуетился и решил тоже раздобыть лодку и наведаться на какой-нибудь пароход.

— Зачем вам это нужно?

— Ну, все-таки узнаю, как там у них, и расскажу, как тут у нас.

Лодочники драли совершенно несообразные деньги, но желающих разузнать и рассказать нашлось довольно много.

«Извините, Беркин» побывал на двух пароходах.

— Ну, я же им порассказал!..

— Что же вы рассказали?

— Рассказал, что нам сообщили по радио, что с моря идут больше вики. Из Севастополя.

— По какому радио? У нас ведь аппарат не действует.

— Отлично себе действует...

— Да мне только что говорил мичман, который этим заведует.

— А вы ему верите? Так вы лучше мне верьте.

— Откуда же вы знаете?

Вранье было явное и определенное.

Лодки продолжали сновать между пароходами. За баснословные деньги ездили люди попугать друг друга. Для такой великой цели разве чего пожалеешь!

Беркин ездил три раза.

— Больше я уже себе позволить не могу. Лодочники — такой нахальный народ и пользуются человеческой бедой.

Под утро врали угомонились.

Наше пароходное начальство волновалось тремя вопросами: как двинуть «Шилку», откуда достать уголь для топки и чем накормить пассажиров.

Китайцы, которым снова пригрозили, показали запас риса и консервов. Но всего этого было мало.

Недалеко от нас на рейде оказался пароход, везший из Севастополя в Одессу провиант. Попросили у него продовольственной помощи. Пароход отказался и заявил строго, что идет в Одессу разгружаться.

— Да ведь там большевики!

— А нам до этого дела нет, — отвечал пароход.

Тогда «Шилка» возмутилась и открыла военные действия: послала две шлюпки с пулеметами добывать провиант.

Провиант добыли, но обиженный пароход пожаловался французскому кораблю «Жан Барт».

«Жан Барт» грозно заорал на «Шилку»:

— Разбойники! Большевики! Объяснить немедленно, не то...

«Шилка» отвечала с достоинством и сентиментом, что, мол, у нее на борту голодные женщины с голодными детьми и что, мол, французы всегда были рыцарями.

«Жан Барт» притих и немедленно послал к «Шилке» шлюпку с шоколадом, мукой и сгущенным молоком.

Инженер О. поднялся из машинного отделения и сказал, что «Шилка» может двигаться, но только задним ходом.

Многих это известие перепугало. Думали — раз задний ход, так, значит, назад, в Одессу.

Мякотин, Титов и Волькенштейн как члены партии — не помню какой — выползали из трюма под трубу совещаться. Шептались оживленно и многозначительно смолкали, когда кто-нибудь подходил. Ксюнин в трюме начал издавать на пишущей машинке газету.

18

Буксир подтащил нас к угольщику, и было объявлено всем, всем, всем:

— Должны сами грузить на «Шилку» уголь. Рабочих на угольщике нет, на пароходе команды нет. Если хотите, чтобы пароход двинулся, — грузите уголь.

— Неужели... все должны работать?

— А то как же, — был ответ.

Началась прелюбопытная штука.

Элегантные молодые люди в щегольских костюмчиках смущенно улыбались, показывая, что понимают шутку. Конечно, сейчас, мол, выяснится, что нельзя же заставлять элегантных людей таскать на спине уголь. Ведь это же нелепо! Вздор какой!

— Эй! Выстраивайтесь все на палубе! — закричал властный голос. — Все мужчины, кроме стариков и больных.

Элегантные молодые люди оторопели. Растерянно оглянулись. Шутка затянулась слишком долго.

— Ну? Чего же вы тут топчетесь?! — крикнули на одного из них. — Слышали команду? Лезьте наверх.

Может быть, наверху поймут их элегантность и неспособность...

Палуба быстро наполнялась выстраивающимися в ряды пассажирами.

— Сейчас вам раздадут корзины. Наденьте их на спину.

Элегантные молодые люди усмехались, чуть-чуть пожимали плечами, точно участвовали в нелепом анекдоте, о котором потом забавно будет порассказать.

Но вот у борта на трапе начался какой-то скандал.

— Позвольте, — кричал кто-то. — На каком же основании вы уклоняетесь?! Человек сильный, здоровый...

— Прошу вас оставить меня в покое!

На палубу выбежал кряжистый господин лет сорока с дрожавшими от бешенства глазами:

— Прошу немедленно оставить меня в покое!

— Нет, вы сначала скажите, какие у вас основания отказываться от работы, на которую призваны буквально все?

— Какие основания? — заревел кряжистый господин. — А такие, что я дворянин и помещик и никогда в жизни не работал, не работаю и не буду работать. Ни-ког-да! Зарубите себе это на носу.

Ропот возмущения всколыхнул толпу.

— Позвольте, но ведь если мы не будем работать, то пароход не отойдет от берега!

— Мой муж тоже помещик! — пискнуло из толпы.

— Ведь мы же все попадем в лапы к большевикам!

— Но при чем же я здесь?! — в бешеном недоумении вопил кряжистый. — Наймите людей, устройтесь как-нибудь. Мы жили в капиталистическом строе, в этих убеждениях я и желаю оставаться. А если вам нравится социалистическая ерунда и труд для всех, так вылезайте на берег и идите к своим, к большевикам. Поняли?

Публика растерялась, замялась...

— Отчасти, гм... — сказал кто-то.

— Но, с другой стороны, нельзя же доставаться большевикам...

— И почему мы должны работать, а он нет?

— Самосудом бы его! — хрюкнула пролезшая на палубу старушонка.

— Ну, знаете, господин, вы это бросьте, — урезонивал добродушный купец из Нижнего.

— Не задерживать! — вылетел начальнический окрик.

Белая морская фуражка приблизилась.

— Спускайтесь к угольщику, берите корзины.

К начальству подскочил один из «элегантов» и зашептал, скосив глаза на принципиального дворянина.

Начальство мотнуло головой и спокойно ответило:

— А ну его к черту!

Нагрузка началась.

Длинной вереницей прошли по трапам вверх и вниз почерневшие, закоптевшие грузчики. Все пассажиры вылезли из кают, из трюма, из коридоров смотреть на невиданное зрелище: молодые «элеганты» в лакированных башмачках и шелковых носочках, поддерживая затянутыми в желтые перчатки руками тяжелые корзины, тащили уголь.

Они быстро вошли в роль, сплевывали и ругались.

— Гайда, ребята, не задерживай!

«Ребята» в лице «извините, Беркина», плешивого, пузатого, на тонких кривых ногах, отвечали:

— Э-эй-юхнем!

— Чего выпучили глаза? — кричал на зрителей длинный, как любительская удочка, чтец-декламатор. — Заставить бы вас поработать, не стали бы глаза пучить.

— Смотреть-то они все умеют, — язвил купец из Нижнего. — А вот ты поработай с наше...

— Г-аботать они не желают, — прокартавил курносый лицеист. — А небось есть побегут в пег-вую голову... Собаки!

Кто-то затянул ерундовую песенку последних дней:

Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Цыпленок тоже хочет жить.

Кто-то пустил вперебой:

Ешь ананас,
Рябчика жуй,
День твой последний
Приходит, буржуй!

И:

Эх, яблочко,
Куды котишься?
Попадешь в Чеку,
Не воротишься!

Подпевая, с аппетитом поругиваясь, работали вовсю.

«Вот он, евреиновский театр для себя, — подумала я. — Играют в крючников, и вошли в роль, и увлеклись игрой. И даже видно, кто себе как представляет заданный ему тип».

Вот ползет по трапу пузатый «извините, Беркин». Ноги у него пружинят и заплетаются. Лезет по трапу, как паук по паутине, — круглый, с тонкими лапками. Но выражение лица прямо Стеньки Разина, волжского разбойника, —

Размахнись рука,
Раззудись плечо!
Эй ты, гой еси… —

и все прочее.

И тащит тяжеленную корзинищу, какую ему без художественного вдохновения ролью и не поднять бы никогда.

Вот какой-то интеллигент с челочкой на лбу. Шагнет понуро, с упорной и горькой усмешкой на устах. Очевидно, ему кажется, что он бурлак, тянет бечевку и растит в груди зерно народного гнева: тащу, мол, тяну, мол, но…

Но настанет пор-ра,
И пр-роснется нар-род!

За ним ползло какое-то чучело в белых гетрах, в тирольской шляпе с перышком и, растирая замшевой перчаткой черные потеки на щеках, говорило простонародным тоном:

— Э-эх, братцы-парнишки, видно, тянуть нам эту ла… эту ля… эту ламку до конца дней!

Вылез из машинного отделения инженер О. в рабочей блузе, весь в саже.

— Ничего, кажется, наладил. Теперь уже есть надежда…

Заговорил что-то про лебедку, про подшипники и снова полез в машинное отделение.

И вдруг раздался дикий хрип, вопль, визг, точно сотни козлов, тысячи поросят вырвались из застенка, где с них драли шкуру. Это заревела наша труба. Черный дым валил из нее. Она дышала, вопила, жила. Пароход задрожал, заскрипел рулевой цепью и тихо повернулся.

— Да он задним ходом, — сказал кто-то.

— Идем! Без буксира!

— Спасены-ы-ы!

Около меня стоял Федор Волькенштейн и смотрел в открытое море, куда вольно и быстро уходил большой пароход.

— Это «Кавказ», — шептал он, — уходит в Константинополь... Ушел... Ушел...

Он долго смотрел вслед. Потом сказал мне:

— На «Кавказе» увезли моего мальчика. Когда-то я снова увижу его? Может быть, лет через двадцать... и он не узнает меня. Может быть, никогда.

Вот и мы вышли в море. Стучит винт, тихо дрожит пароход, гремит рулевая цепь. Волны упруго шлепают в правый борт.

Судовая жизнь налаживается. На мостике появился капитан Рябинин, маленький, но стройный, похожий на мальчика-кадета. Появился помощник капитана, несколько мичманов, юнги. В машинном отделении инженер О., какие-то машинисты, студенты-технологи. В кочегарке — офицеры.

Пассажиры нежно волновались и умилялись над дружной работой волонтеров. Особенно трогало их самопожертвование офицеров в кочегарке.

— Ведь они прожгли свое платье, и теперь им не в чем будет выйти на берег.

Устроили комитет, который должен был собрать деньги и вещи для пострадавших.

— Объявим неделю бедноты, — предложил кто-то.

Но звучало это очень неприятным воспоминанием и было мгновенно отклонено.

— Просто организуем летучие отряды для реквизиции белья и платья, — предложил другой.

Но это было уже совсем отвратительно, и в ответ все завопили:

— Зачем? Это же прямо оскорбительно! Мы добровольно отдадим все, что нужно...

— Что долго толковать! Каждый из нас должен отчислить в пользу офицеров, работающих в кочегарке, по двести рублей, по две смены белья и по одному костюму.

— Грандиозно! Чудесно!

— Но... извините, — сказал знакомый голос.

Ага! «Извините, Беркин».

— Извините, но выдавать предметы мы будем не сегодня — они там еще, не дай бог, попортятся. Выдавать мы будем по прибытии в Новороссийск: это значительно удобнее для обеих сторон. Я правильно говорю?

— Правильно!

— Правильно! Дельно! — поддержали пассажиры и разошлись с успокоенными физиономиями.

Впоследствии эта ассигнованная благодарными пассажирами сумма все уменьшалась. В Севастополе стали поговаривать уже только о белье и костюме.

По прибытии в Новороссийск забыли и об этом...

19

Началась дамская трудовая повинность.

Созвали пассажиров чистить силой отобранную с баржи свежую рыбу (та самая добыча, за которую призвал нас к ответу французский пароход).

Соорудили на палубе столы из опрокинутых через козлы досок, роздали ножи, соль, и закипела работа.

Я благополучно вылезла на палубу, когда все места у столов были уже заняты. Хотела было дать несколько советов нашим хозяйкам (тот, кто не умеет работать, всегда очень охотно советует), но запах и вид рыбьих внутренностей заставили меня благоразумно уйти вниз.

По дороге встретила «извините, Беркина».

— Как поживаете? — радостно приветствовал он меня. И вдруг, понизив голос и совершенно изменив выражение лица, проговорил быстро:

— Слышали? Измена!

Оглянулся по сторонам и еще тише сказал:

— Капитан — изменник. Ведет нас в Севастополь, чтобы передать с рук в руки большевикам.

— Что за вздор? Откуда вы это взяли?

— Один пассажир подслушал радио. Молчите! Ни слова! Ни слова, но подготовляйте своих знакомых.

Он снова оглянулся, прижал палец к губам и скрылся. Я поднялась наверх и разыскала мичмана, заведующего нашей радиостанцией.

— Скажите, действует наш аппарат?

— Нет, еще не наладили. Надеюсь, к завтрему поправим.

— А скажите, вы уверены, что в Севастополе большевиков нет?

— Ну кто же может поручиться? Вестей получить неоткуда. И ни одного встречного судна до сих пор не было. Впрочем, мы примем все меры, чтобы предварительно разузнать. Хотите посмотреть радиоаппарат?

Эх, Беркин, Беркин! «Извините, Беркин»! И откуда у вас все это берется?

Между тем внизу начали раздавать обед: суп из рыбы и рис с корнбифом.

Пассажиры с тарелками, судками, плошками и ложками выстроились двумя длинными хвостами в очереди.

У меня не было ни плошки, ни ложки, и где раздобыть это добро, я совершенно не знала. Какая-то добрая душа пожертвовала мне крышку от жестяного чайника.

— Вам туда рису положат.

Ладно. А вот ложка... Пошла в кухню.

В кухне два китайца — повар с помощником. Ни один ничего не понимает.

— Есть у вас ложка? Ложка? Понимаете? Ложка?

— Тасаталосака? — сказал повар.

— Ну, да, да — ложка! Дайте мне ложку!

— Тасаталосака, — спокойно повторил помощник, и оба занялись своим делом, не обращая на меня внимания.

— Я вам верну ее. Понимаете? Я вам заплачу.

Я показала им деньги.

И вдруг откуда ни возьмись налетела на меня серой бурей щучьего вида девица.

— Подкупать! — завизжала она. — Подкупать деньгами пароходных служащих! Получать привилегии, которых нет у неимущих!

— Чего вы кричите? — оторопела я. — Мне просто ложка нужна. Пусть даром дают, если не хотят получить на чай, я не в претензии.

При слове «на чай» с девицей сделались конвульсии.

— Здесь нет ни бар, ни чаев, ни денег. Здесь все работают и все получают одинаковый паек. Я видела, как вы хотели давать деньги, чтобы получать преимущества. Я могу засвидетельствовать, что видела и слышала. Я иду к капитану и расскажу ему все.

Она быстро повернулась и вылетела из кухни.

Итак, значит я — гнусный преступник, и вдобавок, несмотря на все душевные подлости, лишенный ложки.

Уныло пошла я на палубу. По дороге встречаю одного из наших судовых командиров.

— Что, вы уже пообедали? — спрашивает он бодро.

Я безнадежно махнула рукой.

— Ни плошки, ни ложки, и вдобавок на меня же еще жалуются капитану.

— Что за ерунда? — удивился офицер. — Идите к себе в каюту. Я сейчас пришлю вам обед.

И через десять минут я царственно сидела на скамеечке в ванной комнате, поджав по-турецки ноги, и на коленях у меня была тарелки с рисом и корнбифом, и в рис воткнуты ложка и вилка. Вот как возвеличила меня судьба.

Поздно вечером, когда я уже улеглась на свою беженскую котиковую шубку, дверь в каютку распахнулась, и в мутном свете коридора обрисовалась фигура щучьей девицы.

— Вы не спите? — спросила фигура.

— Нет еще.

— У вас в багаже, кажется, есть гитара?

— Да. А что?

Я была сонная и испугалась. Вдруг она побежит жаловаться капитану, что я вожу с собой музыкальные инструменты, «когда народ голодает».

Ну, думаю, все равно. Пусть выбрасывают в воду мое белье и платье. Гитары не отдам.

— Будьте любезны, — холодно говорит щучья девица, — дать свою гитару. Она нужна в лазаретном отделении, где есть больной элемент.

В первый раз слышу, чтобы больных лечили гитарами!

— Нет, — так же холодно ответила я. — Я вам своей гитары не дам. Кроме того, она с багажом в трюме, и вряд ли будут выворачивать весь груз для ваших выдумок.

— Если вы так относитесь к своему гражданскому долгу, — истерически задохнулась девица, — то мы еще увидим!..

Как она мне, однако, надоела! Отдать мою любимицу, мою певучую радость, мою гитару в эти рыбьи плавники!

«Больной элемент», наверное, подтянул бы колки и затренькал:

Вы-ыйду ль я на ре-еченьку,
Выйду ль я на бы-струю...

Ужас какой!

Я так люблю ее, мою «подругу семиструнную»...

С самого детства знаю я над собой эту власть струны.

Помню, как в первый раз ребенком услышала в балете в Мариинском театре соло на арфе Цабеля. Я была так потрясена, что, вернувшись домой, ушла одна в гостиную, обняла жесткую диванную подушку с вышитой бисерной собачкой и плакала, до боли прижимаясь лицом к бисерным лапам. Я ведь не могла рассказать о неизъяснимом восторге, о блаженной струнной тоске, первый раз зазвеневшей для меня в земной моей жизни.

Звук струнный — это почти первая музыкальная радость человечества. Самая первая, конечно, свирель — у народов пастушеских. Но в первой молитве, в первом храме всегда торжественно и вдохновенно пели струны...

Короткие арфы в руках у жриц Ассирии, у египтянок...

«Начальнику хора. На струнных орудиях. На осьмиструнном. Псалом Давида...»

Потом лиры, лютни и, наконец, гитара. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый века — все звенит, все поет и плачет гитарными струнами. Миннезингеры, менестрели, бродячие поэты-музыканты разносят в песнях чары любви

и колдовство черной книги «Гримуара». И вся поэзия средневековой жизни идет в сердца через струны.

В дни самого мрачного средневековья, когда тихие затворники, пряча мысль свою, как тайную лампаду в темных кельях монастырей, в исступленных муках души искали великий разум у жизни и за эту муку свою сгорали на кострах инквизиции, — тогда о радостях земли знали только песни, и несли их певцы-поэты с гитарами в руках.

В России гитара была хороша только у цыган. Русский человек относился к ней, как к балалайке: уныло подбирал лады и тренькал:

Выйду ль я на реченьку...

Цыгане «мотивчика» не тренькают. Они умеют перебирать струны говорком, давать вспышки, вскрики и сразу гасить бурный аккорд ласковой, но властной ладонью.

У каждого своя манера дотронуться до струны. И каждому она отвечает иначе. И у нее бывают свои настроения, и не всегда одинаково отзовется она даже на привычное ей касание.

— Более сырой, более сухой воздух, — скажут мне.

Может быть. Но разве наши собственные настроения не зависят в большой мере от «сухости» окружающей среды?

Старая пожелтевшая гитара с декой, тонкой и звонкой, — сколько в ней накоплено звуков, сколько эманации от песенно касавшихся пальцев: такая гитара — дотроньтесь до нее! — сама поет, и всегда в ней найдется струна, настроенная созвучно какой-то вашей струне, которая ответит странным физическим тоскливо-страстным ощущением в груди, в том месте, где древние предполагали душу...

Я не могла отдать свою гитару щучьей девице для увеселения «больного элемента».

20

Утром ко мне зашел Смольянинов. Он был чем-то вроде администратора на нашем корабле. В прошлой своей жизни — как будто сотрудником «Нового времени». В точности не знаю.

— Знаете, — сказал он мне, — кое-кто из пассажиров выражает неудовольствие, что вы вчера рыбу не чистили. Говорят, что вы на привилегированном положении и не желаете работать. Нужно, чтоб вы как-нибудь проявили свою готовность.

— Ну что ж, я готова проявить готовность.

— Прямо не знаю, что для вас придумать... Не палубу же вас заставить мыть.

— А-ах!

Мыть палубу! Розовая мечта моей молодости!

Еще в детстве видела я, как матрос лил воду из большого шланга, а другой тер палубу жесткой, косо срезанной щеткой на длинной палке. Мне подумалось тогда, что веселее ничего быть не может. С тех пор я узнала, что есть многое повеселее, но эти быстрые крепкие брызги бьющей по белым доскам струи, твердая, невиданная щетка, бодрая деловитость матросов — тот, кто тер щеткой, приговаривал «Гэп! Гэп!» — остались чудесной радостной картиной в долгой памяти.

Вот стояла я голубоглазой девочкой с белокурыми косичками, смотрела благоговейно на эту морскую игру и завидовала, что никогда в жизни не даст мне судьба этой радости.

Но добрая судьба пожалела бедную девочку. Долго томила ее на свете, однако желания ее не забыла. Устроила войну, революцию, перевернула все вверх дном и вот наконец нашла возможность — сует в руки косую щетку и гонит на палубу.

Наконец-то! Спасибо, милая!

— А скажите, — обращаюсь я к Смольянинову, — у них есть такая косая щетка? И воду будут лить из шланга?

— Как? — удивляется Смольянинов. — Вы согласны мыть палубу?

— Ну конечно! Ради бога, только не передумайте. Бежим скорее...

— Да вы хоть переоденьтесь.

Переодеться-то было не во что.

Вообще на «Шилке» носили то, что не жалко, сохраняя платье для берега, так как знали, что купить уже будет негде.

Поэтому носили то, в чем в ближайшие дни никакой надобности не предвиделось: какие-то пестрые шали, бальные платья, атласные туфли.

На мне были серебряные башмаки... Все равно в них по городу не пойдешь квартиру искать.

Поднялись наверх.

Смольянинов пошел, распорядился. Юнга притащил щетку, притянул шланг. Брызнула веселая вода на серебряные башмаки.

— Да вы только так... для виду, — шептал мне Смольянинов. — Только несколько минут.

— Гэп-гэп, — приговаривала я.

Юнга смотрел с испугом и состраданием.

— Разрешите мне вас заменить!

— Гэп-гэп! — отвечала я. — Каждому свое. Вы, наверное, грузили уголь, а я должна мыть палубу. Да-с. Каждому свое, молодой человек. Работаю и горжусь приносимой пользой.

— Да вы устанете! — сказал еще кто-то. — Позвольте, я за вас.

«Завидуют, подлые души!» — думала я, вспоминая мои далекие мечты. Еще бы, каждому хочется.

— Надежда Александровна! Вы и в самом деле переутомились, — говорит Смольянинов. — Теперь будет работать другая смена.

И прибавил вполголоса:

— Очень уж вы скверно моете.

Скверно? А я думала, что именно так, как матросик моего далекого детства.

— И потом, уж очень у вас довольное лицо, — шепчет Смольянинов. — Могут подумать, что это не работа, а игра.

Пришлось отдать щетку.

Обиженная, пошла вниз. Проходя мимо группы из трех незнакомых дам, услышала свое имя.

— Да, да, она, говорят, едет на нашем пароходе.

— Да что вы!

— Я вам говорю — Тэффи едет. Ну, конечно, не так, как мы с вами: отдельная каюта, отдельный стол и работать не желает.

Я грустно покачала головой.

— Ах как вы несправедливы! — сказала я с укором. — Я собственными глазами только что видела, как она моет палубу.

— Ее заставили мыть палубу? — воскликнула одна из дам. — Ну это уже чересчур!

— И вы видели ее?

— Видела, видела.

— Ну и что? Как?

— Такая длинная, истощенная, цыганского типа, в красных сапогах.

— Да что вы!

— А нам никто ничего не сказал!

— Это же, наверно, очень тяжелая работа?

— Ну еще бы, — отвечала я. — Это вам не рыбу ножичком гладить.

— Так зачем же она так?

— Хочет показать пример другим.

— И никто нам ни слова не сказал!

— А скажите, когда она еще будет мыть? Мы хотим посмотреть.

— Не знаю. Говорят, на завтра она записалась в кочегарку. Впрочем, может быть, это вранье.

— Ну это уже было бы совсем чересчур, — пожалела меня одна из дам.

— Ну что ж, — успокоила ее другая. — Писатель должен многое испытать. Максим Горький в молодости нарочно пошел в булочники.

— Так ведь он в молодости-то еще не был писателем, — заметила собеседница.

— Ну, значит, чувствовал, что будет. Иначе зачем бы ему было идти в булочники?

Поздно вечером, когда я сидела одна в нашей каюте-ванной, кто-то тихо постучал в дверь.

— Можно?

— Можно.

Вошел неизвестный мне человек в военной форме. Окинул взглядом каюту.

— Вы одна? Вот и отлично.

И, обернувшись, позвал:

— Войдите, господа. Посторонних нет.

Вошли три-четыре человека. Между ними инженер О.

— В чем же дело? — спросил О. — О чем вы хотели говорить?

— Дело очень важно, — зашептал тот, который вошел первым, — нас обманывают. Нам говорят, что мы идем в Севастополь, а между тем капитан держит курс на Румынию. Там он выдаст нас большевикам.

— Что за бред? Почему в Румынии большевики?

— Бред ли это — вы узнаете слишком поздно. Во всяком случае, «Шилка» держит курс на Румынию. Нам остается сделать одно: сего дня же ночью идти к капитану, уличить его и передать командование лейтенанту Ф. Этому человеку мы можем верить. Я его хорошо знаю, и, кроме того, он родственник одного очень известного общественного деятеля. Итак, решайте немедленно.

Все молчали.

— Знаете что, господа, — сказала я. — Все это не проверено и очень неясно. И почему нельзя днем спросить попросту у капитана, отчего мы не держим курс на Севастополь? А врываться к нему ночью — ведь это прямой бунт.

— Ах, вот вы как! — сказал коновод и зловеще замолчал.

В полутемной каютке шепчемся, как черные заговорщики. Над головами громыхает рулевая цепь: это предатель маленький капитан заворачивает к Румынии. Прямо страничка из авантюрного романа.

— Да, — согласился инженер О. — Мы лучше завтра расспросим.

И коновод неожиданно согласился.

— Да, пожалуй. Может быть, так даже будет лучше.

Утром О. сказал мне, что говорил с капитаном и тот очень охотно и просто объяснил, что держал такой курс, потому что надо было обойти минные поля.

Вот удивился бы бедный капитан, если бы мы вползли к нему ночью с кинжалами в зубах...

Я видела потом лейтенанта Ф. Унылый, длинный неврастеник, он, кажется, даже и не знал, что его собирались провозгласить диктатором. А может быть, и знал... Он в Севастополе оставил «Шилку.

21

Жизнь входит в свою колею.

Первые дни любительских подвигов, когда полковник Щ., засучив рукава, месил на палубе тесто для лепешек и золотой браслет позвякивал на его красивой белой руке, а рядом сидел известный статистик Г. и громко высчитывал, сколько будет припеку на душу, на полдуши и на четверть, — эти дни давно миновали.

Теперь продовольствием заведовал повар, китаец Миша.

Миша был чахоточный старик с лицом удивленной старой девы. Когда не было работы, отдыхал, сидя на корточках, и курил особую трубку, пропуская дым через воду. Что-то вроде кальяна.

Другой китаец, молодой дурень Акын, рассказывал, что Миша был еще недавно здоровый и сильный, но как-то рассердился и так долго и громко ругался, что «разорвал себе горло».

Был еще третий китаец — слуга и прачка.

Я заинтересовалась китайским языком.

— Акын, как по-китайски «старик»?

— Тасаталика, — отвечает Акын.

— А как «стакан»?

— Тасатакана.

Удивительно, как китайский язык созвучен русскому.

— А как «капитан»?

— Тасакапитана.

Гм... очевидно, что слово остается почти без изменения.

— А как «корабль»?

— Тасаколабля.

Чудеса!

— А «шапка»?

— Тасасапака.

Подошел мичман Ш.

— Учусь китайскому языку. Удивительно, до чего он напоминает русский.

Мичман засмеялся.

— Да, да, я слышал. Ведь он воображает, что вы его заставляете учить русские слова. Это он с вами по-русски говорил. И дурак же ты, Акын!

— Тасадулака! — охотно согласился китаец.

Однообразно шли дни.

Ели рис с корнбифом. Пили отвратительную воду из опреснителя.

Прошлого не вспоминали, о будущем не думали. Знали, что, по всей вероятности, дойдем до Новороссийска, а кто и что нас там встретит — было неизвестно.

Предполагалось, что «Шилка» пойдет во Владивосток. Я очень на это надеялась. Там я встретила бы своего друга М. Потом через Сибирь могла бы вернуться в Москву. Оставаться в Новороссийске совершенно не имело смысла. Да и что там делать?

Пока что бродила ночью по палубе. Постою с лунной стороны, перейду на черную, на безлунную.

Привыкла к пароходным звукам и шумам. Лежа на своей узенькой скамеечке в ванной каюте, слушала, как гремит рулевая цепь, как топочут ногами юнги, убирая палубу.

Пассажиры утряслись, как мешок с картофелем, и каждый нашел свое место. Старый сановник, похожий на толстого татарина, пристроился к кругленькой учительнице из Киева.

— Так вы продолжаете утверждать, — говорил сановник крутым генеральским басом, — вы продолжаете утверждать, что вареники вкуснее ботвиньи?

И укоризненно качал головой:

— Ай-яй-яй! Неужели вы не понимаете, что творог вообще мерзость?

— Нет, вареники — это очень вкусно, — собирая губы бантиком, отвечала учительница. — Это вы нарочно, чтобы дразнить. Вы такой.

Что значило «такой» — неизвестно. Но сановнику было приятно, и он с удовольствием смотрел на круглую, как вишня, учительницу с туго закрученными косами и грязной малиновой ленточкой на шее. Инженер О. исполнял роль главного механика и сидел в машинном отделении.

Вывезший меня из Одессы В. впал в меланхолию и съедал двойную порцию риса, в который он настругивал купленную в Севастополе каменную колбасу. Ел с аппетитом и со слезами на глазах:

— Боюсь, что придется помирать с голоду.

По вечерам выползала из трюма какая-то графская горничная, куталась в драгоценную манильскую шаль, стано-

вилась у борта, подпиралась кулачком, пригорюнивалась и тихо пела:

Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви, звезда рассветная...

Как-то на какой-то недолгой стоянке оказалась борт о борт около нас угольная баржа, черная — вся дым и сажа. Звали ее «Виолетта».

Закопченный, как ламповый фитиль, матросик с этой «Виолетты» долго всматривался в графскую горничную. Отходил от борта, снова подходил. Глаз не мог оторвать.

— Кажется, наша Травиата одержала победу, — шутили пассажиры. Но горничная была гора и на закопченного матросика не глядела.

Гори, гори, моя звезда-а...

Но когда «Виолетта» отчалила, матросик вдруг, перегнувшись, крикнул:

— Анюта! Вы?

Горничная оторопела, вскинула глаза. Губы у нее побелели.

— Господи! Да никак... ваше сиятельство!.. Наш барин... Ей-богу!.. Что же это...

И, обернувшись, растерянно говорила нам:

— Кто же их знал, где они. Я долго добро стерегла, да вон все равно все растащили.

Она мяла в руках драгоценную шаль.

— Все как есть растащили. До капочки.

Сколько дней мы плывем? Восемь? Десять? Кто-то сказал, что одиннадцать. Быть не может!

Днем, когда моя каютка-ванная пустеет, я лежу на узкой скамеечке и думаю о том, какой тоненький слой дерева и железа отделяет меня от синей холодной бездны. Ходят подо мной рыбы, кружатся клубками студенистые медузы, уцепившись за глубокую подводную скалу, шевелит лапами краб — выпучил глаза и ворочает ими, следит за днищем нашего парохода: не свалится ли оттуда кто-нибудь на завтрак.

Неужто не свалится? Неужто не найдется никого, до предела своего дотосковавшего? А там, еще глубже, — камни, водоросли и еще какая-нибудь усатая гадина шевелит щупальцами, ждет.

Говорят, океан несет утопленников к берегам Южной Америки. Там самое глубокое в мире место, и там на двух-трехверстной глубине стоят трупы целыми толпами. Соленая, крепкая вода хорошо их сохраняет, и долгие-долгие годы колышутся матросы, рыбаки, солдаты, враги, друзья, деды и внуки — целая армия. Не принимает, не претворяет чужая стихия детей земли...

Гляжу, закрыв глаза, в зеленую прозрачную воду, глубоко подо мной. Плывет веселая стая мелких рыбок. Плывет косяком. Ведет весь косяк, очевидно, какой-нибудь рыбий мудрец и пророк. Как трепетно, покорно вся стайка мгновенно повинуется малейшему его движению. Он вправо — все вправо. Он назад — все назад. А ведь стайка большая. Начни считать — штук шестьдесят. Кружатся, сигают в стороны, поворачивают... Ой, рыбы, рыбы, а не дурак ли он, этот ваш передовой пророк и философ?..

Скоро придем в Новороссийск.

Но никого это не радует. Скорее тревожит.

Те, у кого там родные, тоже не радуются. Неизвестно, застанут ли их, и неизвестно, что за это время с ними произошло.

На «Шилке» кое-как наладили радиостанцию. Но сговориться пока что она ни с кем не смогла. Так и плыли мы в неизвестность, злую ли, добрую ли, и того не знали.

Скучные стали дни, долгие...

К мысу радости, к скалам печали ли,
К островам ли сиреневых птиц —
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять мне тяжелых ресниц...
Мимо стеклышка иллюминатора
Проплывут золотые сады,
Пальмы тропиков, солнце экватора,
Голубые полярные льды...
Все равно...

Как странно было мне услышать эти оборванные строчки через несколько лет с эстрады Саль-Гаво, принаряженные, переложенные на музыку...

Словно я закупорила их в засмоленную бутылку, бросила в море — и вот понесли волны эту бутылку, прибили к далеким счастливым берегам, и там ее подобрали, раскупорили, созвали народ и прочли SOS всем, всем, всем...

Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять мне тяжелых ресниц...

22

Рано утром разбудил меня рев сирены.

Что-то там наверху делается?

Поднялась на палубу — картина совершенно неожиданная и невиданная: серый жемчужный туман, густой, недвижный, охватил меня сразу, отделил от мира. Сделала несколько шагов и уже не могла найти лестницу, по которой поднялась. Протянула руки и не видела собственных пальцев.

А сирена ревела тревожно, и весь пароход дрожал мелкой дрожью.

Стоим ли мы на месте или идем?

Какие-то голоса, неясные, точно их окутал туман, раздавались недалеко от меня. Но в общем какая-то необычайная тихость, сон, облачное сновидение.

Я не знала — одна я на палубе или около меня люди. Может быть, все пассажиры собрались здесь где-нибудь за этой ревущей трубой, а я думаю, что я одна.

Я сделала несколько шагов и наткнулась на какую-то ограду. Вытянула руки, ощупала — борт. Я стою у борта, а там за ним — жемчужная бездна.

И вдруг прямо перед моим лицом заколыхался туман, поплыл быстро, как театральная декоративная кисея, раздернулся в разные стороны и — странный сон — ярко-красные фески, близко-близко от меня, я бы могла достать их рукой — черные рожи, глаза как крутое яйцо с желтым припеком, яростной улыбкой оскаленные зубы. Я даже отшатнулась. Для них этот разорвавшийся туман, видно, тоже был

чудом. Они кинулись к борту, замахали руками, загалдели что-то вроде:

— Гюзель Каре! Каре гюзель!..

Еще и еще красные фески, белки, руки, зубы... И вдруг это маленькое «окошко в Африку» помутнело, потускнело и мгновенно задернулось наплывшим туманом.

— Ч-черт! — раздался голос около меня. — Едва не наскочили.

Ревела сирена, и дрожал пароход тихой, мелкой дрожью.

Подходим к Севастополю. Подходим робко.

Встретили лодку, помахали ей тряпкой, побеседовали, расспросили и не поверили. Встретили другую. Опять побеседовали. Наконец — делать нечего, все равно надо было брать уголь — вошли в гавань.

В городе оказалось тихо. Город был в руках белых.

Половина наших пассажиров выгрузилась.

Остальные пошли бродить по улицам. Передавали друг другу волнующие вести.

— Нашли сапожный магазин и в нем четыре пары замшевых туфель. Три огромные, а одна совсем крошечная.

Дамы побежали примерять. Я, конечно, тоже.

Действительно, три пары гигантских, одна крошечная.

— Где вы такие ноги видали? — спрашиваю у сапожника.

— Зато посмотрите, какой товар хороший! И фасончик — прямо ножка смеется!

— Да ведь эти огромные, а те не влезут. Как же быть?

— А вы купите две парочки, вот и будет ладно. Одна, значит, большая, другая маленькая, вот и выйдет середина наполовину.

Хорошо торговал севастопольский сапожник!

Город был пыльный, унылый, обтрепанный.

Побродили и вернулись на «Шилку». Знали, что уголь грузят спешно и сразу отойдут.

Пароход опустел. Но перед самым отходом принял новых, уже «казенных пассажиров»: целый отряд военной молодежи, охранявшей крымские дворцы. Доставить их надо было на кавказский антибольшевистский фронт.

Красивые, нарядные мальчики весело переговаривались, картавили по-французски, пели французские песенки. Разместились на палубе.

А в трюм серой, пыльной, войлочной волной, гремя штыками и манерками, вкатился отряд боевой обстрелянной пехоты.

Оба эти отряда не смешивались и как бы не замечали друг друга.

Наверху перекликались веселые голоса.

— Oùes-tu, mon vieux?[1]

— Коко, где Вова?

— Кто пролил мой одеколон?

Пели: «Rataplan-plan-plan...»

Снизу поднимались, погромыхивая жестяной кружкой, на камбуз за кипяточком усталые серые люди, подтягивали какие-то рваные ремешки, шлепали оборванными подметками, опустив глаза, пробирались, громыхая сапожищами, мимо лакированной молодежи.

Но бедную лакированную молодежь ждала очень горькая участь там, на фронте. Многие встретили смерть нарядно. Храбро и весело. Для многих этот Rataplan был последней песенкой.

Среди этой молодежи был один с поразительно красивым голосом. Он долго, до глубокой ночи пел. Говорили, что это племянник певца Смирнова...

К ночи стало слегка покачивать.

Я долго стояла одна на палубе.

Обрывки песен, веселый говор и смех доносились из салона.

Серая, войлочная, пыльная команда давно затихла в трюме. Они не веселились. Они уже слишком многое видели и узнали, чтобы смеяться. Спали крепко, «деловито», как крестьянин во время страды, которому сон нужен и важен, потому что дает силы для нового тяжкого дня.

Поскрипывала, покачивалась «Шилка». Черная волна ударяла упруго и глухо. Разбивала ритм песни, чужая этому маленькому веселому огоньку, светящемуся из окна салона в темную ночь. Своя глубокая и страшная жизнь, своя неве-

---

[1] Где ты, старик? *(Фр.)*

домая нам сила и воля. Не зная нас, не видя, не понимая — поднимет, бросит, повлечет, погубит — сти-хи-я.

Большая звезда вздулась костром, бросила на море золотую ломаную дорожку, словно маленькая луна.

— Это Сириус, — произнес около меня голос.

Мальчишка-кочегар.

Глаза, белые от замазанного сажей лица, напряженно смотрят в небо. Через открытый ворот бурой от грязи рубашки виден медный крестик на замызганном гайтанчике.

— Это Сириус.

— Вы знаете звезды? — спросила я.

Он замялся.

— Немножко. Я плаваю... я кочегар... на пароходе ведь часто приходится посматривать на небо.

— Из кочегарки?

Он оглянулся кругом.

— Ну да. Я кочегар. Не верите?

Я взглянула на него. Действительно — почему же не верить? Рука с обломанными черными ногтями, этот медный крестик...

— Нет, я верю.

Черные волны с острыми белыми рыбьими гребешками плыли у борта, хлюпали, шлепали по пароходу лениво и злобно. Погасла дорожка Сириуса, начался мелкий дождик.

Я отошла от борта.

— Надежда Александровна! — тихо окликнул меня кочегар.

Я остановилась.

— Откуда вы меня знаете?

Он снова оглянулся кругом и заговорил совсем тихо:

— Я был у вас на Бассейной. Меня представил вам мой товарищ, лицеист Севастьянов. Помните? Говорили о камнях, о желтом сапфире...

— Да... чуть-чуть вспоминаю...

— Здесь никто не знает, кто я. Даже там, в кочегарке. Я плыву уже третий раз. Третий рейс. Все мои погибли. Отец скрылся. Он мне сказал: ни на одну минуту не забывать, что я кочегар. Только тогда я смогу уцелеть и сделать благополучно то, что мне поручено. И вот плыву уже третий раз и должен опять вернуться в Одессу.

— Там уже укрепятся большевики.

— Вот тогда мне туда и нужно. Я заговорил с вами потому, что был уверен, что вы узнаете меня. Я вам верю и даже думаю, что вы нарочно притворяетесь, что не узнали меня, чтобы не встревожить. Неужели так хорош мой грим?

— Поразительный. Я и сейчас уверена, что вы самый настоящий кочегар, а только в шутку упомянули о Севастьянове.

Он усмехнулся.

— Спасибо вам.

Он нагнулся, быстро поцеловал мне руку и шмыгнул к трапу.

Маленькое пятнышко сажи осталось у меня на руке.

Да. Петербург. Вечера. Томные, нервные дамы, рафинированная молодежь. Стол, убранный белой сиренью. Беседа о желтом сапфире...

Что говорил о желтом сапфире этот худенький картавый мальчик?

Сколько еще рейсов сделает он с медным крестиком на замызганном гайтанчике? Один? Два? А потом прижмет усталые плечи к каменной стенке черного подвала и закроет глаза...

Темное пятнышко угольной сажи осталось на моей руке.

И всё...

23

И вот другая ночь. Тихая, темная.

Вдали полукругом береговые огоньки.

Какая тихая ночь!

Стою долго на палубе, вслушиваюсь в тишину, и все кажется мне, что несется с темных берегов церковный звон. Может быть, и правда звон... Я не знаю, далеки ли эти берега, только огоньки видны.

— Да, благовест, — говорит кто-то рядом. — По воде хорошо слышно.

— Да, — отвечает кто-то. — Сегодня ведь пасхальная ночь.

Пасхальная ночь!

Как мы все забыли время, не знаем, не понимаем своего положения ни во времени, ни в пространстве.

Пасхальная ночь!

Этот далекий благовест, по волнам морским дошедший до нас, такой торжественный, густой и тихий до таинственности, точно искал нас, затерянных в море и ночи, и нашел, и соединил с храмом, в огнях и пении, там, на земле, славящем Воскресение.

Этот с детства знакомый торжественный гул святой ночи охватил души и увел далеко, мимо криков и крови в простые, милые дни детства...

Младшая моя сестра Лена... Она всегда была со мной рядом, мы вместе росли. Всегда у своего плеча видела я ее круглую розовую щеку и круглый серый глаз.

Когда мы ссорились, она била меня своим крошечным и мягким, как резиновый комочек, кулаком и сама, в ужасе от своего зверства, плакала и повторяла:

— Я ведь тебя убить могу!

Она вообще была плакса. И когда я принималась рисовать ее портрет (я в пять лет чувствовала большое влечение к живописи, которое впоследствии сумели из меня вытравить), то прежде всего рисовала круглый открытый рот, затушевывала его черным, а потом уже пририсовывала глаза, нос и щеки. Но это все были уже совершенно не значащие аксессуары. Главное — разинутый рот. Он передавал великолепно сущность физическую и моральную моей модели...

Лена тоже рисовала. Она всегда делала то же, что я. Когда я хворала и мне давали лекарство, то и ей должны были накапать в рюмочку воды.

— Ну что, Ленушка, лучше ли тебе?

— Да, слава богу, как будто немножко легче, — со вздохом отвечала она.

Да, Лена тоже рисовала, но прием у нее был другой. Рисовала она нянюшку и начинала с того, что старательно проводила четыре горизонтальные параллельные черточки.

— Это что же такое?

— Это морщины на лбу.

К этим морщинам потом двумя-тремя штрихами пририсовывалась вся нянюшка. Но очень трудно было вывести

правильные черточки для морщин, и Лена долго сопела и портила лист за листом.

Лена была плакса.

Помню ужасный, позорный случай.

Я уже целый год училась в гимназии, когда Лену отдали в младший приготовительный.

И вот как-то стоит наш класс на лестнице и ждет своей очереди спуститься в переднюю. Малыши-приготовишки только что прошли вперед.

И вдруг вижу — маленькая фигурка со стриженым хохолком на лбу, волоча тяжелую сумку с книгами, испуганно пробирается около стенки и не смеет пройти мимо нас.

...Лена!

Наша классная дама подошла к ней:

— Как ваша фамилия? Вы из какого класса?

Лена подняла на нее глаза с выражением самого нечеловеческого ужаса, нижняя губа у нее задрожала и, не отвечая ни слова, она втянула голову в плечи, затрясла хохолком, подхватила свою сумку и с громким плачем побежала по лестнице, маленький, несчастный катыш!

— Какая смешная девочка! — засмеялась классная дама.

А я! Что я переживала в этот момент! Я закрыла глаза, спряталась за спину подруги... Какой позор! Вдруг классная дама узнает, что это моя сестра! Которая ревет, вместо того чтобы ответить просто и благородно: «Из младшего приготовительного» — и сделать реверанс. Какой позор!

...Гудит пасхальный звон, теперь уже совсем ясный...

Помню, в старом нашем доме, в полутемном зале, где хрустальные подвески люстр сами собой, тихо дрожа, звенели, стояли мы рядом, я и Лена, и смотрели в черное окно, слушали благовест. Нам немножко жутко оттого, что мы одни, и оттого еще, что сегодня так необычно и торжественно ночью гудят колокола и что воскреснет Христос.

— А отчего, — говорит Лена, — отчего ангелы сами не звонят?

Я вижу в полутьме ее серый глазок, блестящий и испуганный.

— Ангелы только в последний час приходят, — отвечаю я и сама боюсь своих слов...

Отчего в эту, вот в эту пасхальную ночь пришла ко мне за тысячи верст, в темное море, сестра моя, пришла маленькой девочкой, какой я больше всего любила ее, и встала около меня?

Я не знаю почему...

Я узнаю только через три года, что в эту ночь за тысячи верст от меня, в Архангельске, умирала моя Лена...

Пришли в Новороссийск.

Какой огромный порт!

Мол за молом, без числа.

Всюду, как шеи гигантских черных журавлей, вздымаются подъемные краны. Бесконечные амбары, сараи, склады. На молах и на набережной — народ.

Сначала показалось, что это пассажиры ждут парохода. Но, побродив между ними, увидела, что они не ждут, а просто живут здесь. Устроили из лохмотьев и корзинок палатки, развесили рваное барахло, обжились и живут.

Старухи тут же на жаровнях жарят какие-то огрызки.

Полуголые дети играют стеклышками от бутылок и бараньими костями. Все черномазые, со взбитой черной шерстью на голове.

Перед каждой палаткой привязан к жердочке пучком или гирляндой чеснок.

Это всё беженцы-армяне. Сидят в Новороссийске уже давно. Куда их двинут — не знают. В городе свирепствует сыпной тиф. И среди этих беженцев много больных. И дети мрут от лихорадки. Эти пучки чеснока привязаны, чтобы отгонять заразу. Запаха чеснока очень не любят привидения, вампиры, оборотни и разные болезни. И тех, и других, и третьих я отлично понимаю.

Странная жизнь этих беженцев!

Откуда-то их выгнали, куда-то погонят. Имущества — три лохмота и сковородка. А живут ничего себе. Ни уныния, ни даже нетерпения не заметно.

Перебраниваются, смеются, бродят вдоль всего лагеря друг к другу в гости, шлепают ребят. Кое-кто даже торгует сушеной рыбой и прессованной бараньей колбасой.

Мальчишка свистит в глиняную свистульку, и две девочки, обнявшись, пляшут.

Никто не ропщет, не волнуется, не пристает с расспросами. Принимают эту жизнь как нормальный человеческий быт.

Вот одна женщина в драном, но шелковом платье, очевидно, была еще недавно богатой, показывает соседке, как она натянула на веревку свою шаль. И очень довольна, что так хорошо все устроила. Вот если бы только шаль на одну четверть (показывает много раз ладонью, сколько именно надо), да, ровно на одну четверть была подлиннее, так совсем бы закрывала их палатку.

Вот только этой четверти и не хватает для полного комфорта.

Да. Все познается сравнением. Соседка не может не завидовать. У нее только гирлянда чеснока защищает жилище от вампиров, заразы и посторонних взглядов.

Иду в город. Там уже бродят беспастушными стадами наши шилкинские пассажиры. Ищут знакомых, узнают насчет квартир, насчет цен и — главное — насчет большевиков.

Тут впервые услышали мы слово «зеленые».

Зеленые были новые, не совсем понятные — из белых или из красных образовался этот новый цвет...

— Они там. За Геленджиком, — показывали нам на высокие белые горы с правой стороны бухты.

— Они никого не трогают...

Как они там живут? Почему и от кого прячутся?

— К ним и офицеры уходят.

Унылыми серыми группами стоят на углах и перекрестках наши шилкинцы и уныло плетут ерунду.

— Что, господа, — раздается деловитый бас. — Ясное дело — надо ехать в Трапезунд.

— В Трапе-зу-нд?

— Ну конечно, господа. Там, говорят, масло очень дешево.

— Ни малейшего смысла. Через неделю, максимум через две, большевики уйдут, а отсюда нам все-таки ближе двинуть домой.

Но любитель масла не сдавался.

— Отлично, — говорил он. — Пусть через две недели. Но лучше же эти две недели прожить приятно, чем черт знает как.

— Пока доберетесь, пока то да се... Не успеем мы вашим дешевым маслом и бутерброд намазать, как придется выбираться.

— Но куда же деваться?

В других группах говорили о тифе. Говорили, что весь город в панике. Люди мрут как мухи.

В аптеках продавали какие-то патентованные средства, мази, жидкости и даже ладанки, предохраняющие от заразы.

Советовали туго завязывать концы рукавов вокруг руки, чтобы ничто не могло заползти.

Настроение в городе было унылое.

24

Да, Новороссийск был тогда очень унылым городом.

Долго болтались мы из дома в дом, справлялись о квартирах. Все было занято, все комнаты и углы битком набиты.

Встретила даму с «Шилки», бывшую фрейлину.

— Мы сравнительно очень недурно устроились, — сказала она. — Нашли комнату, хозяйка положила на пол несколько матрацев. В общем, нас там будет одиннадцать человек, причем двое совсем маленьких детей, так что их, собственно говоря, и считать нечего в смысле жилищной площади. Конечно, они, вероятно, будут плакать, эти дети, но все-таки, в общем, это не хуже, чем на «Шилке», и вдобавок нам не угрожает качка.

Дама боялась качки больше всего на свете. Но «Шилку» упрекнуть было нельзя: нас покачало только один раз, и то немножко, несмотря на то что я была в числе пассажиров. Дело в том, что до сих пор какая бы тихая погода ни была, достаточно было мне поставить ногу на пароход, чтобы началась качка.

И в каких только морях меня не качало! На Балтийском, на Каспийском, на Азовском, на Черном, на Белом, на Средиземном, на Мраморном, на Адриатическом... Да что говорить о морях! Даже на получасовом переходе из Сан-

Женгольфа в Монтрё по Женевскому озеру поднялась такая качка, что все пассажиры заболели.

Это свойство мое вызывать бурю лично меня не особенно огорчает. Я люблю грозу на море и сильно от нее не страдаю. Но в Средние века, пожалуй, за эту мою особенность меня очень серьезно сожгли бы на костре.

Помню, как-то раз пострадал не поверивший в мою силу орловский помещик.

Нужно было мне проехать из Севастополя в Ялту, и этот самый орловский помещик галантно вызвался меня проводить, чтобы позаботиться обо мне во время пути. Я его сердечно поблагодарила, но сочла долгом предупредить:

— Будет качка.

Помещик не поверил: море как зеркало, на небе ни облачка.

— Увидите! — мрачно сказала я, но он только пожал плечами.

Погода дивная, да и к тому же он всегда геройски переносит качку. Со мной, конечно, придется повозиться, а за себя-то уж он отвечает.

— Ну что же, тем лучше.

Сели на пароход.

Все пассажиры радовались дивной погоде, но капитан неожиданно сказал:

— Идемте-ка скорее завтракать. Вот как обогнем маяк, пожалуй, нас слегка покачает.

Я выразительно посмотрела на помещика.

— Ну что ж, — сказал он. — За себя лично я не боюсь. А за вами я понаблюдаю.

За завтраком мой помещик совсем разошелся: давал всем советы, как нужно сидеть, и как нужно лежать, и о чем нужно думать, и как сосать лимон, и жевать корку с солью, и упираться затылком, и стараться выгнуть спину, и чего-чего только не было.

Я даже удивилась, что такой сухопутный человек вдруг в таких морских делах, оказывается, совсем свой человек.

Пассажиры слушали его с интересом и уважением. Спрашивали советов. Он охотно отвечал, толково и подробно. Я, конечно, хотя и удивлялась, но слушала тоже очень вни-

мательно. Уж кому-кому, а мне указаниями этого опытного человека пренебрегать не следовало.

Так как больше всего он подчеркивал, что при легкой качке следует держаться на палубе, то я сразу после завтрака и поднялась туда. Помещик последовал за мной.

Капитан оказался прав: мы обошли маяк, и сразу пароход наш пошел верблюжьей походкой, ныряя носом и поднимая по очереди то правый, то левый борт.

Я весело разговаривала, держась за перила. Смотрела на горизонт, где в сизых облаках поблескивала, еще далекая, молния, дышала влажным соленым ветром.

Но вот — два-три моих вопроса остались без ответа. Обернулась — пусто. Мой помещик скрылся. Что бы это значило? Немногие пассажиры, поднявшиеся со мной после завтрака, ушли тоже. И тут я почувствовала, что у меня сильно кружится голова.

Надо лечь.

Идти оказалось довольно трудно, и я кое-как спустилась по лестнице, держась двумя руками за перила. Внизу в общей дамской каюте все места уже были заняты. Все пассажирки лежали.

Я разыскала пустой уголок и кое-как примостилась, положив голову на чей-то чемодан.

Но куда же исчез мой помещик? Ведь выехал специально, чтобы позаботиться обо мне в дороге. Вот бы теперь сбегал бы за лимоном или хоть достал бы подушку.

Лежу, удивляюсь, вспоминаю его советы и наставления.

В эту большую каюту выходило шесть дверей из отдельных дамских каюток. Все эти каютки были заняты, и я решила, что останусь там, где я была, и постараюсь заснуть.

И вдруг дверь распахивается и влетает мой помещик. Без шляпы, вид дикий, глаза блуждают...

— Вы меня ищете? — крикнула я. — Я здесь!..

Но он не слышал. Он рванул дверь одной из каюток и всунул туда голову. Раздался дикий визг, какой-то козлиный рев, и дверь захлопнулась снова.

«Это он меня ищет!» — подумала я и закивала ему головой.

Но он не видел меня. Он кинулся ко второй каютке, опять рванул дверь и всунул голову. И снова козлиный рев и дикий визг. Я даже разобрала визжащие слова:

— Что за безобразие!..

И опять он выскочил, и дверь захлопнулась.

«Он думает, что я в одной из этих кают...»

— Николай Петрович! Я здесь!

Но он уже подскочил к третьей каютке и, всунув в нее голову, вопил козлиным ревом что-то непонятное, и женские голоса визжали про «безобразие».

«Что с ним, — думала я, — чего он блеет, как козел? Мог бы постучать и спросить...»

Но тут он сунул голову в четвертую каютку, которая была поближе ко мне, и отскочил, отшвырнутый чьими-то руками, остановился растерянный и страшный и завопил:

— Да где же это, наконец, черт возьми? — кинулся к пятой двери.

Тут я все поняла и, спрятав лицо в шарф, сделала вид, что я сплю. Мои соседки стали волноваться и возмущаться:

— Безобразие! Открывать двери в дамские каюты и так...

— Этот господин, кажется, с вами едет? — спросила меня одна из пассажирок.

— Ничего подобного, — удивленно и обиженно ответила я. — Вижу его в первый раз.

Она, кажется, мне не поверила, но поняла, что от такого спутника нельзя не отречься.

Навестив таким образом все шесть кают подряд и сопровождаемый криками возмущения и визгом негодования, он пулей выскочил в коридор.

Когда мы подошли к Ялте, я встретила его около сходней.

— Вот вы где! — неестественно бодро сказал он. — А я вас искал весь день на палубе. На палубе было чудесно! Этот простор, эта мощь, ни с чем не сравнимая! Красота! Стихия! Нет — я прямо слов не нахожу. Я все время в каком-то экстазе простоял на палубе. Конечно, не всякий может. Из всего парохода, по правде говоря, только я да капитан держались на ногах. Даже помощник капитана, опытный моряк, однако, сдрейфил. Н-да. Все пассажиры в лежку. Очень приятный, свежий переход.

— А я взяла себе отдельную каюту, — сказала я, стараясь не смотреть на него.

— Я так и знал, что с вами будет возня, — пробормотал он, стараясь не смотреть на меня.

25

Какое очарование души увидеть среди голых скал, среди вечных снегов у края холодного мертвого глетчера крошечный бархатистый цветок — эдельвейс. Он один живет в этом царстве ледяной смерти. Он говорит: «Не верь этому страшному, что окружает нас с тобой. Смотри — я живу».

Какое очарование души, когда на незнакомой улице чужого города к вам, бесприютной и усталой, подойдет неизвестная вам дама и скажет уютным киево-одесским (а может быть, и харьковским) говорком:

— Здравствуйте! Ну! Что вы скажете за мое платье?

Вот так бродила я по чужому мне Новороссийску, искала пристанища и не находила, и вдруг подошла ко мне неизвестная дама и сказала вечно женственно:

— Ну, что вы скажете за мое платье?

Видя явное мое недоумение, прибавила:

— Я вас видела в Киеве. Я Серафима Семеновна.

Тогда я успокоилась и посмотрела на платье. Оно было из какой-то удивительно скверной кисеи.

— Отличное платье, — сказала я. — Очень мило.

— А знаете, что это за материя? Или вы воображаете, что здесь вообще можно достать какую-нибудь материю? Здесь даже ситца ни за какие деньги не найдете. Так вот, эта материя — аптечная марля, которая продавалась для перевязок.

Я не очень удивилась. Мы в Петербурге уже шили белье из чертежной кальки. Как-то ее отмачивали, и получалось что-то вроде батиста.

— Конечно, она, может быть, не очень прочная, — продолжала дама, — немного задергивается, но недорогая и широкая. Теперь уже такой не найдете — всю расхватали. Осталась только йодоформенная, но та хотя и очень красивого цвета, однако плохо пахнет.

Я выразила сочувствие.

— А знаете, моя племянница, — продолжала дама, — купила в аптеке перевязочных бинтов — очень хорошенькие, с синей каемочкой — и отделала ими вот такое платье. Знаете, нашила такие полоски на подол, и, право, очень мило. И гигиенично — все дезинфицировано.

Милое, вечно женственное! Эдельвейс, живой цветок на ледяной скале глетчера. Ничем тебя не сломить! Помню, в Москве, когда гремели пулеметы и домовые комитеты попросили жильцов центральных улиц спуститься в подвал, вот такой же эдельвейс — Серафима Семеновна — в подполье, под плач и скрежет зубовный грела щипцы для завивки над жестяночкой, где горела за неимением спирта какая-то смрадная жидкость против паразитов.

Такой же эдельвейс бежал под пулеметным огнем в Киеве купить кружево на блузку. И такой же сидел в одесской парикмахерской, когда толпа в панике осаждала пароходы.

Помню мудрые слова:

— Ну да, все бегут. Так ведь все равно, не побежите же вы непричесанная, без ондюлясьона?!

Мне кажется, что во время гибели Помпеи кое-какие помпейские эдельвейсы успели наскоро сделать себе педикюр...

Умиротворенная этими мыслями, я спросила у неизвестной мне Серафимы Семеновны насчет комнаты.

— Есть одна, недурная, только там вам будет неуютно.

— Пустяки. Что уж тут может быть неуютного. Где уж тут выбирать и разбирать!

— Все-таки я вам советую немножко обождать. Там двое тифозных. Если умрут, так, может быть, сделают дезинфекцию... Немножко подождите.

Вспомнила свои поиски в Одессе. Здесь тиф, там была свирепая испанка. Кто-то снабдил меня в Киеве письмом к одному одесскому инженеру, который обещал предоставить мне комнату в своей квартире. Тотчас по приезде пошла по указанному адресу. Звонила долго. Наконец дверь чуть-чуть приоткрылась и кто-то шепотом спросил, что мне нужно. Я протянула письмо и сказала, в чем дело. Тогда дверь приоткрылась пошире и я увидела несчастное, изнуренное лицо пожилого человека. Это был тот самый инженер.

— Я не могу вас впустить в свою квартиру, — все так же шепотом сказал он. — Место у меня есть, но поймите: пять дней тому назад я похоронил жену и двоих сыновей. Сейчас умирает мой третий сын. Последний. Я совсем один в квартире. Я даже руку не смею вам протянуть — может быть, я уже заражен тоже. Нет, в этот дом входить нельзя.

Да. Там была испанка, здесь сыпной тиф.

Серафима Семеновна с большим аппетитом рассказывала ужасы.

— Одна барышня пошла в церковь, на похороны своего знакомого. А там ее спрашивают: «Отчего, мол, у вас такой глубокий траур?» Она говорит: «Вовсе не траур, а просто черное платье». А ей показывают: «Почему же у вас на юбке серая полоса нашита?» Взглянула — а это всё паразиты. Ну, она, натурально, хлоп в обморок. Начали ее приводить в чувство, а она уже вся в тифу.

Под эти бодрящие рассказы пошла я разыскивать «Шилку», которую перевели к другому молу, далекому и пустому. Там торчала она, тихая, голая, высоко вылезая из воды, и спущенные длинные сходни стояли почти вертикально.

Посмотрела — решила, что все равно не влезу. И сходни-то были без зарубок — прямо две узкие доски. Сделала несколько шагов — ноги скользят обратно, а подо мной отвесный срыв высокого мола, а внизу глубоко вода.

Совсем загрустила. Села на чугунную тумбу и стала стараться думать о чем-нибудь приятном.

Все-таки, что ни говори, я очень недурно устроилась. Погода хорошая, вид чудесный, никто меня не колотит и вон не гонит. Сижу на удобной тумбе, как барыня, а надоест сидеть, могу встать и постоять либо походить. Что захочу, то и сделаю, и никто не смеет мне запретить.

Вон сверху, с парохода, кто-то перевесился, кто-то стриженый, и смотрит на меня.

— Отчего же вы не подымаетесь? — кричит стриженый.

— А как же я подымусь? — кричу я.

— А по доске.

— А я боюсь.

— Да ну!

Стриженый отошел от края и через минуту бойко бочком побежал по доске вниз.

Это пароходный офицер из машинного отделения.

— Боитесь? Держите меня за руку.

Вдвоем идти оказалось еще страшнее. Доски гнутся неровно. Ступишь левой ногой — правая доска подымается чуть не до колена. Ступишь правой — левая доска подпрыгнет.

— Завтра обещают протянуть рядом веревку, чтобы было за что держаться, — утешает меня офицер.

— Так не ждать же мне до завтра. Раздобудьте мне палку, я с палкой пойду.

Офицер послушно побежал вдоль мола к берегу, притащил большую палку.

— Ладно, — сказала я. — Теперь сядьте на эту тумбу и пойте что-нибудь цирковое.

— Циркового не знаю. Можно танго «Аргентина»?

— Попробуем.

— «В далекой знойной Аргенти-и-не!..» — запел офицер. — Что же теперь будет?

— Ради бога, не останавливайтесь! Пойте и как следует отбивайте такт!

Я ухватила палку двумя руками и, держа ее поперек, шагнула на доски.

— «Где не-бе-са так знойно си-и-ни...» — выводил офицер.

Господи! Какой фальшивый голос! Только бы не рассмеяться... Итак: вниз не смотреть. Смотреть вперед на доски, идти по одной доске, подпевать мотив.

— «Где женщины, как на карти-ине...»

Ура! Дошла до борта. Теперь только поднять ногу, перешагнуть и...

И вдруг ноги поехали вниз. Я выронила палку, закрыла глаза... Кто-то крепко схватил меня за плечи. Это сверху, с парохода. Я нагнулась, уцепилась за борт и влезла.

Маленький капитан, узнав, что я еще не нашла комнаты, предложил бросить всякие поиски и остаться гостьей на пароходе. В мое распоряжение отдавалась маленькая каютка за очень дешевую плату, могла столоваться с командой «из общего котла» и ждать вместе с командой, как выяснится дальнейшая судьба «Шилки». Если удастся двинуть ее во Владивосток, то отвезут туда и меня.

Я была очень довольна и от души поблагодарила милого капитана.

И началась унылая и странная жизнь на пароходе, прижатом к берегу, к пустому длинному белому молу.

Никто не знал, когда и куда тронемся.

Капитан сидел в своей каюте с женой и ребенком. Помощник капитана шил башмаки своей жене и свояченице, очаровательной молоденькой кудрявой Наде, которая бегала по трапам в кисейном платьице и балетных туфлях, смущая покой корабельной молодежи.

Мичман Ш. бренчал на гитаре.

Инженер О. вечно что-то налаживал в машинном отделении...

Вывезший меня из Одессы В. тоже временно остался на «Шилке». Он целые дни бродил по городу, искал кого-нибудь из друзей и возвращался с копченой колбасой, ел, вздыхал и говорил, что боится голодной смерти.

Китаец-повар готовил нам обед. Китаец-прачка стирал белье. Слуга Акын убирал мою каюту.

Тихо закатывалось солнце, отмечая красными зорями тусклые дни, шлепали волны о борт, шуршали канаты, гремели цепи. Белели далекие горы, закрывшие от нас мир.

Тоска.

26

Начался норд-ост.

Я еще в Одессе слышала о нем легенды.

Приехал туда как-то из Новороссийска один из сотрудников «Русского слова», весь забинтованный, завязанный и облепленный пластырем. Оказывается, что попал он в норд-ост, шел по улице, ветром его повалило и катало по мостовой, пока ему не удалось ухватиться за фонарный столб.

Рассказывали еще, как все пароходы сорвало с якорей и унесло в море и удержался в бухте только какой-то хитрый американец, который развел пары и полным ходом пошел против ветра прямо на берег. Таким образом ему удалось удержаться на месте.

Я особой веры всем этим рассказам не придавала, но все-таки с большим интересом ждала норд-оста.

Говорили, что считать он умеет только тройками. Поэтому дует или три дня, или шесть, или девять и т. д.

И вот мое желание исполнилось.

Завизжала, заскрипела, застонала наша «Шилка» всеми болтами, цепями, канатами. Застучала железом, засвистела снастью.

Я пошла в город в тайной надежде, что меня тоже повалит и покатит по улице, как сотрудника «Русского слова».

Благополучно добралась до базара. Стала покупать какую-то ерунду, и вдруг серой тучей взвилась пыль, полетели щепки, хлопнула парусина над ларьками, что-то с грохотом повалилось и что-то пенистое розовое закрыло от меня мир.

Я отчаянно замахала руками. Мир открылся, а розовое, оказавшееся моей собственной юбкой, вздувшейся выше моей собственной головы, обвилось вокруг ног.

Очень смущенная, я оглядываюсь кругом. Но все терли глаза, жмурились, закрывали лица локтями, и, по-видимому, никто не обратил внимания на мое первое знакомство с норд-остом. Только какая-то баба, торговавшая бубликами, помирала со смеху, глядя на меня...

Норд-ост дул двенадцать дней. Выл в снастях всеми воплями мира. Тоскливыми, злобными, скорбными, свирепыми. Сдул народ с улиц, торговцев с базара, моряков с палубы. Ни одной лодки на рейде, ни одной телеги на берегу.

Гуляют столбы желтой пыли, крутят сор и щепки, катают щебень по дороге.

К нашей «Шилке» прибило раздувшийся труп коровы.

Говорят, ветер часто валит скот в море.

Юнги отталкивали корову баграми, но ее снова прибивало к нам, и страшный раздувшийся пузырь долго колыхался, то отплывая, то снова вздымаясь у самого борта. Уныло бродили обитатели «Шилки».

Выйдешь на палубу — слева, в пыли и щепках, затихший город, замученный тревогой, страхом и сыпным тифом. Справа — убегающее море, волны, спешно и бестолково подталкивающие друг друга, наползающие друг на друга и падающие, раздавленные новыми волнами, плюющими на них яростной пеной.

Суетливо шныряющие чайки тоскливо и горько бросали друг другу какие-то последние слова, обрывистые, безнадежные.

Серое небо.

Тоска.

Ночью грохот и стук на палубе не давали спать. Выйдешь наверх из душной каюты — ветер закрутит, подхватит, захлопнет за тобой дверь и потянет на черную сторону, туда, где со свистом и воем гонит ветер испуганную толпу волн, прочь, прочь, прочь...

Прочь от тоскливых берегов. Но куда?

Скоро и нас, может быть, так вот погонит озверелая стихия, но куда? На какие просторы?

Идешь опять в каюту.

Слушаешь, лежа на твердой деревянной койке, как где-то уныло тренькает мичман на своей расстроенной гитаре да кашляет надрывно старый китаец — корабельный кок, который когда-то «так рассердился, что оборвал себе сердце».

Брожу по городу в надежде что-нибудь узнать. Нашла какую-то бывшую редакцию бывшей новороссийской газеты. Но там никто ничего не знал. Вернее, все знали очень много, каждый совершенно противоположное тому, что знал другой.

В одном сходились все: Одесса в руках большевиков.

Встретила на улице знаменитого «матроса» Баткина. Здесь, в Новороссийске, он оказался щеголеватым студентом, гулял, окруженный толпой гордящихся им барышень, рассказывал, будто его расстреливали и спасся он только силою своего красноречия. Впрочем, все это рассказывал он как-то не особенно уверенно и ярко и не очень настаивал на том, чтобы ему верили. В рассказе о расстреле было хорошо только то, что он умирал с именем любимой женщины на устах. При этой детали хор барышень опускал глаза.

Я смотрела на этого приглаженного, принаряженного студента и вспоминала того пламенного матроса, который выходил на сцену Мариинского театра и на фоне развернутого Андреевского флага бурно призывал к борьбе до конца. А в большой царской ложе слушали и аплодировали ему сотрудники «Вечерней биржевки»...

Вихревой норд-ост сдул этого возникшего из огня Феникса. Пыль и щепки... Впоследствии он, говорят, предложил свои услуги большевикам. Не знаю...

Пыль и щепки...

Но те вечера на фоне Андреевского флага не забуду.

Брожу по городу.

Стали встречаться новые группы беженцев. Попадались знакомые.

Поразило и запомнилось новое выражение лиц, встречавшихся все чаще и чаще: странно бегающие глаза. Смущенно, растерянно и мгновениями — нагло. Как будто несколько секунд жизни не хватило им, чтобы в этой наглости спокойно утвердиться.

Потом я поняла: это были те, неуверенные (как бедный А.Кугель) в том, где правда и где сила.

Ждали у моря погоды. Заводили связи здесь, не теряли связей там.

Неожиданно встретила того самого сановника, который говорил в Киеве, что до тех пор не успокоится, пока не зарежет семерых большевиков на могиле своего расстрелянного брата: «Чтобы кровь, кровь просочилась, дошла до его замученного тела!»

У него вид был также не особенно боевой. Голову втянул в плечи и оглядывался по-волчьи, поворачиваясь всем телом, сторожко кося хитрым глазом.

Разговаривал со мной как-то натянуто, о семи большевиках не упоминал и вообще пафоса не обнаруживал. Вся повадка была такая, будто пробирается он по жердочке через топкое место.

— А где же ваша семья? — спросила я.

— Семья пока в Киеве. Ну да скоро увидимся.

— Скоро? А как же вы туда проберетесь?

Он почему-то оглянулся, по-новому, по-волчьи.

— Скоро, наверное, будут всякие возможности. Ну да пока нечего об этом толковать.

Возможности для него явились скоро. Он и сейчас с успехом и почетом работает в Москве...

Все воспоминания этих моих первых новороссийских дней так и остались задернутыми серой пылью, закрученными душным вихрем вместе с мусором, со щепками, с обрывками, с ошметками, сдувавшими людей направо, налево, за горы и в море, в стихийной жестокости, бездушной и бессмысленной. Он, этот вихрь, определял нашу судьбу.

27

Да, вихрь определял нашу судьбу. Отбрасывал вправо и влево.

Четырнадцатилетний мальчик, сын расстрелянного моряка, пробрался на север, разыскивая родных. Никого не нашел. Через несколько лет он был уже в рядах коммунистов. А семья, которую он разыскивал, оказалась за границей. И говорит о мальчике с горечью и стыдом...

Актер, певший большевистские частушки и куплеты, случайно застрял в городе после ухода большевиков, переделал свои частушки на антибольшевистские и навсегда остался белым...

Очень мучились крупные артисты, оставшиеся на юге, вдали от родных и театров. Совершенно растерянные, кружились они в белом вихре. Потом, сорвавшись, неслись безудержной птичьей тягой через реки и пожары в родной скворечник.

Появились деловитые господинчики, сновавшие им одним ведомыми путями из Москвы на юг и обратно. Что-то провозили, что-то привозили... Иногда любезно предлагали доставить что-нибудь из оставленных в Петербурге или Москве вещей, отвезти деньги родственникам.

Странные были эти господинчики. Ведь не для того же они ездили, чтобы оказывать нам услуги. Зачем они сновали туда и обратно, кому, в сущности, служили, кого продавали? Никто этим серьезно не интересовался. Говорили просто:

— Вот такой-то едет в Москву. Он как-то умеет пробираться.

А почему он умеет и зачем ему это умение так нужно, об этом никто не задумывался.

Иногда кто-нибудь вскользь обронит:

— Наверное, шпион.

Но так добродушно и просто, словно сказал:

— Наверное, адвокат.

Или:

— Наверное, портной.

Профессия, мол, как всякая другая.

А они шныряли, покупали и продавали.

Население Новороссийска менялось. Исчезли таборы, что так живописно оживляли набережную.

Схлынул первый поток беженцев.

Белая армия продвигалась вперед, и в освобожденные города вливался поток своевременно сбежавших из них обывателей.

Все лихорадочно следили за успехами Деникина.

В этой лихорадке были порой и трагикомедии.

Один харьковец, которого я часто встречала на улице под ручку с молоденькой актрисой, разводил руками и растерянно говорил:

— Чего же они так скоро продвигаются! Ну хоть отдохнули бы немножко. Разве вы не находите, что надо дать солдатикам отдышаться? Конечно, они герои, но передышка и герою не вредна.

И безнадежно прибавлял:

— Ведь эдак, пожалуй, скоро и по домам пора.

У него в Харькове была жена.

Но самое комичное в этой трагедии было то (и я это знала наверное), что жена его была в таком же мрачном восторге от быстрых шагов деникинской армии.

— Воображаю, — говорю я харьковцу, — как ваша бедненькая жена будет рада!

И думаю: «Бедненькая! Небось после каждой новой вести о белых успехах бродит по дому, рвет письма, вытряхивает из пепельниц подозрительные окурки и пишет дрожащей рукой записочку: “Белые приближаются. На всякий случай завтра не приходите”».

— Да, воображаю, как ваша бедная жена волнуется...

Не знаю, что именно он думает, но говорит:

— Н-да. Воображаю! Вы ведь ее знаете — божью коровку. Мне иногда даже хочется, чтобы она меня любила поменьше. Такая самоотреченная любовь — это ведь всегда страдание. Я, конечно, и верен, и предан, вы сами знаете...

— Да, да, конечно...

— В наше время это даже редкость — такое супружество. Верны друг другу прямо как какие-нибудь Бобчинский и Добчинский.

Не знаю, как они потом встретились. Благополучно ли замел следы Бобчинский и удачно ли выврался Добчинский.

Неожиданно приехали ко мне на «Шилку» деловые гости — две актрисы, посланные от екатеринодарского антрепренера Б-е. Мне предлагалось устроить в Екатеринодаре два вечера моих пьес. Актеры разыграют пьесы — труппа хорошая, — я что-нибудь прочту. Условия недурные. Я согласилась.

Актрисы передали мне письмо от Оленушки. Она писала из Екатеринодара, что ее муж умер от сыпного тифа и что она собирается меня навестить.

Бедная Оленушка! Как странно будет видеть ее в трауре, вдовой!

Но вот пришла ее телеграмма: «Приеду завтра».

На «Шилке» как раз грузили уголь. Большая, уже почти пустая угольная баржа стояла рядом.

Сижу на палубе, смотрю на сходни, жду.

Вдруг наши юнги чему-то засмеялись, закричали:

— Браво! Браво!

Оглянулась. Идет какая-то барышня прямо по узенькому борту вдоль зияющей черной бездной пустой баржи. Идет, балансируя дорожным несессерчиком да еще подпрыгивая.

— Оленушка!

Я себе представляла ее в длинной черной вуали, с носовым платком в руке. А эта — розовая мордочка, с какой-то клетчатой кепкой на затылке.

— Оленушка! Я думала, что вы в трауре...

— Нет, — отвечала она, чмокая меня в щеку. — Мы с Вовой дали друг другу клятву, что если один умрет, так другой не должен горевать, а наоборот, ходить в кинематограф и всячески стараться отвлечься от печали. Мы так поклялись.

Рассказала мне сложную историю своего брака.

Когда она приехала в Ростов, Вова ее ждал, приготовил ей комнату рядом со своей, но никому в гостинице они не сказали, что знают друг друга. Потихоньку повенчались, опять-таки делая перед всеми вид, что совершенно незнакомы.

— Зачем же вам это было нужно?

— Я боялась, что Дима в Киеве узнает, что я вышла замуж, и застрелится. Или просто будет очень страдать, — смущенно отвечала Оленушка. — Я не могу, когда люди страдают...

Горничная в гостинице очень удивлялась, видя на Оленушкином столике портрет Вовы.

— Ну до чего, барышня, этот ваш братец похож на того офицера, что у нас живет!

— Неужели похож? — удивлялась Оленушка. — Надо будет как-нибудь посмотреть.

Жили мирно, бедно и весело.

Вова по делам службы часто уезжал. Несмотря на свои девятнадцать лет, он был уже в чине капитана, и ему давали ответственные поручения. На дорогу Оленушка благословляла его маленькой, шитой жемчугом иконкой Божьей Матери и давала, «чтоб он не чувствовал себя одиноким», плюшевую собачку.

Раз вернулся Вова из командировки очень усталый и печальный.

— Ко мне на вокзале, — рассказывал он, — подошла большая лохматая собака и все просила глазами, чтобы я ее погладил. Такая она была жалкая и грязная. И я все почему-то думал: «Вот пожалею, поглажу ее и заболею тифом». А она все смотрела на меня и все просила приласкать. Теперь, наверное, умру.

Тихий стал. И начало казаться ему, что каждый раз, как он входил в комнату, какой-то странный, прозрачный, словно желатиновый человек стоит у стены. Нагнется и исчезнет.

Потом вызвали Вову снова в Екатеринодар. Он уехал и пропал. Давно прошел намеченный срок возвращения. А об Екатеринодаре ходили страшные слухи: падал народ на улице, молниеносно пораженный сыпным тифом. Умирали, не приходя в сознание.

Взяла Оленушка двухдневный отпуск в своем «Ренессансе» (кажется, так звали театрик, где она играла) и поехала разыскивать мужа. Обошла все большие гостиницы и госпитали — не нашла и следов никаких.

Вернулась домой.

И тут кто-то довел до ее сведения, что муж ее действительно болен и лежит в госпитале в Екатеринодаре.

Выпросила Оленушка снова отпуск и нашла госпиталь. Там сказали, что мужа ее подобрали на улице в бессознательном состоянии, что он долго мучился, тиф у него был

в самой жестокой форме и умер он, не придя ни разу в сознание, и уже похоронен. В бреду повторял только два слова: «Оленушка, ренессанс». Кто-то из соседей по койке выразил предположение, что, пожалуй, это он говорит о ростовском театре и просит, чтобы дали туда знать.

— Бедный мальчик, — сказал Оленушке врач, — всеми силами души звал вас все время, и никто не понимал его...

Вдове передали «имущество покойного» — плюшевую собачку и маленькую, шитую жемчугом иконку Божьей Матери.

И в тот же день должна была Оленушка вернуться в Ростов и в тот же вечер должна была играть какую-то белиберду в театрике стиля «Летучей мыши».

Такова была коротенькая история Оленушкиного брака.

Как поется в польской детской песенке:

Влез котик
На плотик
И поморгал.
Хороша песенка
И недолга...

28

Приближался срок, назначенный для моих вечеров в Екатеринодаре. Ничем не могу объяснить то невыносимое отвращение, которое я питаю ко всяким своим публичным выступлениям. Сама не понимаю, в чем тут дело. Может быть, только психоаналитик Фрейд сумел бы выяснить причину.

Я не могу пожаловаться на дурное отношение публики. Меня всегда принимали не по заслугам приветливо, когда мне приходилось читать на благотворительных вечерах. Встречали радостно, провожали с почетом, аплодировали и благодарили. Чего еще нужно? Казалось бы — будь доволен и счастлив.

Так нет!

Просыпаешься ночью как от толчка.

«Господи! Что такое ужасное готовится?.. Какая-то невыносимая гадость... Ах, да! — нужно читать в пользу дантистов!»

И чего-чего только ни придумывала, чтобы как-нибудь от этого ужаса избавиться!

Звонок по телефону (обыкновенно начиналось так):

— Когда разрешите заехать к вам по очень важному делу? Я вас не задержу...

Ага! Начинается.

— Может быть, вы будете любезны, — говорю я в трубку и сама удивляюсь, какой у меня стал блеклый голос, — может быть, вы можете сказать мне сейчас, в чем приблизительно дело...

Но, увы, обыкновенно редко на это соглашаются. Дамы-патронессы почему-то твердо верят в неодолимую силу своего личного обаяния.

— По телефону трудно! — певуче говорит она. — Разрешите всего пять минут, я вас не оторву надолго.

Тогда я решаюсь сразу сорвать с нее маску.

— Может быть, это что-нибудь насчет концерта?

Тут уж ей податься некуда, и я беру ее голыми руками.

— Когда ваш концерт намечается?

И конечно, какой бы срок она ни назначила, он всегда окажется для меня «к сожалению, немыслимым».

Но бывает так, что срок назначается очень отдаленный — через месяц, через полтора. И мне, по легкомыслию, начинает казаться, что к тому времени вся наша планетная система так круто изменится, что и волноваться сейчас не о чем. Да, наконец, и патронесса к тому времени забудет, что я согласилась, или вечер отложат. Все может случиться.

— С удовольствием, — отвечаю я. — Такая чудесная цель. Можете на меня рассчитывать.

И вот в одно прекрасное утро разверну газету и увижу свое имя, отчетливо напечатанное среди имен писателей и артистов, которые через два дня выступят в зале дворянского или благородного собрания в пользу, скажем, учеников, выгнанных из гимназии Гуревича.

Ну что тут сделаешь? Заболеть? Привить себе чуму? Вскрыть вены?

А раз был со мной совсем уж жуткий случай. Вспоминаю о нем, как о страшном сне. Бывают такие сны. От многих доводилось слышать.

— Снилось мне, будто должен я петь в Мариинском театре, — рассказывал мне старичок, профессор химии. — Выхожу на сцену и вдруг соображаю, что петь-то я абсолютно не умею и вдобавок вылез в ночной рубашке. А публика смотрит, оркестр играет увертюру, а в царской ложе государь сидит. Ведь приснится же эдакое...

Так вот случай, о котором я хочу рассказать, был такой же категории. Кошмарный и смешной. Пока спишь, пока в нем живешь — кошмар. Когда выйдешь из него — смешной.

Приехал как-то какой-то молодой человек просить, чтобы я участвовала в диспуте о кинематографе. О Великом немом.

Тогда эта тема была в большой моде.

Участвовать обещали Леонид Андреев, Арабажин, критик Волынский, Мейерхольд и еще не помню кто, но что-то много и звонко.

Я, конечно, сразу пришла в ужас.

Еще прочесть кое-как с эстрады по книжке свой собственный рассказ — это куда ни шло, в конце концов, не так уж трудно. Но говорить я совсем не умею. Никогда не говорила и начинать не хочу.

Молодой человек стал меня уговаривать. Можно, мол, если я совсем уж не умею говорить, написать на листочке и прочесть.

— Да я ничего не знаю о кинематографе и ровно ничего о нем не думаю.

— А вы подумайте!

— Никак не могу подумать — все равно не выйдет.

В то время как раз ужасно много по этому вопросу писалось, но я все это пропустила и действительно совершенно не знала, на кого опереться, на что сослаться и против кого высказаться.

Но тут молодой человек сказал чудесное успокоительное слово:

— Диспут-то ведь будет через полтора месяца. За это время вы, конечно, отлично ознакомитесь с вопросом, а потом по записочке и прочтете.

Действительно — все выходило так уютно и просто, и главное — через полтора месяца.

Ну конечно, я согласилась, и молодой человек ушел окрыленный.

Время шло. Никто меня не беспокоил, никто ничего не напоминал, и я ни о чем не вспоминала. И вот настал как-то скучный, пустой вечер, когда видеть никого не захотелось и ехать было некуда. И вот от скуки решила я пойти в Литейный театр, отчасти даже по делу. В театре этом шли постоянно мои пьесы, и изредка нужно было проверять, как именно они идут. Дело в том, что актеры так вдохновлялись (народ был все молодой, веселый, талантливый) и так, по актерской терминологии, «накладывали», то есть прибавляли столько отсебятины, что уже на десятом — двенадцатом представлении некоторые места пьесы столь далеко отходили от подлинника, что сам автор с трудом мог догадаться, что это именно его пьесу разыгрывают. А если оставить без присмотра, то на двадцатом или на тридцатом даже с любопытством мог бы спросить, что это за веселая дребедень такая — ничего не поймешь, а что-то между тем как будто знакомое...

Помню как сейчас, как один очень талантливый актер, играя в моей пьесе «Алмазная пыль» и исполняя роль нежно влюбленного художника, вместо слов: «Я, как черный раб, буду ходить за тобой» — отчетливо и ясно говорил:

— Я, как черный рак, буду ходить за тобой.

Я подумала, что либо я ослышалась, либо он оговорился. Пошла за кулисы.

— Скажите, — говорю, — мне это показалось?

— Нет, нет, это я так придумал.

— Да зачем же? — недоумевала я.

— А так смешнее выходит.

Ну что тут поделаешь!

Но «рак» — это еще пустяки.

Раз, после долгого пропуска зайдя в театр, услышала я и увидела вместо своей пьесы такую развеселую галиматью, что прямо испугалась. Бросилась за кулисы. Там актеры встретили меня радостно и гордо.

— Что! Видели, как мы вашу пьесу разделали? Довольны? Публика-то в каком восторге!

— Это все, конечно, очаровательно, — ответила я. — Но, к сожалению, мне придется вас просить вернуться к моему

скромному тексту. Мне неудобно подписывать свое имя под плодом чужого творчества.

Они очень удивились...

Итак, в тот памятный вечер отправилась я в Литейный театр.

Было уже часов десять, и спектакль, очевидно, давно уже начался. У меня вход был свободный, и я прошла в конец зала и разыскала пустое место.

Народу было много, но... что это за пьеса? И почему зал освещен?

Смотрю — на сцене стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидят... Посредине Мейерхольд — его сразу узнала. Арабажин стоит и что-то говорит... Вот Волынский... В конце стола какой-то молодой человек... Мейерхольд, сощурившись, всмотрелся в меня, видимо, узнал, подозвал знаком молодого человека (какая знакомая у него физиономия!) и сказал что-то, указывая на меня... Молодой человек кивнул головой и направился к выходу за кулисы.

Что все это может значить? Верно, просто хочет из любезности предложить пересесть поближе... Но что они тут делают?

Между тем молодой человек вошел в боковую дверь и уверенно пробирался ко мне.

Подошел.

— Вы желаете сейчас говорить или после перерыва? — спросил он.

— Я... я не желаю сейчас... Я не понимаю... — залепетала я в полном недоумении.

— Значит, после перерыва, — деловито сказал молодой человек. — Во всяком случае, мне сказано просить вас подняться на сцену и занять место за столом. Я провожу вас.

— Нет... нет... я сама. Господи! Что же это!

Он удивленно вскинул бровь и ушел.

И тут разобрала я долетавшие со сцены слова:

— Великий немой...

— Роль кинематографа...

— Искусство или не искусство...

И что-то забрезжило в моей голове, что-то стало принимать еще неясные, но явно неприятные формы...

Я тихо поднялась и пробралась к выходу. А у выхода увидела огромный плакат: «Диспут о кинематографе».

И среди участвующих отчетливо и ясно свое собственное имя...

Прибежав домой, я велела перепуганной моим страхом горничной закрыть на цепочку дверь и никому не отворять, сняла телефонную трубку, легла в постель и засунула голову под подушку. В столовой был приготовлен ужин, но я боялась туда пойти.

Мне казалось, что там «они» меня легче разыщут...

Как хорошо, что все на свете кончается.

29

Итак, пришлось все-таки ехать в Екатеринодар, где антрепренер местного театра устраивал два вечера моих произведений с моим участием.

Выехала из Новороссийска в сумерки, унылая, усталая. Поезд был переполнен. Целые полчища солдат и офицеров забили все вагоны. Очевидно, ехали на фронт, на север. Но вид у всех был такой замученный, прокопченный, истерзанный, что вряд ли они долго отдыхали. Может быть, их просто перебрасывали с одного фронта на другой. Не знаю.

Меня втиснули в вагон третьего класса, с разбитым окном, без освещения.

На скамейках, на полу — всюду фигуры в бурых шинелях.

Душно. Накурено.

Прежде чем поезд успел двинуться, многие уснули.

Наискось от меня стоял, упершись спиной в стену, высокий тощий офицер.

— Андреев! — окликнули его со скамейки. — Садись, мы потеснимся.

— Не могу, — отвечал офицер. — Мне легче, когда я стою.

И так простоял он всю ночь, откинув назад голову, закатив белки полузакрытых глаз, на лбу у него, под сдвинутым козырьком фуражки, чернело темно-алое круглое пятно. Точно командир «Летучего Голландца», прибитый гвоздем к мачте, стоял он так всю ночь, чуть покачиваясь

от толчков на расставленных длинных худых ногах. Говорили мало, кроме одного офицера, сидевшего у разбитого окна. Тот, не переставая, все рассказывал что-то, и я скоро поняла, что говорит он просто сам с собой, что никто его не слушает...

Но вот около меня один спрашивает другого:

— Вы слышали про полковника Х?

Называет фамилию, уже слышанную мною в Новороссийске. Про полковника этого рассказывали, что большевики на его глазах замучили его жену и двоих детей, и он с тех пор, как захватит где большевистский отряд, сейчас же принимается за расправу и каждый раз одинаково: непременно садится на крыльцо, пьет чай и заставляет, чтобы перед ним этих пленников вешали, одного за другим, одного за другим.

А сам все пьет чай.

Вот его имя и назвал кто-то около меня.

— Слышал, — отвечал собеседник. — Он сумасшедший!

— Нет, не сумасшедший. То, что он делает, это для него нормально. Вы поймите, что после всего, что он пережил, вести себя по-обычному было бы очень, очень странно. Ненормально было бы. Каждой душе есть свой предел. Дальше человеческий разум выдерживать не может. И не должен. И полковник Х поступает вполне для себя нормально. Поняли?

Собеседник ничего не ответил. Но кто-то подальше, сидящий по ту сторону прохода, громко сказал:

— Они выкололи глаза мальчику, ребенку десяти лет, вырезали их начисто. Кто не видел такого лица с вырезанными глазами, тот представить себе не может, до чего это страшно. Он жил так два дня — и все время кричал...

— Ну довольно... Не надо...

— А разведчику — слыхали? — связали руки, а рот и нос забили землей. Задохся.

— Нет, полковник Х не сумасшедший. Он в своей жизни, в той, в которой живет, вполне нормальный человек.

В вагоне было темно.

Через разбитое стекло тусклый свет — должно быть, лунный, но самой луны не было видно, — выделял темные силуэты около окна. Те, что были дальше и внизу на полу,

колыхались густой мутной тенью, бормотали, вскрикивали. Спали они или бредили наяву?..

И тот голос, который отчетливо и слишком громко, слишком напряженно сказал:

— Я не могу больше. С четырнадцатого года меня мучили, мучили, и вот теперь я... умер. Я умер...

Это был голос неживого, не сознающего себя человека. Так звучат голоса тех, кого нет, — в граммофоне или на спиритическом сеансе...

Старый, разбитый вагон дребезжал всеми гайками, визжал ржавыми колесами, катил эти полутрупы на муку и смерть.

Стало светать.

Еще страшнее в рассветной мгле забелели лица, закачались головы.

Да, они спали. Они говорили во сне. И тот, кто просыпался, сразу смолкал, просто и деловито расправлял отекшие плечи, одергивал шинель. И не знал, о чем плакала его душа, когда он спал...

Но самый страшный был тот, который стоял впереди всех, стоял во весь рост, распахнув шинель и откинув свою худую мертвую голову с простреленным лбом.

Он стоял лицом к нам, словно командовал и вел за собой. Человек с простреленным лбом, капитан «Летучего голландца», корабля смерти...

Поезд пришел в Екатеринодар рано. Город еще спал.

Яркий солнечный день, пыльные улицы, трескучая извозчичья пролетка сразу перенесли меня в просторное привычное настроение. Минувшая ночь отзвучала, как стон.

«Ничего, — настраивала я себя на веселый лад. — Скоро дадут разрешение «Шилке» идти на восток. Там встретит меня М., преданный и верный друг. Там отдохну немножко душой, а потом видно будет».

Стала думать о предстоящих спектаклях, о репетициях, которые надо будет начать сегодня же.

У Б-е, пригласившего меня антрепренера, ставни были еще закрыты. Очевидно, все спали.

На мой звонок открыла мне Оленушка, служившая в труппе Б-е...

30

Екатеринодар был тогда нашим центром, нашей столицей. И вид у него был столичный.

На улицах генеральские мундиры, отрывки важных разговоров:

— Я приказал...

— Однако министр...

— Немедленно поставлю на вид...

Дома, отведенные под разные казенные учреждения, чиновники, пишущие машинки...

Неожиданно получила письмо из Новороссийска с просьбой от оставленной мною «Шилки». Просьба заключалась в том, чтобы я пошла к морскому начальству лично походатайствовать о том, чтобы «Шилке» разрешили идти во Владивосток.

Я терпеть не могу всяких казенных учреждений и формальных отношений. Даже получение невинного заказного письма на почте действует на меня угнетающе. Под «деловым» взглядом чиновника, протягивающего мне книгу для подписи, я мгновенно забываю, какое сегодня число, какой год и как моя фамилия. Число еще спросить можно, год, пошарив глазами, иногда удается заметить на стенном календаре, но если задумаешься над собственной фамилией, чиновник отказывается выдать письмо.

Но делать нечего, хотелось услужить милой «Шилке», да и самой поплыть на восток очень было интересно. Пока что гнала нас судьба по карте вниз. Пусть теперь гонит вбок.

Попросила указать мне учреждение, где сидят морские власти, и пошла.

Направили меня к высокому господину с ярко-рыжей бородой. Кто он был, теперь не помню. Помню только, что он был ярко-рыжий и очень любезный и представлял сильную морскую власть.

Какое сегодня число, он у меня не спросил, имя мое сам знал, так что я пролепетала ему шилкинскую просьбу довольно бодро.

Он подумал и вдруг неожиданно спросил:

— Скажите, почему вам так хочется утонуть? Капитан Рябинин уже просил нас об этом разрешении. Мы отказали.

«Шилка» — маленькое суденышко, капитан Рябинин никогда во Владивосток не ходил. Он вас потопит.

Я заступилась за «Шилку». Что же из того, что она мала? Она тем не менее пришла в Черное море именно из Владивостока.

— Мы это и считаем удачной случайностью, которая, наверное, больше не повторится. И сейчас она, наверное, попала бы в тайфун.

Мне неловко было объяснять ему, что для меня лично тайфун и есть самое интересное. Я только сказала, что, по моему мнению, «Шилка» сможет выдержать любой шторм.

Морская власть засмеялась и выразила сомнение:

— Щепки не останется. Он очень храбрый, ваш капитан Рябинин, но мы такого безумия разрешить не можем.

Послала печальную телеграмму и хлопоты прекратила.

Три-четыре дня, необходимых для репетиций и спектаклей, прожила я у антрепренера Б-е...

Он был очень милый человек, русский француз, сохранивший от забытой родины только обычай самому разрезать за обедом жареную курицу.

Несколько месяцев тому назад он женился на молоденькой актрисочке своей труппы. От хорошей жизни актрисочка растолстела, сцену бросила, ходила пухлая, розовая, сонная, в пышных кисейных оборочках, называла Б-е «папа» и говорила, как кукла:

— Па-па! Детка хочет арбуза! Па-па!

Дом всегда был полон народу: актеры, актрисы, рецензенты. Все оставались к обеду и к завтраку. Было шумно, людно и бестолково. О политике здесь говорили мало. Свободно встречались и беседовали люди, которые должны были вернуться в Москву и которые могли вернуться, с теми, которые никогда вернуться уже не смогут. Впрочем, ведь никто ничего и не знал. Предоставляя людям активной борьбы знать и решать, здесь, в этой труппе артистической богемы, жили только своими профессиональными интересами и, мне кажется, словно боялись задуматься и оглядеться...

Народу все прибавлялось. Всеми правдами и неправдами проползали с севера все новые группы актеров.

Приехал старый театральный журналист. Прислал телеграмму, что нездоров, и просил приготовить комнату. Сняли номер в гостинице, и две сердобольные актрисы поехали его встречать.

Встретили.

— Все готово, мы даже заказали для вас ванну!

— Ванну? — испуганно спросил журналист. — Разве вы считаете, что мое положение настолько опасно?

Дамы смутились.

— Нет, что вы! Это просто чтобы вы могли вымыться после такой ужасной дороги.

Журналист снисходительно улыбнулся.

— Ну если дело идет только об этом, дорогие мои, то должен вам сказать, что особой потребности не чувствую...

Помню в этой пестрой толпе кинематографического героя Рунича, опереточного премьера Кошевского — комического актера и трагического человека, которому всегда казалось, что он смертельно болен. Даже когда с удовольствием накладывал себе на тарелку третью порцию, он сокрушенно приговаривал:

— Да, да, подозрительный аппетит. Верный симптом начинающегося менингита...

У него была интересная жена, о которой какая-то актриса сказала:

— Она из очень интересной семьи. Говорят, Достоевский писал с ее тетки своих «Братьев Карамазовых»...

Настал день моего спектакля. Ставят три мои миниатюры, и, кроме того, артисты будут рассказывать мои рассказы, петь мои песенки и декламировать стихи.

Антрепренер требует, чтобы я непременно сама что-нибудь прочла. Я защищаюсь долго и упорно, но приходится сдаться.

Актрисы наши волнуются, забегают ко мне и все по очереди просят разрешения загримировать меня перед моим выходом.

— Что вы будете читать? — спрашивают меня.

— Еще не выбрала.

— Ах-ах! Как же так можно!

Вечером с писком, визгом и воплями все население нашего дома убежало в театр. Я решила прийти попозже.

Спокойно оделась и вышла.

Тихая была ночь, темная, густозвездная. И странно от нее затихла душа...

Бывают такие настроения. Сразу обрываются в душе все нити, связывающие ее земное с земным. Бесконечно далеко чуть помнятся самые близкие люди, тускнеют и отходят самые значительные события прошлого, меркнет все то огромное и важное, что мы называем жизнью, и чувствует себя человек тем первозданным «ничто», из которого создана Вселенная...

Так было в тот вечер: черная, пустая круглая земля и звездное бескрайнее небо. И я.

Сколько времени так было — не знаю. Голоса разбудили меня. Шли люди и громко говорили о театре. И я вспомнила все. Вспомнила, что сегодня мой вечер, что я должна спешить, увидела, что я зашла куда-то далеко, потому что около меня блеснула полоской вода и черные мостки на ней.

— Ради бога! Как пройти к театру? — крикнула я.

Мне объяснили.

Я пошла торопливо, стараясь стучать каблуками, чтобы слышать, что я вернулась в мою простую обычную жизнь...

В театре за кулисами, куда я пошла, оживление, толкотня.

— Деникин в зале! Театр битком набит.

Вижу сбоку первые ряды. Блестит шитье мундиров, золото и серебро галунов, пышный зал.

Пышный зал хохочет, аплодирует, смех захватывает тех, кто толпится за кулисами.

— Автора! — кричат голоса из публики.

— Где же автор? Где же автор? — суетятся за кулисами.

— Где автор? — машинально повторяю и я. — Где же автор? Ах да, Господи! Да ведь это же моя пьеса!.. Ведь я и есть автор!

Если бы знал мой милый антрепренер Б-е, какое чудище он пригласил! Ведь нормальный автор должен с утра волноваться, нормальный автор должен всем говорить: «По-

смотрите, какие у меня холодные руки». А я развела какое-то звездное небытие и, когда публика меня вызывает, с любопытством спрашиваю: «Где автор?»

А ведь гонорар-то придется мне выдавать как путной!

— Идите же! — кидается ко мне режиссер.

Я наскоро устраиваю беспечную улыбку, ловлю протянутые ко мне руки актеров и выхожу кланяться.

Последний мой поклон русской публике на русской земле. Прощай, мой последний поклон...

31

Лето в Екатеринодаре.

Жара, пыль. Через мутную завесу этой пыли, сумбура и прошедших годов туманно всплывают облики...

Профессор Новгородцев, голубые, такие славянские глаза Мякотина, густая шевелюра сентиментального Ф. Волькенштейна, рассеянный и напряженный взгляд мистика Успенского... И еще другие, о которых уже молились как о «рабах Божиих, убиенных»...

Среди петербургских знакомых молодой кавалерийский офицер, князь Я. Веселый, возбужденный, лихорадящий от простреленной руки.

— Солдаты меня обожают, — рассказывал он. — Я с ними обращаться умею. Бью в морду, как в бубен.

Думаю все-таки, что любили его не за это, а за бесшабашную удаль и особое веселое молодечество. Рассказывали, как он в офицерских погонах на плечах с громким свистом проскакал по деревне, занятой большевиками.

— Почему же они в вас не стреляли?

— Очень уж обалдели. Глазам своим не верили: белый офицер и вдруг по деревне едет. Выскочили, глаза выпучили. Ужасно смешно!

О дальнейшей судьбе этого самого князя Я. рассказывают очень удивительную историю. В одном из южных городов он в конце концов попался врагу в лапы. Был судим и приговорен к каторге. Никакой определенной каторги в те времена у большевиков не было, и посадили князя просто в тюрьму. Но вот понадобился властям для их собственного обихода прокурор, а городок был маленький,

люди образованные разбежались либо попрятались, а про князя знали, что он кончил Юридический факультет. Подумали и надумали: приказали ему быть прокурором. Приводили под конвоем в суд, где он обвинял и судил, а ночевать отводили снова на каторгу. Многие, говорят, ему завидовали. Не у всех были обеспеченные стол и квартира...

Екатеринодар, Ростов, Кисловодск, Новороссийск...

Екатеринодар — высокочиновный. И во всех учреждениях — живописный берет, и плащ, и кудри Макса Волошина. Он декламирует стихи о России и хлопочет за невинно осужденных.

Ростов — торговый, спекулянтский. В ресторанном саду пьяные, истерические кутежи с самоубийствами...

Новороссийск — пестрый, присевший перед прыжком в Европу. Молодые люди с нарядными дамами катаются на английских автомобилях и купаются в море.

— Novorossisk, les Bains[1].

Кисловодск встречает подходящие поезда идиллической картиной: зеленые холмы, мирно пасущиеся стада и на фоне алого вечернего неба — тонко вычерченная черная качель с обрывком веревки.

Это — виселица.

Помню, как притянула мою душу эта невиданная картина. Помню, как рано-рано утром вышла я из отеля и пошла за город к этим зеленым холмам, искала злую гору.

Взошла по утоптанной крутой тропинке, поднялась «туда». Она вблизи была не черная, эта качель. Она серая, как всякое старое некрашеное простое дерево.

Я встала в середину под прочную ее перекладину.

Что видели «они» в последнюю свою минуту? Вешают большею частью ранним утром. Значит, вот с этой самой стороны видели они свое последнее солнце. И эту линию гор и холмов.

Пониже, слева, уже начинался утренний базар. Пестрые бабы выкладывали из телег на солому глиняную посуду, и солнце мокро блестело на поливе кувшинов и мисок. И «тогда», наверное, также бывал этот базар. А с

---

[1] Новороссийск, купания *(фр.)*.

другой стороны, подальше, среди холмов, пригнали пастухи гурты баранов. Бараны плотными волнами (как кудри Суламифи) медленно скатываются по зеленому склону, и пастухи в меховых шкурах стоят, опираясь на библейский длинный посох... Какая благословенная тишина! И такая же тишина была и «тогда».

Дело совершенно будничное и простое. Несколько человек приводили одного. Ставили туда, где стою я. Может быть, один из пастухов, закрыв глаза щитком-ладонью от солнца, взглянул, что там за люди копошатся на холме...

Здесь была повешена знаменитая анархистка Ге. Красивая, молодая, смелая, веселая, нарядная приятельница Мамонта Дальского. Многие из моих друзей кутили в лихорадочное время в этой занятной анархистской компании. И все эти анархисты казались нам ряжеными хвастунами. Никто не относился к ним серьезно. Слишком долго и хорошо знали живописную душу Мамонта, чтобы поверить в искренность его политических убеждений. Болтовня, поза, грим трагического злодея, костюм напрокат. Интересно и безответственно. Всю жизнь играл Мамонт на сцене Кина, в жизни — в Кина, в гения и беспутство. А умер — как подшутила судьба! — от благородного жеста. Стоя на подножке трамвая, посторонился, чтобы уступить место даме. Сорвался и попал под колеса. А несколько месяцев спустя приятельница его, нарядная и веселая Ге, стояла вот здесь, смотрела, прищурив глаза, на свое последнее солнце и докуривала последнюю свою папиросу. Потом отшвырнула окурок и спокойно набросила себе на шею тугую веревочную петлю.

Играло солнце на глянце глиняной посуды внизу на базаре. Копошились у телег пестрые бабы. А дальше по крутым зеленым холмам медленно сползали пастухи, опираясь на посох. И, наверное, что-то тихо звенело вдали, как всегда звенит в горной тишине. И тишина была благословенна...

Как часто упрекают писателя, что конец романа вышел у него скомкан и как бы оборван.

Теперь я уже знаю, что писатель невольно творит по образу и подобию судьбы, рока. Все концы всегда спешны, и сжаты, и оборванны.

Когда умер человек, всем кажется, что он еще очень многое мог сделать.

Когда умерла полоса жизни — кажется, что она могла бы еще как-то развернуться, тянуться и что конец ее неестественно сжат и оборван. Все события, заканчивающие такую полосу жизни, сбиваются, спутываются бестолково и неопределенно.

Жизнь пишет свои произведения по формуле старинных романов. С эпилогом: «Ирина вышла замуж и, говорят, счастлива. Сергей Николаевич нашел забвение в общественной деятельности...»

Все быстро, торопливо, и все не нужно.

Так же быстро, торопливо и неинтересно пробежали последние новороссийские дни перед неожиданным надуманным отъездом.

— Сейчас вернуться в Петербург трудно, поезжайте пока за границу, — посоветовали мне. — К весне вернетесь на родину.

Чудесное слово — весна. Чудесное слово — родина...

Весна — воскресение жизни. Весной вернусь.

Последние часы на набережной у парохода «Великий князь Александр Михайлович».

Суетня, хлопоты и шепот. Этот удивительный шепот, с оглядкой, исподтишка, провожавший все наши приезды и отъезды, пока мы катились вниз по карте, по огромной зеленой карте, на которой наискось было напечатано: «Российская империя».

Да, шепчут, оглядываются. Все-то им страшно, все страшно, и не успокоиться, не опомниться до конца дней, аминь.

Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелет по берегу черный дым.

И тихо-тихо отходит земля.

Не надо смотреть на нее. Надо смотреть вперед, в синий широкий свободный простор...

Но голова сама поворачивается, и широко раскрываются глаза и смотрят, смотрят...

И все молчат. Только с нижней палубы доносится женский плач, упорный, долгий, с причитаниями.

Когда это слышала я такой плач? Да, помню. В первый год войны. Ехала вдоль улицы на извозчике седая старуха.

Шляпа сбилась на затылок, обтянулись желтые щеки, беззубый черный рот открыт, кричит бесслезным плачем: «А-а-а!» А извозчик — верно, смущен, что везет такого седока «безобразного», — понукает, хлещет лошаденку...

Да, голубчик, не разглядел, видно, кого садишь? Теперь вези. Страшный, черный, бесслезный плач. Последний. По всей России, по всей России... Вези!..

Дрожит пароход, стелет черный дым.

Глазами, широко, до холода в них раскрытыми, смотрю. И не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена Лота, застыла, остолбенела навеки и веки видеть буду, как тихо-тихо уходит от меня моя земля.

Содержание

Земная радуга

Предисловие
7
Трагедия
9
Преступник
14
Была война
20
В Америку
26
Этапы
31
Кишмиш
37
Где-то в тылу
42
«Нигде»
47
Обыкновенная история
53
И времени не стало
58
Воля твоя
71
Слепая
86

Типы прошлого
92
Старинка
117
Моя Испания
127
Три жизни
147
Тетя Зета
170
Летом
175
Семейная поездка
180
Научное
186
Воля
191
Собаки
196
Восток и север. *Три сказки*
202
Маленькие рассказы
209



219

Надежда Александровна Тэффи

Собрание сочинений в пяти томах

Том V

Редактор
В. Алексина

Художественный редактор
О. Скочко

Технический редактор
О. Стоскова

Корректор
М. Сергеева

Компьютерная верстка
А. Деева

Подписано в печать 15.09.10 г
Формат 84×108 1/32
Бумага офсетная
Гарнитура «Garamond»
Печать офсетная
Усл печ л 21,0
Уч -изд л 21,43
Заказ №

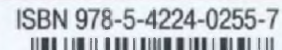
Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9

Отпечатано ООО "Балто принт"
Logotipas Company
www baltoprint ru

Литературное
приложение



ISBN 978-5-4224-0255-7



www.terra.su

www.soyuzkniga.ru